



---

История  
теоретической  
социологии



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ

**Стабилизационное  
сознание  
и социологическая  
теория в век кризиса**

Москва  
Академический проект  
2020

---

УДК 316  
ББК 60.5  
И 90

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства  
по печати и массовым коммуникациям в рамках  
Федеральной целевой программы «Культура России»

*АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:*

Руководитель — **Давыдов Ю.Н.**

Абрамов Р.Н., Баньковская С.П., Гофман А.Б., Девятко И.Ф., Зотов А.А.,  
Ионин Л.Г., Ковалев А.Д., Ковалева М.С., Кравченко А.И., Орлова Н.К.,  
Сапов В.В., Филиппов А.Ф., Фомина В.Н., Шамшурин В.И., Шматко Н.А.

*ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ:*

Девятко И.Ф., Ковалева М.С., Фомина В.Н.

**И 90** **История** теоретической социологии. Стабилизационное сознание и социологическая теория в век кризиса: Учебное пособие для вузов. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Академический проект, 2020. — 308 с. — (Фундаментальный учебник).

ISBN 978-5-8291-3110-4

Издание посвящено развитию социологии в послекризисный период 1920-х до начала 1970-х годов. В рамках общего теоретико-стабилизационного фона, характеризующего данный период в развитии социологии, анализируются методологические теории Т. Парсонса, П. Сорокина, Р. Мертона, ведущих теоретиков чикагской школы. Авторы рассматривают возникновение и развитие основных школ интерпретативной социологии — символического интеракционизма, феноменологической социологии, этнометодологии. Особое внимание уделяется становлению различных традиций социологического теоретизирования во Франции, Англии и Германии.

Книга предназначена для студентов и аспирантов гуманитарных вузов, для специалистов в области социального знания и всех интересующихся теоретико-методологическими основами социологии.

**УДК 316**  
**ББК 60.5**

ISBN 978-5-8291-3110-4

© Коллектив авторов, 2009  
© Оригинал-макет, оформление.  
Академический проект, 2020

---

СТАБИЛИЗАЦИОННОЕ  
СОЗНАНИЕ  
И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ТЕОРИЯ В ВЕК КРИЗИСА

---



---

Раздел I

**АМЕРИКАНСКАЯ  
СОЦИОЛОГИЯ ПОД ЗНАКОМ  
СТАБИЛИЗАЦИОННОГО  
СОЗНАНИЯ: ЧАСТНЫЕ ТЕОРИИ**

---

---



## ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ АКАДЕМИЗАЦИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Современный этап развития западной социологии начинается в 1920-е гг. Если на предыдущем этапе центром мировой социологической мысли была Западная Европа — и прежде всего Франция, Германия и Англия, — то в XX в. он перемещается в США. В 1930-е гг. американская социология окончательно закрепляется в роли научного лидера.

Перемещение мирового центра социологической науки в США явилось не только географическим событием. В начале XX в. США становятся мировым лидером в естествознании, промышленности и бизнесе. Кроме того, Америка дала миру новый образец политического устройства мира и новую социальную модель общества. Что касается науки, то главным фактором ее процветания на американском континенте явилась академизация, институционализация и профессионализация науки. В результате возник новый тип организации научного знания, основанный на высоком профессионализме, университетских свободах и контрактной системе преподавания.

Три процесса — институционализация, академизация и профессионализация — тесно взаимосвязаны между собой. Академизацию и профессионализацию часто понимают как две стороны процесса институционализации. Кроме них, специалисты называют еще один процесс — сциентификацию социологии. Профессионализация означает повышение квалификации и формирование научных сообществ. Академизация — вовлечение социологов в сферу университетской науки и завоевание социологией своего места в ряду академических дисциплин. Сциентизация означает превращение разрозненной суммы знаний в строгую науку, обладающую сложной внутренней структурой. Институционализация — более широкий процесс признания обществом социологии в качестве науки.

Современную версию этапов институционализации американской социологии предложили С. Тернер и Дж. Тернер [1]. Они охарактеризовали четыре основных этапа. Первый этап (конец XIX — начало XX в.) продолжался до Первой мировой войны и представлял собой «пробную» попытку социологии обрести академический статус. Второй, межвоенный, период характеризовался тем, что социология начала медленно проникать в учебные программы университетов и колледжей. Стандартная теория и стандартные методы еще не сложились. Послевоенный период (до 1960) характеризовался очередной и еще более драматической попыткой интегрировать теорию и эмпирическое исследование. Четвертый этап (1960–1970-е гг.) называют «золотым веком». Американская социология пере-

живала время наибольшего расцвета: значительно возросло число исследований, были освоены новые предметные области, возникли новые теории, направления, отрасли. Иными словами, это был период диверсификации и фрагментизации социологии.

Основатели мировой социологии не были академическими учеными. О. Конт, исключенный за вольнодумство из школы, был секретарем у Сен-Симона. К. Маркс являлся экономистом, философом, социологом, историком, публицистом и революционером. Г. Спенсер работал инженером и техником на железной дороге, сотрудничал в прессе, а затем бросил службу и вел жизнь независимого ученого и публициста. Ф. Тённис получил кафедру в 1918 г., а в 1933 г. был отстранен от преподавания. М. Вебер, формально числившийся профессором в Гейдельберге, 19 лет не преподавал. Самый большой преподавательский стаж у Г. Зиммеля — около 33 лет. Тем не менее на типичного академического ученого он никогда не походил. Э. Дюркгейм преподавал социологию в университете с 1887 по 1917 г. Таким образом, из европейцев только Зиммель, Дюркгейм и отчасти Тённис имели достаточно большой и непрерывный опыт работы в академической сфере. Ни один из них не имел формального социологического образования.

У ранних американских социологов ситуация отчасти похожая. Ф. Гиддингс не имел социологического образования, но, получив в 1894 г. «полного профессора», до 1931 г. оставался в сфере академической науки, став основателем социологической школы в Колумбийском университете. А. Смолл трудился на академическом поприще в Чикагском университете 34 года. Около 25 лет преподавал социологию в Йельском университете У.Г. Самнер. Меньше всех — около семи лет — преподавал социологию в университете Брауна Л.Ф. Уорд. Ч.Х. Кули преподавал в Мичиганском университете с 1892 по 1929 г. Дж.Г. Мид трудился в Чикагском университете с 1893 по 1931 г. Не меньший академический стаж насчитывался у Р. Парка и У.А. Томаса. Никто из них, за исключением Томаса, не имел формального социологического образования.

На этом сходство американских социологов с европейскими заканчивается. Европейская социология поначалу формировалась вне академических стен. Отсюда ее абстрактно-философский характер. Американцы создавали социологию в основном после того, как получали доступ на университетскую кафедру. Отсюда ее прикладной и реформистский оттенок.

Процесс институционализации начался в XIX в. практически одновременно в Европе и Америке, но успешнее он пошел в США. В 1892 г. возник первый в мире социологический факультет в Чикагском университете. В 1894 г. создан Международный институт социологии в Париже. Первый социологический журнал учрежден в 1893 г. во Франции — «Международное социологическое обозрение». Второй журнал — «Американский социологический журнал» — организован Смоллом в 1895 г. С 1898 г. выходит «Социологический ежегодник» Дюркгейма. Первым в мире социологическим сообществом стал Международный институт социологии, в октябре 1894 г. проведший первый международный конгресс социологов (Институт проводил конгрессы до 1960). Международная социологическая ассоциация основана в 1948 г. в Осло. Ее первым президентом был А. Вирт.

Первый мировой конгресс социологов состоялся в 1949 г. в Цюрихе (присутствовало 124 делегата из 30 стран). Французам не удалось создать собственной национальной ассоциации социологов, но зато они много потрудились, особенно в конце XIX — первой половине XX в., ради международной интеграции социологов. Они создали первую международную организацию, у них старейший международный журнал, по инициативе французов в 1950-е гг. учреждены «Архивы европейской социологии» и «Европейский журнал социологии».

Журналы, учебники, кафедры, курсы, профессиональные ассоциации — это важнейшие элементы институционализации социологии, понимаемой в широком смысле.

Что касается американцев, то они первыми создали факультет социологии, вторыми — социологический журнал, третьими — социологическую ассоциацию.

*Журналы и ассоциации.* В декабре 1905 г. около 100 американских социологов собрались в Балтиморе. Они обсудили положение дел в социологии. К тому времени уже действовали профессиональные ассоциации по истории, экономике и политическим наукам, в которых не было представлено ни одного социолога. В результате было решено учредить Американское социологическое общество (ныне — Американская социологическая ассоциация), первое заседание которого состоялось в 1906 г. Первым президентом был избран Л. Уорд (У. Самнер и Ф. Гиддингс стали вице-президентами). Официальным печатным органом общества стал «Американский социологический журнал». В 1936 г. Общество разорвало с ним отношения и учредило другой официальный журнал — «Американское социологическое обозрение». С 1905 по 1936 г. в США появились и другие новые журналы: «Social forces» при университете Северная Каролина (редактор Говард Одум) и «Sociology and social research» при университете Южная Каролина (редактор Эмори Богардус).

В 1930-е гг. появляются новые журналы. Они становятся трибуной вновь образовавшихся секций в рамках Американской социологической ассоциации (АСА). Речь идет прежде всего о журнале «Аграрная социология». В 1950-е гг. возник журнал «Социальные проблемы». Свою секцию и журнал создал в те же годы Дж. Морено — «Социометрия». Позже учреждены «Журнал социологии образования» и «Журнал здравоохранения и социального поведения».

По мере расширения деятельности АСА росло число профессиональных проблем, отражающих жизнь научного сообщества, например, взаимоотношение «отцов» и «детей» в социологии, становление научных школ, состояние академического рынка труда. В 1966 г. создан журнал «Американский социолог», освещающий внутринаучную жизнь. По мере укрепления региональных социологических школ возникали региональные и местные социологические сообщества, которые учреждали собственные журналы либо получали площадь в уже существующих.

Журналы сыграли выдающуюся роль в становлении академической социологии на разных этапах, особенно на ранних. Первые социологи трудились, часто не зная о существовании других социологов в стране и за рубежом. Пионер американской социологии Л. Уорд написал большинство своих книг, не подозревая о наличии других социологов в США.

Разобщенность ранних социологов объясняется не только отсутствием журналов, объединяющих носителей профессиональных интересов. Отсутствие социологических факультетов, где бы работали, обучались и знакомились будущие профессионалы, затрудняло интеграцию. Имея несоциологическое образование, ранние социологи принадлежали к разным интеллектуальным кругам — философским, экономическим, политическим, представители которых часто не общались друг с другом.

Первый американский журнал, хотя и не считался международным, включил европейцев в состав редакционного совета. Общение и переписка с европейскими социологами не только расширяли познавательный горизонт американцев. Они помогали чисто организационно. Первый главный редактор «Американского социологического журнала» А. Смолл обратился к своим и зарубежным коллегам и получил от европейских членов редакционного совета статьи, которые самолично и перевел.

Из американцев на просьбу А. Смолла откликнулись Э. Росс и Л. Уорд. Только так удалось набрать материалы на первый номер журнала, вышедший в июле 1895 г. Таким образом, журналы объединяли ученых в совместной деятельности, формировали своего рода «незримый колледж» — общество единомышленников. Конечно, направленность и стиль журналов задавали главные редакторы, в их числе мы обнаруживаем выдающихся социологов — Дюркгейма, Вебера, Л. фон Визе, Смолла, Вирта и других. Часто журналы служили катализатором научной школы, а затем становились ее рупором.

*Образование.* В XIX в. социологическое обучение в Европе, в отличие от Америки, находилось на положении пасынка. Получившие раньше академический статус философия, филологические науки, физика, биология и другие дисциплины ревниво наблюдали за набирающей силы социологией. Если ей и предоставляли место на кафедре, то скорее в знак уважения перед заслугами личности, читавшей курс по новой науке, либо в качестве эксперимента. В Европе система университетских знаний сформировалась еще в Средние века, она с трудом поддавалась новым влияниям. Напротив, в США университеты создавались в конце XIX в., когда социология уже заявила о себе. И ей с удовольствием предоставляли кафедры и факультеты. Если в Европе социологию, чтобы ее допустили в университетские аудитории, приходилось маскировать под разными вывесками («национальная экономия», «философия»), то в Америке другие науки переименовывали в социологию, видя в ней большое будущее. Это случилось, например, с курсами «моральной философии».

Только Дюркгейму и еще немногим европейцам в XIX в. удалось получить академическое звание в качестве социолога (он стал профессором социологии и педагогики в Парижском университете). Зиммель преподавал социологию под именем философии, а Вебер и Парето — под именем экономики. Часто европейский профессор экономики, права, политэкономии или философии предлагал курс социологии не под ее собственным именем.

Формальная система социологического образования возникла не в Европе, а в США. Первый в мире курс лекций, названный собственным именем социологии, предложил в 1876 г. У. Самнер в Йельском университете. Правда, вплоть до своей смерти в 1910 г. он оставался профессором

не социологии, а политических и социальных наук. В период с 1889 по 1892 г. формальное образование в области социологии давали 18 американских университетов и колледжей.

К 1901 г. курсы социологии преподаются в 169 университетах и колледжах, к 1910 г. — в подавляющем большинстве вузов. В начале 1990-х гг. все университеты США имели кафедры социологии. К концу 1990-х гг. в США насчитывалось около 250 социологических кафедр и факультетов, но только 70 % из них предлагали подготовку к докторской степени. Университетский статус академической социологии, в завершённой форме сложившейся в США, постепенно получил признание в Европе. (Исключения представляли СССР и социалистические страны, где академическая социология институционализировалась вне университетской сферы.)

Еще один элемент институционализации — *появление учебников*. Первый социологический факультет в Чикагском университете (1892) и первый учебник «Введение в изучение общества» А. Смолла и Дж. Винсента (1894), преподававших в том же университете, оказали огромное влияние на подготовку большого числа студентов. Завершив образование, часть из них становилась преподавателями. Создавалась непрерывность системы образования. Кроме того, учебники являлись средством стандартизации учебной дисциплины.

*Система наук*. Долгое время социология боролась за самостоятельность и полноценный академический статус. На раннем этапе ее часто смешивали или объединяли с другими учебными дисциплинами. Социология как система знания сложилась уже после того, как появились другие социальные науки. Общество под разными углами затрагивали этнографы, философы, психологи, экономисты, антропологи. Социология должна была вначале доказать, что общество — это система, развивающаяся по собственным законам, которые может познать только социология, а затем уже завоевывать самостоятельность и автономию.

Впервые об обществе как самостоятельной системе со своими законами, для изучения которых нужна новая наука, заговорил в 1830–1840-е гг. О. Конт. Прошло 100 лет, и в 1930-е гг. Т. Парсонс в Гарвардском университете продолжал отстаивать права социологии, защищаясь от тех, кто смешивал социологию с биологией и экономикой.

Поначалу обучение социологии в США происходило в смешанных, а не специализированных департаментах. Чаще всего социологию объединяли с экономикой. В таком случае кафедра или департамент получали двойное название. Хуже обстояло дело там, где курс социологии преподавали на кафедрах экономики, истории, философии, политических наук. В таком случае термин «социология» не выносился в название. Часто социологию на равных с экономикой, психологией, антропологией преподавали на факультете социальных наук.

Первый в мире факультет социологии в Чикаго на самом деле был смешанным с антропологией. Долгие годы антропология считалась в Америке академическим партнером социологии. На 1920-е гг. приходится расцвет антрополого-социологических факультетов. Размежевание социологии и антропологии произошло в 1965 г., когда антропология получила статус независимой академической дисциплины.

Завоевание самостоятельности социологией, включение ее в систему академического знания на равных с другими науками — процесс затяжной и мучительный. Он начался с выхода в свет «Курса позитивной философии» Конта в 1838–1842 гг. Прошло ровно сто лет, и в 1937 г. выходит «Структура социального действия» Т. Парсонса. Ее назвали «Хартией современной социологии» и по ее фундаментальности сравнивали с трудом Конта. По своей масштабности и академическому стилю «Структура» действительно напоминает контовский «Курс». В ней много говорится о правилах научного метода, проблемах выделения социологии в качестве самостоятельной науки, даются обширные исторические экскурсы и развернутая общая теория социального действия.

1920–1930-е гг. — это еще период «войны за независимость». На многих факультетах социологию трактовали как расширение сферы действия биологии, как перенесение на общество принципов бихевиоризма и экономики. В 1939 г. гарвардский историк К. Бринтон опубликовал статью «Каков предмет социологии?», в которой социология иронически называлась «вроде бы наукой»: «бедное дитя, болеющее со времен Конта», «пария». Противоречивые эмпирические находки социологов, отсутствие какого-либо твердого ядра знания, «тривиальное содержание» снижают академический авторитет социологии, ставят ее в один ряд с алхимией.

Статья К. Бринтона отражала общее состояние дел. В первой половине XX в. академические ученые, хотя и допускали социологию на университетские кафедры, относились к ней неуважительно. Потребовались огромные усилия Т. Парсонса, Р. Мертона, П. Лазарсфельда и других, чтобы поднять престиж социологии, чтобы она перестала быть «бедным родственником» в ряду социальных наук.

*Эмпирические исследования.* Профессионализация социологии связана с расцветом эмпирических исследований и количественной методологии. Уже к 1910 г. в США проведено около трех тысяч эмпирических исследований с использованием новейшей статистической техники. Характерно и то, что американская социология утверждала свой приоритет не за счет выдвижения новых, оригинальных идей (вначале их было чрезвычайно мало), ибо в сфере теоретической социологии Америка еще не могла конкурировать с Западной Европой — признанным центром классической теории. Новым явилось, во-первых, беспрецедентное развитие эмпирических исследований, и во-вторых, разработка фундаментальной методологии, благодаря которой удалось навести мосты между высокой теорией и приземленной эмпирией. Именно количественная методология, созданная американцами, позволила сделать то, что не удалось европейцам, у которых теория и эмпирия были оторваны друг от друга.

В основном и в целом количественная методология развивалась в рамках позитивизма. И опять-таки новаторский стиль мышления американцев выразился в том, что они приземлили высокоабстрактный, чисто декларативный позитивизм О. Конта. Соединив его с сугубо американским достижением — философским прагматизмом, — американские социологи, кажется, осуществили давнюю мечту родоначальника социологии. Они превратили позитивизм в методологию количественного измерения.

Первой отчетливой программой количественной методологии явился физикализм Дж. Ландберга. В 1930-е гг. он формулирует так называемую

прагматическую эпистемологию, центральными принципами которой выступали операционализм, квантификация и бихевиоризм. Операционализм — процедура конкретизации социологических понятий, или сведение их к таким индикаторам, которые можно описать некоторой совокупностью измерений. Квантификация — количественное выражение, измерение качественных признаков в цифрах, например оценка в баллах личных и деловых качеств работника, удовлетворенности жизнью, социальной дистанции или интеллекта.

Бихевиоризм накладывал запрет на изучение субъективных состояний (мотивов, ценностей, стремлений) как скрытых от глаза и не поддающихся точной фиксации либо количественному измерению. Ландберг был убежден, что социология должна использовать концептуальную схему современной физики, т. е. действовать по аналогии. Уравняв социологию и физику, он ликвидировал качественное своеобразие социального метода, но зато расширил его количественные возможности.

Предвидение Дж. Ландберга о том, что социология постепенно перейдет на рельсы естественной науки, во многом оправдалось. Усилиями Дж. Ландберга, П. Лазарсфельда, У. Каттона, Р. Мертсона, С. Додда, С. Стауффера, Р. Бартона, М. Розенберга, Х. Блейлока, Г. Зеттерберга, У. Огборна и других американская социология получает прочный методологический фундамент и на протяжении многих десятилетий развивается как точная наука, использующая современный математический аппарат и статистическую теорию. Благодаря сильному влиянию бихевиоризма американская социология развивается прежде всего как поведенческая дисциплина и входит наряду с психологией, антропологией, этнографией и экономикой в систему социальных наук. Эпоха развития ее преимущественно как гуманитарной (то есть философской) науки (что было характерно для Европы XIX в.) уходит в прошлое вместе с эпохой «высокой классики».

Проникновение математики в социологию обогатило ее кластерным, факторным, корреляционным и другими методами анализа данных. В то же время статус поведенческой науки привел к заимствованию родственных методов из психологии и экономики, что не могло не обогатить собственно социологические процедуры. Из экономики в социологию пришли эконометрические методы, моделирование, эксперимент, а из психологии — психодиагностические методы. Уже к 1940–1950-м гг. была завершена разработка всех наиболее известных тестов: шкалы измерения интеллекта Д. Векслера, теста Г. Роршаха, теста тематической апперцепции, шестнадцатифакторного личностного опросника Р. Кэттела. Все это обогатило прежде всего эмпирическую и прикладную социологию, серьезно повысило профессиональный уровень ученых, привело к возможности создания формализованных теорий среднего уровня.

## ЛИТЕРАТУРА

Turner S.P., Turner J.H. The impossible science: An institutional analysis of American sociology. Newbury Park (Calif.), 1990.

## Глава 2

# ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА В АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: СТАНОВЛЕНИЕ, ТЕОРИИ, АВТОРИТЕТЫ

## I. У ИСТОКОВ АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Научная школа в социологии — явление довольно редкое. Ее появление и долговечность обусловлены констелляцией самых разнообразных обстоятельств, среди которых, как правило, упоминают наличие интеллектуального лидера — основателя школы — и группы его последователей, объединенных общими теоретическими и профессионально-этическими установками, которые преобразуются неординарными для своего времени; стремление школы преобразовать и «обновить» дисциплину в целом; определенный институциональный статус (принадлежность к университету); формирование интенсивного и регулярного интеллектуального обмена (издание научного журнала как способа такого обмена), налаживание дисциплинарных и междисциплинарных связей; перспективы и возможности финансирования деятельности школы и, наконец, просто особенности места и времени ее появления.

Чикагская школа — один из самых первых и самых ярких примеров такой констелляции. Счастливое совпадение и удачное сочетание вышеупомянутых условий позволило ей занять доминирующее положение в американской социологии в период с 1915 по 1934 г.; ее роль в институционализации социологии как академической дисциплины невозможно переоценить. «Тесно интегрированное местное сообщество преподавателей и студентов-выпускников, занятых в исследовательской программе по изучению города и сосредоточенных вокруг общих проблем, характерное для чикагской социологии 1920-х гг., почти не имеет аналогов с тех пор и по сей день» [3, 1], — считает М. Балмер<sup>1</sup>. Основанный А. Смоллом в 1892 г. первый в мире социологический факультет в Чикаго бросал вызов не только старым университетам Восточного побережья в деле воспитания интеллектуальной элиты, но призван был положить начало американской социологической школе в отличие от европейской традиции, не нарушая при этом преемственности в развитии социологической науки в целом. До основания факультета в Чикаго американская социология была представлена в основном работами «отцов-основателей» — Кули, Уорда, Самнера, Гиддингса, Росса, Смолла — и несколькими курсами по социологии в

<sup>1</sup> Прежде всех это название — «Чикагская школа» — употребил в отношении социологов Чикагского университета Л. Бернанд в своей работе «Школы социологии», опубликованной в 1930 г., хотя они сами себя так не называли [3, 229].



университете Брауна, Колумбийском и Йельском; однако ее академический статус был далек от основательности и всеобщего признания. Институционализация социологии в Чикаго была обусловлена во многом уже накопленным к тому времени теоретическим опытом и специфическими обстоятельствами места и времени. Специфика же состояла в том, что в начале века и особенно после Первой мировой войны Америка начала играть новую роль в мировом сообществе, освобождаясь от комплекса провинциальности. Этому способствовали как бурное развитие индустриализации, урбанизации, экономического подъема, так и мощный поток эмигрантов из самых разных концов разоренной войной и взбудораженной революциями Европы. Американское общество столкнулось с проблемами социальной интеграции, стабилизации, социальной и культурной адаптации эмигрантских сообществ, социального контроля в целом, разрешение которых требовало эффективных реформ. Потребность в социальных науках, прежде всего — в социологии, и требования к ним были продиктованы насущностью этих реформ. Чикагской социологии изначально был присущ пафос социального реформизма; основатель Чикагского университета Уильям Харпер основной задачей социологических исследований в университете полагал разрешение конкретных социальных проблем. А. Смолл придерживался той же идеи о амелиористском назначении социологии. Формирование и расцвет социологической школы в Чикаго в большей мере обязаны «традиции, которая предполагает, что эффективный социологический анализ уже сам по себе способствует коллективным усилиям, направленным на разрешение проблем, поскольку более ясное понимание социальной реальности служит привлечению всеобщего внимания» [3, 23]. Участие студентов и профессоров университета в разного рода городских реформах вызывало чувство особого, «интимного», отношения к городу: Р. Парк, например, писал, что для него Чикаго — «нечто большее, нежели совокупность индивидов и удобств... нечто большее, чем набор социальных институтов и административных единиц. Город — это скорее умонастроение, тело обычаев и традиций... продукт природы, в особенности — человеческой природы» [26, 57].

Такое отношение к городу во многом оправдывалось тем, что «наглядность социальных проблем здесь была большей, чем в других больших городах Америки», считает М. Балмер, вспоминая пулмановскую стачку 1894 г., беспорядки на Хаймаркет 1896 г., а также и тот факт, что в начале века (1900) половину населения Чикаго составляли эмигранты (в основном немцы, скандинавы, ирландцы, итальянцы, поляки, евреи, чехи, литовцы и хорваты)<sup>1</sup> [3, 13]. Миграция была одним из решающих факторов, определивших содержание социального реформаторства в Чикаго. Э. Бёрджесс дал впечатляющее описание этого процесса: «Чикаго захлестывали волны иммигрантов из Европы. Особенно велико было число новопривывших в период с 1890 по 1910 год. Первая мировая война остановила этот поток, но сразу же после войны он возобновился с еще большей силой. К тому времени, когда мы начали свои исследования, многие этнические соседские общины уже прочно обосновались, имея свои церкви, газеты, рестораны,

<sup>1</sup> М. Вебер, посетивший Чикаго в 1904 г. по приглашению А. Смолла, сравнивал город с человеком, с которого содрали кожу, и видно, как действуют его внутренние органы [3, 23].

политиков... К этому же времени настроение общественности оформилось в довольно стойкое предубеждение и неприязнь к переселенцам из Восточной и Южной Европы... Землевладельцы пользовались перенаселенностью и неведением новичков, предлагая им худшее жилье по завышенным ценам. Общественное предубеждение и желание отгородиться от потока иностранцев позволяли сохранять дефицит жилья для этих групп, несмотря на быстрое строительство в других частях города... Дети эмигрантов, оказавшись меж двух культур, не разделяли ни идеалов своих отцов, ни американских идеалов, хотя и отождествляли себя с Новым Светом. Они собирались в так называемые уличные компании, которые вели себя откровенно вызывающе как в отношении требований родителей, так и в отношении социальных норм американского общества в целом» [33, 4]. Складывавшаяся социальная ситуация требовала от реформистского движения прежде всего установления адекватного социального контроля и согласия, устранения социальных антагонизмов эволюционным путем; социологическая наука была призвана обеспечить средства такой реформы и дать представление о развитии конкретного социального процесса (в городском сообществе прежде всего), о соотношении конфликта и консенсуса в этом процессе. Другими словами, академическая, университетская наука оказалась ориентированной на вполне определенные исследовательские задачи. Чикагский университет стал одним из первых в Америке (после университетов Джонса Хопкинса и Кларка), соединивших преподавание с интенсивной исследовательской деятельностью. Замысел Харпера состоял в том, чтобы установить оптимальное соотношение между преподаванием и исследованиями. Формой такого соединения стали семинары, проводимые регулярно в университете, в которых, кроме студентов и преподавателей, принимали участие самые разные люди, заинтересованные в обсуждаемой теме: представители общественных организаций, политических партий, муниципальных властей, прессы и т. д. Именно ввиду этой тесной взаимосвязи академического обучения с прикладными исследовательскими программами, сосредоточенными на конкретных проблемах городского общества, и сформировалось популярное мнение о преимущественно эмпирической направленности чикагской школы. Однако более глубокое изучение условий формирования школы и содержания ее исследовательских программ заставляет усомниться в бесспорности такого вывода. Так, например, Л. Козер, затрагивая этот аспект в анализе развития школы, пишет: «Чикагский факультет зачастую обвиняют в пренебрежении социологической теорией и в приверженности бездумному эмпиризму. Однако это не так. Такие люди, как Томас и Парк, обучались в Германии у самых признанных в этой стране ученых. Парк написал свою диссертацию под руководством известного философа-неокантианца Вильгельма Виндельбанда. Но фактически чикагские социологи, в отличие от большинства других своих коллег, подчеркивали, что социология могла развиваться в Америке, только если она обращалась к изучению множества социальных проблем, с которыми столкнулась Америка на гребне урбанизации, индустриализации и капиталистического роста после Гражданской войны» [7, 70]. Можно сказать, что эмпиризм чикагских социологов был не столько методологическим принципом, сколько формой институционализации в определенных социальных об-

стоятельствах и в определенной интеллектуальной среде<sup>1</sup>, выражением определенных профессионально-этических установок. Этим их реформизм отличался как от «движения социальных опросов», занятого сбором статистических данных по специфическим локальным проблемам без их теоретического осмысления, так и от абстрактного теоретизирования «академических» социологов. Таким образом, в Чикаго был представлен не только один из наиболее удачных примеров внедрения обширных исследовательских программ в университетскую среду, но и задан образец организации инфраструктуры исследований, предполагавший финансовую поддержку программ факультета извне<sup>2</sup>.

Подготовительный период в развитии чикагской школы (1892–1915) связан с деятельностью в университете так называемой большой четверки: А. Смолла, Дж. Винсента, Ч. Хендерсона и У. Томаса. Усилиями Харпера и Смолла был основан первый в мире социологический журнал «*American Journal of Sociology*» (1895), который и оставался единственным до появления в 1921 г. «*Sociology and Social Research*», а затем, в 1922 г., «*Social Forces*». При активном участии Смолла в 1905 г. было создано и Американское социологическое общество, которое послужило в дальнейшем развитию Чикагской школы связующим звеном между чикагскими социологами и широкой социологической общественностью. «Главным в наследии этого первого поколения американских социологов была институционализация социологии в американских университетах» [13, 225]. В этот период еще не было создано ставшей впоследствии характерной чертой чикагской социологии единой исследовательской программы с четко обозначенной теоретической ориентацией. Первой фундаментальной работой, обозначившей начало нового этапа в развитии социологических исследований и ставшей классическим образцом исследования в стиле чикагской школы, была известная работа Томаса и Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке».

Принципиально новый этап в развитии чикагской школы начался с приходом туда Р. Парка. В самом начале это развитие связывалось с именами Томаса и Парка как идейных лидеров школы, затем, после ухода Томаса в 1913 г., школу возглавила другая пара — Парк и Бёрджесс. Успех школы во многом был обеспечен органичным соединением эмпирических исследований с теоретическими обобщениями, выдвижением гипотез в рамках единой организованной и направленной на конкретные практические цели социально-реформистской программы. Такое сочетание теории и прикладных исследований стало возможным благодаря сотрудничеству Парка и Бёрджесса, в котором приоритетом Парка было в основном теоретическое обобщение, а Бёрджесс был особенно изобретателен в организации и методическом обеспечении исследовательских программ<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Следует отметить, что первой научной школой в Чикагском университете была «Чикагская школа философии» — прагматизм Дж. Дьюи, — обосновывавшая философски идею социального реформизма и оказавшая значительное влияние на ориентации социальных ученых.

<sup>2</sup> Финансирование программ осуществлялось образованными для проведения социальных реформ филантропическими фондами — Carnegie Corporation и Laura Spelman Rockefeller Memorial.

<sup>3</sup> Такое разделение нельзя считать абсолютным; это, конечно же, не означает, что Бёрджесс был далек от теоретических построений, достаточно вспомнить его теорию «естественного зонирования и концентрических зон».

Основными темами, на изучение которых Парк ориентировал своих учеников, были расовые отношения и город как социальная среда. И то и другое Парк воспринимал как «лабораторию» для изучения коллективного поведения в его различных проявлениях. В формировании школы манера общения Парка со студентами, его способность интенсивно работать с выпускниками, готовящими диссертации, сыграли не меньшую роль, чем его концепции и исследовательские проекты. Ему удавалось, по свидетельству М. Балмера, «поднимать их на такой уровень достижений, который, как это ни парадоксально, превосходил все ожидания самого студента относительно *своих* способностей» [3, 113]. Привлекая студентов к исследовательской программе, Парк умел помочь каждому найти его специфический интерес в этом исследовании и помогал развернуть и обсудить намеченный исследовательский план в самом широком диапазоне<sup>1</sup>. Для обсуждения самых разнообразных тем, которые нередко затем становились темами диссертаций, Парк организовал «Общество социальных исследований» (1920), которое, по его мысли, должно было «стимулировать широкий интерес и интеллектуальное сотрудничество между факультетом и студентами» в единой исследовательской программе. «Общество» обеспечивало студентам контакты и с общественностью города (муниципальные власти, общественные организации, пресса, словом — люди из «реального» мира), давая возможность расширить контекст их исследований, установить междисциплинарные связи. Другой целью «Общества» было объединение выпускников Чикагского университета по всей стране, что позволяло чикагскому социологическому сообществу сохранять положение доминирующего центра американской социологии на протяжении 1920–1930-х гг. Привычным, лекционно-библиотечным, методам работы со студентами Парк предпочитал неформальные семинары, обсуждения и даже «клубные» разговоры. «Парк, — вспоминает Э. Хьюз, — был преимущественно клубным человеком. Он не играл в карты или на бильярде, но обожал интеллектуальные беседы. Там, где он появлялся, сразу же возникал семинар» [3, 191]. Перечисление учеников Парка, ставших известными и даже знаменитыми американскими социологами, заняло бы много места, поэтому перечислим лишь тех из них, которые были президентами Американского социологического общества: Э. Хьюз, Г. Блумер, С. Куинн, А. Котрелл, Э. Ройтер, Р. Фэрис, А. Вирт, Е.Ф. Фрэйзер. Среди работ Парка, посвященных в основном трем главным его темам — расовые отношения и конфликт культур, город как социальная среда, предмет социологии и ее роль в современном обществе, — десять предисловий к книгам его учеников.

<sup>1</sup> Среди работ учеников Парка–Бёрджесса, вошедших в исследовательские программы и составивших, собственно, школу, перечисляют обычно: Ch. Johnson «The Negro in Chicago» (1922), N. Anderson «The Hobo» (1923), E. Mawrer «Family Desorganization» (1927), F. Trasher «The Gang» (1927), R.Sh. Cavan «Suicide» (1928), L. Wirth «The Ghetto» (1928), H. Zorbaugh «The Gold Coast and the Slum» (1929), E.F. Frazer «The Negro Family in Chicago» (1931), P.G. Gressy «The Taxi-Dance Hall» (1932), W. Reckless «Vice in Chicago» (1933), N. Hayner «Hotel Life» (1936), C. Shaw, H.D. McKay, F. Zorbaugh, L. Cottrell «Delinquency Areas» (1929), J. Landesco «Organized Crime In Chicago» (1929), C. Shaw «The Jack-Roller» (1930), «The Natural History of a Delinquent Career» (1931), C. Shaw, H. McKay «Social Factors in Juvenile Delinquency» (1931), L. Edward «The Natural History of Revolution», E.T. Hiller «The Strike» (1928), P. Young «The Pilgrims of Russian-Town» (1932).

## 2. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ТЕОРИИ, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЫ

Фундаментальным результатом работы Томаса–Парка–Бёрджесса<sup>1</sup> по формированию школы, которое представлялось как соединение усилий по созданию оригинальной теории с делом ее распространения среди студентов, превращения ее в основу усвоения социологических знаний в целом, стал знаменитый учебник «Введение в науку социологию» [25], выдержавший два издания (1921 и 1924), каждое из которых имело по четыре репринта. До этого в Чикаго уже был учебник социологии (первый в мире), написанный А. Смоллом и Дж. Винсентом в 1894 г. Но учебник Смолла — брошюра, излагающая в основном его собственные взгляды на социологическую теорию, — гораздо скромнее по замыслу, чем учебник Парка–Бёрджесса, представляющий собой внушительный том на тысячу страниц, собравший сто девяносто отрывков из работ различных авторов (не обязательно социальных ученых). Среди авторов текстов (или, как их называют авторы учебника, «материалов»), разнообразных не только по тематике, но и по жанру (здесь попадаются даже дневниковые записи), наиболее часто можно встретить имена Г. Зиммеля, Ч. Кули, У. Томаса, Г. Спенсера, Ч. Дарвина, Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Лебона и самого Р. Парка. В предисловии Парк подчеркивает, что этот учебник «задуман не просто как набор материалов, но как систематическое изложение» основ социологии, как «попытка дать материал в рамках вполне определенной совокупности социологических понятий» [25, V]. Основной замысел учебника, помимо изложения определенного взгляда на предмет и метод социологии и ее роль в современном обществе, состоял в том, чтобы выработать у студентов активное, творческое отношение к предмету, чтобы сделать социологию «общим предприятием», в котором участвуют и преподаватели, и студенты. Главное, чему должен был научить учебник, по мнению Парка, — это наблюдать, творчески относиться к своим наблюдениям, сравнивать их с прочитанным, словом — уметь организовывать и использовать свой собственный опыт, как эмпирический, так и теоретический [25, VI]. Основные теоретические принципы Р. Парка отражены уже в самой структуре учебника, состоящего из четырнадцати разделов, в предисловиях к которым эти принципы излагаются. При этом к каждому из разделов, кроме предисловия и собственно «материалов», прилагается список вопросов и проблем для изучения и обсуждения, а также список литературы по этим вопросам. Библиография учебника дает вполне исчерпывающее и серьезное представление об основных направлениях европейской и американской социологии того времени. Не удивительно, что первое издание учебника критиковали за его сложность для начинающих студентов и «интеллектуализм»; на это Парк отвечал, что учебник должен быть книгой, «которая заставляет студента воспринимать социологию серьезно» [25, IX]. Такой «синоптический» взгляд на социологическую науку в пределах одного учебника, который студенты за его основательность окрестили «зеленой Библией» (книга вышла в зеленой облож-

<sup>1</sup> Идеи У. Томаса относительно замысла учебника и предложенная им схема организации «материалов» были в целом воспроизведены в этом учебнике [11, VII].

ке), дает представление и о теоретической направленности чикагской школы в целом.

Своеобразие чикагской школы, отразившееся и в учебнике, заключается в широкой теоретической ориентации, соединении различных подходов и методов, среди которых нет определенно доминирующих (неверно было бы отождествлять ее с социально-экологической теорией, которая играла центральную, но не доминирующую роль в чикагской школе). В соответствии с социально-реформистской сверхзадачей, воспринятой чикагскими социологами, центральными проблемами, вокруг которых разворачивались их теоретические построения, стали «социальные изменения», «социальный контроль», «коллективное (корпоративное) действие» и т. п. Эволюционистская трактовка социального изменения предполагала «естественное» происхождение объекта исследования (будь то город, или этническое сообщество, или тип личности) и движущих сил социального развития, подчиняющихся спонтанным, «естественным» закономерностям. Так, Парк и Бёрджесс отрицали возможность общей социологической теории прогресса, допуская это понятие лишь в качестве результата обобщения конкретных практических проблем в определенной области знания, т. е. как прогресс в познании. Конфликт и согласие рассматривались в этой концепции как взаимосвязанные и взаимодополняющие стороны единого эволюционного процесса; таким образом, подчеркивалось естественное происхождение конфликта и закономерность его трансформации в не менее естественное состояние согласия, которое, однако, в меньшей мере интересовало чикагских теоретиков, поскольку основной мотив их исследований — процесс, движение к этому согласию, механизмы и формы его достижения. Наибольшее внимание Парка привлекают явления и процессы, препятствующие этому движению, поскольку именно их вмешательство в «нормально» протекающий процесс, «нормальность» которого при обычных условиях не ощущается, помогает выявить и понять природу этого процесса и его механизмы. Процесс социальной эволюции, связующий макро- и микроуровни социального взаимодействия, рассматривается как развитие от биотического уровня к социальному (культурному), от симбиоза к цивилизации, от конкуренции к коммуникации. Попытки соединить натурализм и холизм на макроуровне с интеракционизмом и социальным атомизмом на микроуровне в единой эволюционистской трактовке социального процесса обусловили и эпистемологическую противоречивость и двойственность методологических построений, свойственную не только социальной экологии Парка, но характерную для социологического факультета в Чикаго вообще. Здесь, с одной стороны, уже наметился значительный крен в сторону интеракционизма и социального номинализма (А. Смолл, У. Томас, Ч. Эллвуд, Г. Блумер), а с другой — были сделаны попытки соединить интеракционизм с социальным реализмом (Р. Фэрис, У. Боденхафер, Э. Хейес, Дж.Г. Мид). Учебник Парка–Бёрджесса, обобщавший теоретический опыт чикагской социологии, оказался, таким образом, попыткой синтеза противоречивых подходов во всем многообразии их аргументации. «При чтении учебника Парка — Бёрджесса, — признается Дж. Льюис, — поражает впечатление, что, образно выражаясь, авторы пытаются молиться сразу нескольким богам. Если распутать это сплетение их раз-

нообразных нитей, то остаются две основные. Во-первых, Парк, как и другие чикагские социологи, был под влиянием идей ранних американских теоретиков, особенно Кули, Дьюи и Томаса. Во-вторых, что не менее важно для Парка, это его непосредственный контакт с немецкой социологией — особенно с Виндельбандом и Зиммелем — и изучение Дюркгейма» [11, 184–185]. Принятие идеи социального контроля на макроуровне, объективация моральных и социальных норм, эволюционизм социального развития (установление его ритма, цикличности и периодичности), подчинение развития личности и индивидуального сознания воздействию всех предыдущих уровней организации (экологического, экономического, социального) свидетельствуют в пользу «реализма», Парка, который обеспечивается здесь функционально-процессуальным подходом. Однако, отвергая психологический интеракционизм и занимая «реалистические» позиции «социального контроля», «коллективного поведения» и «коллективного сознания», Парк в то же время остается и «номиналистом» по вопросу о механизмах формирования контролирующих норм, обычаев, нравов, согласия в целом, развивая в социально-экологической теории «естественный» (основанный на биотической природе человека) интеракционизм, переходящий в интеракционизм «пространственный». Другими словами, выступая против психологического редукционизма в социологии, Парк допускает редукционизм экологический. В результате на биотическом уровне общество рассматривается с точки зрения «реализма» и функционально-процессуального подхода, а на социальном (культурном) уровне, где достигается согласие и формируется коллективное сознание, акценты смещаются в сторону «номинализма», к «упорному индивидуализму американской социологии» [1, 432], к «социальному атомизму» и общество рассматривается главным образом как взаимодействие социальных «атомов».

Этим методологическим подходом к анализу предмета исследования обусловлен и выбор методов прикладных исследований, который также отличается стремлением соединить методы глубокого монографического обследования (анализ личных документов, биографий, неформализованное интервью, включенное наблюдение) и статистические методы анализа, социальное картографирование; для чикагских социологов не характерно противопоставление или принципиальное разделение «мягких» (антропологических и этнографических) методов и «жестких», количественных; в исследовательских программах они, как правило, комбинируются и взаимодополняются. Заметный сдвиг в сторону предпочтения метрических методик наметился с приходом в Чикаго Огборна (в 1927). В целом же, как с теоретической (методологической), так и с методической стороны, чикагская школа отличается многообразием и органической слитностью самых различных подходов, которые в дальнейшем своем развитии дифференцируются так, что их совмещение становится возможным только в виде эклектики. Попытки последователей Парка избавить его теорию от противоречий, «естественное» соединение которых и составляет ее специфику, заканчивались лишь тем, что многие его динамические идеи превращались в статические [29, IX], не способные охватить естественный процесс социальной эволюции, связующий природу, общество и индивида, прослеживающий развитие форм их взаимодействия.

Чикагскую школу нередко называют «классической»: основанием тому служит, пожалуй, не только то, что чикагские социологи были современниками общепризнанных «классиков» социологии или учились у них, перенося их идеи на американскую почву, но главным образом стремление к «классической» универсальности подхода к определению и трактовке предмета социологии как науки, попытки обосновать ее роль и место в ряду других наук и дать ей некоторую профессионально-этическую перспективу, дойти до ее философских оснований. Поэтому было бы ошибкой прочно связывать представления о чикагской школе, например, «с социологией социальных проблем, или социологической социальной психологией, или с работами Дж.Г. Мида, или с зачатками символического интеракционизма. Социологические ориентации факультета были разнообразны... и его сила — в этом разнообразии» [3, 3]. Именно это многообразие ориентации позволило Чикагскому факультету социологии «колонизировать», по выражению Л. Козера, «новые факультеты, подобно тому, как древние Афины в классическую эпоху колонизировали новые города на восточном побережье Средиземноморья» [7, 70]. Одной из наиболее ярких характеристик чикагской школы является также и разветвленность ее междисциплинарных связей с другими факультетами в Чикаго, многие из которых тоже составляли «школы». Среди них можно упомянуть чикагскую школу философии (Дж. Дьюи, Дж. Тафта, Э. Мур, Дж.Г. Мид), антропологии (Ф. Старр, Ф. Коул, Э. Сепир, Р. Редфилд), политических наук (Ч. Мерриэм, Г. Госснелл, Х. Лассуэлл, Л. Уайт, Э. Фройнд), психологии (Л. Терстоун, Дж. Энджелл, Б. Рамл, Дж. Уотсон), экономики (Г. Шульц, Дж.Л. Лафлин, Т. Веблен, Ф. Найт, У. Митчелл), «социологической» теологии (Ш. Метьюз, Э. Эймс). Для большинства чикагских школ было свойственно увлечение эмпирическими (экспериментальными) подтверждениями своих теорий и непризнание дисциплинарных границ, что позволяет говорить, пожалуй, о чикагской школе социальных наук в целом.

Влияние чикагской школы на развитие американской социологии сказывается на протяжении еще 1930–1940-х гг., после чего инициатива переходит к Гарвардскому и Колумбийскому университетам. Среди основных причин упадка чикагской школы называют уход из университета в 1934 г. ее лидера — Р. Парка, обострение разногласий относительно методов исследования, отсутствие равнозначных Парку последователей в теории. Изменилась, однако, и общая социальная ситуация: наметился кризис локалистских и регионалистских ориентаций в целом в период экономической депрессии и обострения проблем общенационального значения.

### 3. РОБЕРТ ПАРК

Становление, институционализация и развитие американской социологии как академической дисциплины берет начало в чикагской школе социологии, одним из основателей и идейным лидером которой не без оснований считается *Роберт Эзра Парк* (1864–1944). Исследовательская и организаторская активность Парка, его влияние на студентов, его усилия по формированию интенсивной интеллектуальной среды в Чикагском



университете и школы социологии столь значительны, что зачастую его роль сводят к деятельности по созданию и руководству обширной программой эмпирических исследований, оставляя в стороне собственно теоретическое его наследие. Социологическая теория Парка интересна не только тем, что помогает понять, почему именно чикагская школа стала в начале XX в. эпицентром американской социологии, но и проследить преемственность и определить наиболее значимые эпизоды ее ранней истории. В этом смысле Парк, «как и всякий оригинальный мыслитель, — по мнению Р. Тернера, — выдвигал некоторые не вполне разработанные идеи, переосмысливал их в ходе своего интеллектуального развития и страдал от ограничений, налагаемых эпохой, в которую он работал» [32, IX].

Р. Парк родился в 1864 г. в городке Рэд-Уинг (Пенсильвания), где и провел первые восемнадцать лет; поступив в университет Миннесоты на факультет естественных наук, он через год сменил его на филологический факультет Мичиганского университета, где занимался классическими языками, немецким, французским и английским. Здесь же Парк слушал лекции Дж. Дьюи по логике; другим его увлечением в это время была немецкая филология (особенно Гёте). По окончании университета в 1887 г. Парк стал газетным репортером, работал в Миннеаполисе, Детройте, Денвере, Нью-Йорке. Однако через пять лет он решил бросить репортерство и заняться бакалейным бизнесом своего отца; по пути к отцу Парк посетил Дьюи, который познакомил его со своей идеей относительно роли прессы в развитии современного общества. И хотя замысел новой, «просветительской», газеты так и не был осуществлен, это событие, видимо, предопределило не только дальнейшие журналистские занятия Парка, но и его особый интерес к развитию социальных процессов в их связи с развитием средств массовой информации. В 1897 и 1898 гг. Парк слушал курс философии в Гарварде при так называемом «Золотом дворе»: У. Джемс, Дж. Ройс, Дж. Сантаяна — и занимался психологическими исследованиями в лаборатории Мюнстерберга. Следующие четыре года прошли в Германии: сначала в Берлине, где Парк прослушал свой первый и единственный систематический курс по социологии у Зиммеля; затем в Страсбурге под руководством Виндельбанда он работал над диссертацией «Толпа и публика», которую защитил в Гейдельберге. Возвратившись из Германии, Парк два года преподавал философию в Гарварде, занимаясь одновременно и журналистикой. Однако все это его не удовлетворяло, и он вскоре отказался от преподавания в Гарварде и, кстати говоря, от предложения А. Смолла преподавать социологию в Чикаго. Следующие семь лет, проведенные в Институте Букера Вашингтона, дали Парку богатейший социологический материал и привили интерес к проблемам расовых отношений и взаимодействия различных культур. Вместе с Вашингтоном Парк исколесил семь южных штатов, записал сотни биографий и пришел к выводу, что «изучение негров в Америке дает возможность исследовать развитие современного американского общества в целом... Негры в американской среде — это социальная лаборатория» [27]. В 1910 г. Б. Вашингтон и Парк посетили Европу, с тем чтобы сравнить положение чернокожих фермеров Алабамы с положением беднейших классов в Европе. Результаты этой поездки были представлены на организованной

Парком международной конференции по негритянским проблемам, которая стала для него знаменательна тем, что здесь он познакомился с У. Томасом, тогда профессором социологии в Чикагском университете. Попытка Томаса привлечь Парка в Чикаго оказалась более удачной, и в 1914 г. Парк начал читать свой первый курс в Чикаго по проблемам негров в Америке; к 1916 г. Парк вел уже четыре социологических курса: «Негры в Америке», «Пресса», «Толпа и публика», «Опрос». В Чикаго для Парка начался период интенсивной исследовательской и преподавательской работы, кульминацией и теоретическим итогом которой стал учебник Парка и Бёрджесса «Введение в науку социологию» (1921) [25]<sup>1</sup>.

Центральной темой социологической теории Парка, определяющей его представление о природе общества, о взаимодействии общества и индивида, о предмете и методике социологии вообще, выступает социальный контроль, точнее социальный контроль коллективного поведения. Определение социологии как науки о коллективном поведении и определение общества как организации социального контроля предполагает определенное рода взаимосвязь этих понятий в концепции Парка. Коллективное поведение у Парка — это не всегда поведение социальное; его происхождение может носить стихийный, спонтанный, психический характер; социальным оно становится лишь под воздействием традиции, нравов, обычаев, моральных норм, законов, т. е. различных форм социального контроля, когда оно приобретает «корпоративный» характер согласованного действия. Социальный контроль как общность символов, знаков, значений преобразует коллективное поведение во взаимодействие. Определение общества через коллективное поведение подчеркивает, во-первых, его изменчивость, общество рассматривается как процесс, во-вторых, это процесс «естественный», имеющий свою досоциальную стадию развития, независимый от сознания участвующих в коллективном поведении индивидов и потому представляющий собой нечто большее, чем совокупность индивидов. Общество — это имеющий свою реальность социальный организм. Эта независимая от ментальности реальность общества подтверждается его процессуальностью и результатами этого процесса: традициями, мнениями, обычаями и т. п., которые выступают в отношении индивида как формы социального контроля. Поэтому социология — это «точка зрения и метод исследования процесса, посредством которого индивиды включаются в определенного рода непрерывное корпоративное существование, называемое обществом» [25, 42]. Определение общества через контроль функционально, т. к. функция контроля — «организовывать, интегрировать и направлять энергию индивидов, составляющих общество» [14, 14], в русло корпоративного действия; цель контроля — обеспечить определенную степень солидарности, необходимую для корпоративного действия. Таким образом, в итоговом определении общества и как коллективного поведения, и как организации контроля оно выступает как организация корпоративного действия и существования. Социальный контроль — способ поддержания такой организации в ее

<sup>1</sup> Отдельные фрагменты из трудов Парка на русском языке см.: Теоретическая социология. Антология: В 2 т. / Под ред. С.П. Баньковской. М., 2002. Т. 1. С. 374–421; Социологическая теория: история, современность, перспективы // Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб., 2008. С. 29–57.

постоянно изменяющихся формах. Можно сказать, что коллективное поведение и социальный контроль в определении общества у Парка соотносятся как две стороны одного феномена: коллективное поведение — сам процесс существования общества, его конкретное содержание, фиксируемое в эмпирическом наблюдении; социальный контроль — механизм этого процесса на той или иной стадии его развития, форма, структурирующая этот поток и дающая критерии для осмысления и классификации наблюдений. Поскольку формы контроля связаны со стихией коллективного поведения, они не могут оставаться неизменными, застывшими образцами, усваиваемыми индивидами в готовом виде — они так же изменчивы и ситуативны. При этом если механизм контроля действует между индивидом и обществом, то внимание Парка сосредоточивается главным образом не на взаимосвязи механизма контроля с социальным организмом в целом, но на взаимосвязи контроля и индивида, что в конечном счете приводит его к постановке «классического» вопроса о соотношении общества и индивида. Этот интерес к отдельному индивиду у Парка продиктован не столько философско-психологическими трактовками «природы человека», сколько необходимостью зафиксировать в ситуативном и преходящем социальном порядке, непрерывно меняющем свои формы, постоянный объект исследования. Индивид как носитель этих универсальных форм корпоративного поведения и является объектом контроля и, следовательно, объектом исследования. Поэтому в том же учебнике можно встретить определение социологии как науки о человеческом опыте и человеческой природе, для которой различные формы социального контроля являются не только ограничителями, но, что самое главное, каналами и способами самореализации индивида. Тема социального контроля совершенно очевидно взаимосвязана с социально-реформистской ориентацией, свойственной концепциям и исследованиям Парка. Поток эмигрантов, хлынувший в Америку во время Первой мировой войны, чрезвычайно обострил проблему социальной (культурной) адаптации и социального контроля над многочисленными национальными группами, обособленно сосуществующими в едином городском сообществе. Парк активно участвовал в самых разных исследовательских программах, имевших целью налаживание социального контроля над этими группами (в основном это были исследования городской среды и расовых (национальных) отношений). При этом реформизм Парка существенно отличался от традиционного американского его понимания в духе морализма и амелиоризма. Он настаивал на (вероятно усвоенном в Европе) «объективистском» понимании роли социальных наук в реформаторстве: социология, по мнению Парка, не должна заниматься специально продуцированием «должного» представления об обществе или разработкой средств для скорейшего достижения «идеального» состояния, но предоставлять тем, кто принимает социально значимые решения, конкретное знание, углубляющее их понимание социальных проблем. «Социолог не может проклинать одних и молиться за других» [28].

*Методология исследования.* Перспективы развития социологии как научной дисциплины Парк видел в ее приближении к строгой методологии экспериментальных наук [25, 45]. Эта мысль особенно настойчиво проводится в его ранних работах. Следуя своей социально-реформистской

сверхзадаче, он считал, что социологии следует не увлекаться монументальными описаниями культурной эволюции, но продуцировать конкретное знание о социальных фактах, полезное в разрешении насущных проблем. Однако было бы глубоко неверно отождествлять эту профессионально-этическую установку Парка с основными принципами его методологии и на этом основании считать ее позитивистской, эмпиристской и пр. «В популярном мнении он часто отождествляется с нетеоретическим, беспорядочно эмпирическим подходом и олицетворяет стереотип доминирующего направления американской социологии в период между войнами, — пишет об этом Р. Тернер. — Но более полное рассмотрение методологических интересов Парка показывает, что эта популярная версия представляет весьма искаженную картину» [32, XVII]. Хотя Парк никогда не отрекался от своих ранних взглядов на конкретность и точность социологического метода, а также и на роль социологии в социальном реформаторстве, в своих работах он почти не использовал количественные методы и данные этих методов. Его методическая работа заключалась в том, что он выдвигал идею метода, создавал его общий замысел, который затем доводился его коллегами и учениками до строго формализованной процедуры. Так было с индексами районирования городской среды в рамках социально-экологического подхода и с понятием «социальной дистанции» [24], на основе которой Э. Богардус создал известную шкалу. Идеи Парка служили значительным импульсом для развития количественных методов, но его собственная методология основывалась на иных принципах, среди которых выделяются два ключевых, отвечающих его представлениям о предмете социологии и природе социальной реальности. Во-первых, это стремление не просто зафиксировать и точно описать индивидуальное или коллективное поведение, но определить его смысл<sup>1</sup>, понять и даже почувствовать природу, направление развития социального явления, его сущность и будущность. Поэтому особое значение Парк придает «понимающим» методам, таким как «сочувственное отождествление» («*sympathetic identification*»), и отсюда его акцент на тщательное «изучение», «вживание» в индивидуальность и уникальность изучаемого объекта, а не просто «исследование». Во-вторых, это требование анализировать любое социальное явление в его развитии, в процессе, в состоянии «динамического неравновесия» [32, XXII]: социальный процесс представляется как движение к некоторому оптимальному, гармонизированному равновесию (социальный конфликт завершается ассимиляцией, коллективное поведение имеет результатом институционализацию, общественное мнение приобретает качество моральной нормы и т. п.). При этом Парк почти ничего не говорит о самих этих конечных состояниях, его главным образом занимает именно процесс, последовательность изменений. Сочетание этих двух принципов: «атомизма» и эволюционизма — воплотилось в понятии «естественной истории», которое и стало основным методологическим инструментом социально-экологической концепции Парка. В работах Парка нет однозначного определения этого понятия, однако его применение к анализу различных социальных явлений (стачек,

<sup>1</sup> При этом Парк далек от формально-типологических классификаций социального действия в духе М. Вебера.

революций, прессы, расовых предрассудков, городского сообщества и др.) позволяет выделить некоторые особенности этого метода. Прежде всего здесь предполагается генетическая связь социального явления с его до-социальным, «примордиальным» состоянием, указывается на «естественное» происхождение (и тем самым на объективность и собственную реальность) социального порядка, который, таким образом, взаимосвязан и воспринимается в контексте «естественного» порядка. Именно это и дало основание приписывать Парку «натуралистскую» трактовку общества, тогда как собственно общество Парк понимает, скорее, интеракционистски («общество как взаимодействие», «корпоративное действие», возможное в силу общности традиции, символов, ценностей и т. п.); «натуралистской» можно назвать лишь трактовку происхождения общества («общество как социальный организм», порожденный независимыми от человеческого планирования «естественными силами»). Кроме того, «естественная история» — это обобщающее объяснение, типическая последовательность, ведущая к образованию формы, а не к описанию отдельного случая, которое может быть лишь поводом или началом анализа. Наконец, «естественная история» — это цикл развития явления от хаотичного, беспорядочного и неконтрольного состояния к оптимальному равновесию, достижение которого порождает дисбаланс иного рода и новый цикл развития. «Естественная история» общества как организации социального контроля представлена социально-экологической концепцией Парка, конкретным случаем и наиболее точной иллюстрацией которой стала социальная экология города.

*Социальная экология.* В 1930-е гг., когда социально-экологический подход был уже достаточно разработан, Парк читал три курса по социальной экологии, написал шесть статей на эту тему, из которых «Человеческую экологию» (1936) [14] можно считать программной, и планировал написать монографию в соавторстве со своим учеником Р. Маккензи, к работе над которой он приступил в 1936 г. Парк придавал большое значение этой работе, полагая, что она положит начало новой социальной науке. Однако книга так и не была написана из-за личных недоразумений соавторов<sup>1</sup>. Основная идея концепции заключалась в том, чтобы обосновать существование, помимо социальной организации, «системы жизненных функциональных связей между людьми, которая может быть описана как симбиотическая, или экологическая» и определить ее фундаментальные понятия: «биотическая основа жизни», «симбиоз», «сеть жизни», «социальное равновесие», «конкуренция» и др. Исходным в социальной экологии является представление об обществе как о «естественном», «глубоко биологическом феномене». Это означало, что, помимо культурного, социального уровня, общество имеет еще биотический уровень, лежащий в основе всего социального развития и в конечном счете определяющий социальную организацию общества. «Проявления живого, изменяющегося, но устойчивого порядка между конкурирующими организмами, воплощающими конфликтные, но все же взаимосвязанные интересы, явля-

<sup>1</sup> Замысел этой книги был осуществлен учеником Р. Маккензи А. Холи (см.: *Hawley A. Human Ecology: A theory of community structure. N.Y., 1955*), хотя методологические акценты были существенно изменены в соответствии с доминировавшим к тому времени структурно-функциональным подходом.

ются основой для понимания социального порядка... и общества, основанного скорее на биотическом, нежели культурном базисе» [21, 3]. Социальный (культурный) и биотический порядок (или, как в более поздних работах их определял Парк, — «симбиоз» и «цивилизация») подчиняются различным законам, но генетически взаимосвязаны, поэтому эффективное решение проблемы социального контроля не может ограничиваться только собственно социальным уровнем, но должно учитывать и формы контроля, действующие на биотическом уровне. Экологический порядок (биотический уровень) — это нечто вроде «бессознательного», если сравнивать общество с индивидом; оно в силу собственных законов нарушает рациональную гармонию социального порядка и стимулирует изменения. «Естественная история» общества направляется конкуренцией, которая принимает различные формы в ходе социальной эволюции, достигающей на культурном уровне оптимального состояния — «соревновательной кооперации». Именно конкуренция более всего придает сообществу характер организма, формируя его структуру и регулируя чередование равновесия и дисбаланса в развитии социального организма. Социальное изменение подразделяется на ряд последовательных фаз, где каждая фаза — результат предшествующих и воплощение определенной формы конкуренции и, вместе с тем, определенной формы социации, изучаемой соответствующей дисциплиной. Так, Парк выделяет четыре фазы в процессе эволюции от биотического уровня к социальному: экологический порядок, экономический, политический и культурный. Механизм контроля и организующий принцип каждого порядка представляет собой соответствующую форму конкуренции — борьба за выживание на биотическом уровне, конфликт, аккомодация и ассимиляция — на социальном. Экологический (территориальный) порядок — результат пространственного, физического взаимодействия индивидов как «социальных атомов»; экономический порядок — продукт торговли и обмена; политический — предполагает еще более тесные связи, когда конкуренция, будучи осознанной, переходит в конфликт, контроль и регуляция которого осуществляется средствами политических институтов с целью установления социальной солидарности; наконец, наименее формальный и наиболее тесный и интенсивный вид взаимодействия осуществляется на культурном уровне, где господствует традиция. Общество «налагает на свободную игру экономических и эгоистических сил ограничения политического и морального характера. Но обычаи, конвенции и закон, посредством которых общество контролирует индивидов и самоконтролируется, оказываются в конечном счете продуктом коммуникации» [21, 318]. На этом уровне в действие вступает другой механизм контроля и коллективное поведение приобретает качество взаимодействия. Формула Парка «общество как взаимодействие» подразумевает опять же социальный атомизм (но уже на микроуровне), апеллирующий к «природе человека», к его способности действовать рационально и корпоративно. Коммуникация, являясь интегрирующим и социализирующим процессом, делает возможным согласованное действие; согласованность действия, а не специфическая структура, придает обществу его социальный характер [16, 16]. Согласие, институционализируемое в традиции, моральном законе, обычаях и т. п., принимает характер контроля над естественными проявлениями

конкуренции, усложняет социальный процесс, но существенно его не изменяет — экономический, политический и моральный порядок являются фактически сублимированными формами биотической конкуренции. Сублимирование форм конкуренции происходит прежде всего в коммуникации и зависит от специфической природы взаимодействующих индивидов, т. е. сама способность к коммуникации признается в конечном счете изначально имманентной человеческой природе.

*Личность и социально-экологический процесс.* Независимые от воли индивидов «социальные силы», связующие индивида и общество, интересуют Парка как сублимированная форма «естественной» силы — конкуренции; тем самым подчеркивается значение естественной человеческой природы в процессе коллективного поведения. «Мы вынуждены признать, что существуют различные типы и уровни поведения, представленные в человеческом организме, — пишет Парк, — человек — наследник всех видов, предшествовавших ему в биологических сериях. Результат заключается в том, что наиболее развитые формы человеческого поведения настолько тесно переплетены с самыми элементарными, что трудно четко обозначить разницу между ними» [17, 268]. Развитие и социализация «человеческой природы» происходит в том же континууме между биологическим и социальным уровнями. На макроуровне несублимированным проявлением биотической конкуренции выступает экологическая (пространственная) организация населения и институтов. Носителями и проводниками «естественных» качеств социума являются обладающие все той же структурой биотического и социального уровней «социальные атомы», наделенные «человеческой природой»; их биотическая конкурентоспособность проявляется прежде всего в их физическом, пространственном взаимодействии: в миграции, в свободе передвижения. «Именно в передвижении, — по Парку, — развивается тот особый тип организации, который называется „социальным“. Социальный организм состоит прежде всего из индивидов, способных к передвижению» [14]. Миграция как коллективное поведение обладающих биотической природой индивидов образует экологическую структуру на макроуровне, которая и является предметом исследования социальной экологии. Надстраивающаяся на этом основании иерархия: экономический, политический, социальный и, наконец, культурный порядок — изучается, соответственно, экономической, социологией и антропологией. На высших уровнях иерархии конкуренция не устраняется, но контролируется; источником же и конкурентных процессов, и обеспечения контроля оказывается, благодаря своей социально-биотической организации, опять же отдельный индивид.

*Положение человека в обществе.* В интерпретации этой «классической» проблемы — соотношения личности и общества, Парк использует и формулирует в соответствии со своей концепцией понятия «роль», «Я» и «маргинальная личность». В трактовке этих понятий Парком вполне очевидно сказывается влияние Г. Зиммеля, Ч.Х. Кули, Дж. Дьюи и У. Джемса<sup>1</sup>. «Мы неизбежно ведем двойное существование, — пишет Парк, — стремясь жить в соответствии с ролью, которую мы приняли и которую

<sup>1</sup> Дж. Тернер считает, что интеракционизм Дж.Г. Мида «был дополнен Зиммелем и Джемсом через работы Роберта Парка» [31, 319].

общество нам навязало, мы оказываемся в постоянном конфликте с самими собой. Вместо того чтобы вести себя просто и естественно, как ребенок, следуя каждому природному импульсу, мы стремимся приспособляться к общепринятым моделям и воспринимать себя соответственно с тем или иным социально принятым образцом. Пытаясь быть конформными, мы сдерживаем наши непосредственные импульсы и действуем не так, как склонны действовать, но как это представляется согласным со случаем и обстоятельствами» [16, 20]. Этот фрагмент, описывающий механизм аккомодации, или принятия индивидом роли, основывается во многом на интеракционизме Кули и понятии «определения ситуации» Томаса. Особенность же трактовки Парком этого процесса заключается в том, чтобы показать «естественность» его происхождения, независимую от ментальности и целеполагания индивидов, т. е. связать его с экологическим порядком. Поэтому основой разнообразия, тесноты социальных связей, консенсуса и аккомодации выступает свобода передвижения, а иерархия степеней свободы индивида выстраивается в порядке убывания от экологического порядка к культурному: «индивид более свободен на экономическом уровне, чем на политическом, и на политическом более свободен, чем на моральном» [21, 14]. Соотнесение личной свободы со свободой передвижения представляет в концепции Парка нечто вроде культурно-антропологической экологии (в отличие от социальной экологии на макроуровне). Центральным понятием этой экологии выступает «свобода», которая наряду с «размерами», «сложностью», «скоростью» и «механизмом» является одной из характеристик современного общества. При этом «свобода имеет несколько измерений, соответственно... различным уровням интеграции современного общества». Во-первых, «наиболее фундаментальная свобода — это свобода, необходимая для существования любой формы жизни, превосходящей растительную, свобода передвижения», позволяющая «осваивать и видеть мир»; во-вторых — «свобода конкуренции за место в общей экономике»; в-третьих — свобода конкуренции «за место и статус в социальной иерархии», т. е. политическая свобода; и наконец — «свобода самовыражения», основными ограничителями которой являются традиции и моральные нормы [19, 331]. Таким образом, в основе всего многообразия свободного проявления личности полагается освобождение от локалистских традиций: «До тех пор, пока человек привязан к земле... пока ностальгия и обыденная тоска по дому владеет им и возвращает его к хорошо знакомым местам, он никогда вполне не осознает другого характерного для человека стремления — передвигаться свободно и беспрепятственно по поверхности всего мирского и жить, подобно чистому духу, в своем сознании и воображении» [26, 156]. В этом смысле даже разум можно воспринимать как «процесс, посредством которого определяется направление будущего движения, локализация в воображении искомой цели» [26, 156]. В соответствии с этим представлением о личной свободе наиболее свободный тип личности — маргинальный человек, не отождествляющий себя полностью ни с одним порядком традиций и моральных норм, ни с одной культурой. Предпринятые Парком в 1929–1933 гг. путешествия по Азии (он объехал Японию, Китай, Индию, Филиппины, Яву, Гавайские острова) и Южной Африке пополнили его теоретические выводы относительно процессов взаимодействия культур



и ассимиляции новым социологическим материалом. В развитии современной цивилизации Парк особенно выделяет общий процесс выхода рас и народов из различного рода изоляции: геополитической, экономической, культурной. Результатом этого глобального этносоциального процесса на индивидуальном уровне является формирование характерного для развития современной цивилизации типа личности — маргинальной [15; 18; 20]. Как и всякий социальный факт, «маргинальная личность» — это продукт естественного культурного процесса, интенсифицирующегося взаимодействия культур: «Маргинальный человек — это тип личности, который появляется в то время и в том месте, где из конфликта рас и культур начинают появляться новые сообщества, народы, культуры. Судьба обрекает этих людей на существование в двух мирах одновременно, вынуждает их принять в отношении обоих миров роль космополита и чужака. Такой человек неизбежно становится (в сравнении с непосредственно окружающей его культурной средой) индивидом с более широким горизонтом, более утонченным интеллектом, более независимыми и рациональными взглядами. Маргинальный человек всегда более цивилизованное существо»<sup>1</sup> [18, XVIII]. В понятии «маргинальной личности» находит свое конкретное, индивидуальное и «естественное» воплощение процесс социального изменения. Если общество представляет собой совокупность нравов, обычаев, «согласия», то социальные изменения связаны прежде всего с изменением моральных норм, индивидуальных установок. «Изменения установок индивидов в сообществе являются своего рода барометром, указывающим на изменения, которые могут в настоящем произойти в институтах и привычках» [17, 290]. Социальный реформизм, таким образом, представляется скорее делом культурной антропологии, нежели социологии, поскольку связан с эволюционным преобразованием человеческой природы и индивидуальных установок, а затем уже и социальных институтов. «Общество и существующий моральный порядок, — читаем у Парка, — настолько прочно установлены в традиции, обычае и личных свойствах индивидов, что они не могут быть внезапно, директивным или законодательным образом отменены... Большинство наших социальных институтов были, вполне определенно, не спланированы, но созданы непрерывными сериями реформ и преобразований» [22, 45].

Вернувшись из Азии в 1933 г., Парк оставил Чикагский университет: между 1934 и 1944 гг. он преподает в университетах Чикаго, Мичигана, Фиск, в Гарвардской воскресной школе, в молодежном центре Чикаго, не связывая себя постоянным курсом лекций ни с одним из университетов. В 1936 г. Парк переехал в Нэшвилл (Теннесси), где и жил до последнего дня — 7 февраля 1944 г.

Оценивая теоретическое наследие Парка в целом, можно сказать, что эволюционно-реформистский подход к социальному изменению, представленный в социальной экологии, определил ее широкую теоретическую ориентацию, стремление соединить социальный атомизм, интеракционизм и эволюционизм; холизм и индивидуализм; эмпиризм (социальное измене-

<sup>1</sup> Нетрудно заметить сходство и преемственность в описании Парком «маргинальной личности» с рассуждениями Зиммеля о «чужаке».

ние как проблема социализации отдельного индивида) и попытки определить направление глобального развития современной цивилизации. Р. Тернер считает, что, разрабатывая понятие «социального порядка как модели, сохраняющейся благодаря аккомодации... необходимой для продолжения коллективной жизни в условиях конкуренции и конфликта», Парк намного опережал свое время. «Но социологи были не готовы конструктивно использовать такой подход, поэтому его последователи на протяжении двадцати лет повторяли в своих вводных курсах дежурную последовательность „конкуренция, конфликт, аккомодация и ассимиляция“, не идя дальше таксономии и иллюстраций. После Второй мировой войны теория равновесия не находила особой надобности в этих понятиях, и только как реакция на нее у исследователей возник вопрос, почему не было американской теории конфликта, и они обратились к конфликтной модели общества как корректирующей теорию равновесия» [32, XXXII]. Сегодня, как представляется, теория «динамического неравновесия» Парка, ориентированная на всеобъемлющее объяснение социального изменения в нестабильном обществе, приобретает особый интерес и новый смысл.

#### 4. ЭРНСТ БЁРДЖЕСС

*Эрнст Бёрджесс* (1886–1966) известен в американской социологии прежде всего как один из основателей Чикагской школы, автор «зональной гипотезы» в исследованиях города и соавтор знаменитого учебника «Введение в науку социологии».

Бёрджесс родился в 1886 г. в Тилбери (штат Онтарио); он с детства мечтал об академической карьере, духовное поприще его отца, англиканского священника, его не привлекало; он собирался изучать английскую филологию в Мичиганском университете. Однако случилось так, что один из его профессоров рекомендовал Бёрджесса А. Смоллу, и в 1908 г. он был принят на социологический факультет Чикагского университета. Там, под влиянием У. Томаса и Дж. Винсента, Бёрджесс с особым увлечением занимается популярными тогда в Чикаго расовыми и этническими проблемами (по аналогии с «Польским крестьянином» Томаса и Знанецкого он предпринимает исследование русского крестьянина). По окончании университета Бёрджесс несколько лет работал в университете Толидо (штат Иллинойс), университетах Канзасса и Огайо, пока не вернулся обратно, в Чикаго (1916). К этому времени он защитил диссертацию «Функция социализации в социальной эволюции» (стоит отметить, что Бёрджесс принадлежал к первому поколению американских социологов, получивших ученую степень в американском университете, а не в Германии).

С этого времени и начинается его почти тридцатилетнее сотрудничество с Р. Парком и пятидесятилетнее служение университету Чикаго. Здесь Бёрджесс принимает самое активное участие в разнообразных начинаниях факультета: он читает курсы по социальной патологии, социальной интерпретации криминологии, социологии семьи, теории личности и, наконец, вводный курс по социологии, разработка которого под руководством Р. Парка завершилась изданием одного из первых и самых фундаментальных к тому времени учебников — «Введение в науку социологии» (1921) [25]. Впрочем, собственно влияние Бёрджесса на теоретические

установки и содержание этого учебника вряд ли можно считать определяющим; здесь ключевую роль, несомненно, играл Р. Парк. Но что касается другого результата — их совместного курса по эмпирическим (полевым) исследованиям, опубликованного впоследствии Вивен Палмер в качестве учебника по методам социологического исследования и ставшего своего рода приложением к основному, теоретическому учебнику, — здесь Бёрджесс был непосредственным руководителем и вдохновителем работы. В качестве основных исследовательских методов в этом учебнике выделены монографическое обследование (case study), исторический метод и статистические методы. В заключительной главе специально рассматриваются методики и техники монографического обследования (наблюдение, интервью, личные документы и социальное картографирование). Именно социальное картографирование более всего занимало Бёрджесса, особенно на начальных этапах исследования, и служило для него одним из основных источников выдвижения гипотез и теоретических новаций.

Социальное картографирование стало основным методом в рамках глобальной исследовательской программы по изучению Чикаго «Город как социальная лаборатория», Бёрджесс принял самое действенное участие в ее разработке и организации, что и послужило началом его исследовательской карьеры. В Чикаго и раньше предпринимались попытки регистрировать, обобщать и объяснять многообразные городские проблемы. Эти попытки известны под названием «движение социальных обследований». Но они уже не могли удовлетворять требованиям ситуации, поскольку сводились в основном, как пишет Бёрджесс, к «описанию и доведению до сведения городской общественности бедствий и переживаний обитателей трущоб, которые не имеют ничего общего с теми стереотипами, которые им приписывают» [33, 7]. В Чикаго эта морализаторская ориентация уступает место реформизму иного толка: позитивистскому и прагматистскому, требующему научных оснований и, следовательно, нуждающемуся в научных исследованиях социальных проблем. «Именно социология, — по мнению Бёрджесса, — подчеркивала значение научного толкования социальных проблем в понятиях „процесса” и его движущих сил... Хотя цели (социологов. — С. Б.) были вполне научными, они все же подкреплялись верой в то, что этот научный анализ поможет рассеять предрассудки и несправедливость и приведет к улучшению жизни обитателей трущоб» [33, 9]. Мнение Бёрджесса относительно роли социолога в процессе социального реформирования было сходным с позицией Р. Парка: исследователь не должен защищать интересы той или другой социальной группы. Его задача состоит в том, чтобы, следуя объективности, сконцентрировать свой исследовательский интерес на самых насущных социальных проблемах сообщества и способствовать их разрешению только путем предоставления объективной информации для тех, кто принимает решения.

Основным источником такой объективной информации и стали социальные карты Чикаго, на составлении которых были сосредоточены усилия Бёрджесса. К этой работе он привлек многих студентов социологического и других факультетов социальных наук. Работы, основанные на материале, собранном в рамках этой исследовательской программы и под руководством Парка и Бёрджесса, стали впоследствии широко известны

в американской социологии. Анализ совокупности карт, собранных по самым разным социальным показателям, какие только можно было отыскать в городе, привел к «определению физического типа города», где корреляции различного рода социальных показателей задают модель и структуру городской социальной среды, охватывающую все многообразие соседских общин. Разработанная Бёрджессом оригинальная теоретическая концепция городского развития основывается на социально-экологическом подходе Р. Парка и представлена в его классической работе «Рост города: введение в исследовательский проект» (1925) [5]. Здесь он впервые на примере Чикаго развил идею концентрических зон. Цель работы состояла в объяснении процесса городского роста в понятиях «расширения», «последовательности», «концентрации», в определении роста как «метаболической дисфункции» развития городского организма; причиной же этой дисфункции выступала пространственная (а затем и социальная) мобильность. В совместной работе Парка, Бёрджесса и Маккензи «Город» (1926) [26] Бёрджесс описывает четыре концентрические зоны, дающие пространственное представление о социальной структуре Чикаго. Концепцию концентрических зон далее конкретизируют результаты районирования Чикаго (на основе социального картографирования): семьдесят пять существенно различающихся «естественных районов», более трехсот соседских общин определяют пространственный тип Чикаго, который до сих пор существенно не изменился (телефонная книга Чикаго по сей день сохраняет классификацию районов и их названия, предложенные Бёрджессом). Ключевой процесс, стимулирующий городской рост и изменение городской среды, — миграция (мобильность семей, индивидов, институтов); пространственная мобильность зачастую выступает как показатель и ускоритель мобильности социальной. Подвижность границ — как пространственных, так и социальных — в структуре города, миграция, динамика городских процессов в целом составляют содержание концепции концентрических зон. Развитие этой динамики от центра к периферии с последовательным наложением и вытеснением зон носит, по Бёрджессу, циклический, «волновой», характер; описание цикличности (социальная организация города — социальная дезорганизация — социальная реорганизация) вполне соответствует методологическим установкам описания социальных процессов, принятым в чикагской школе. В развитии цикла экологический аспект, пространственная мобильность, обуславливает все остальные аспекты: любые достижения в исследовании города будут зависеть от того, в какой степени осмыслена экологическая концептуальная система и насколько выявлены реально существующие районы города [4].

Если в социальной организации городской среды определяющее значение имеет экологический порядок, то в процессе социальной дезорганизации основное внимание уделяется девиантному поведению. Реформистская ориентация чикагских социологов (и Бёрджесса в их числе) ставила перед ними сверхзадачу налаживания социального контроля, регуляции взаимодействия различных городских сообществ, адаптации и социализации «культурно неразвитого материала», мигрантов, в духе американских идеалов, словом — создания эффективных средств социального контроля. Самым явным и болезненным проявлением дезорганизации был рост преступности среди молодежи, особенно среди мигрантов.

Поэтому, наверное, самыми первыми социальными картами Чикаго, созданными Бёрджессом, и были карты распределения подростковой преступности. Бёрджесс занимался организацией исследований этой проблемы в Институте по изучению молодежи, где он создал социологическую секцию и привлек к этой работе многих своих студентов, работы которых стали заметным вкладом в создание специальной дисциплины — социологической криминологии. Среди работ Бёрджесса в этой области наиболее известно исследование по прогнозированию вероятности нарушения поручительства в зависимости от личностных характеристик преступника (совместно с Дж. Ландеско и К. Тиббитсом). В целом для исследований преступности, проводимых Бёрджессом и его учениками, характерно акцентирование личностных и социально-психологических факторов дезорганизации с тем, чтобы определить возможности «реорганизации» или «реабилитации» на личностном уровне.

Этот же интерес к социально значимым личностным характеристикам присутствует и в его работах, посвященных изучению семейных и брачных отношений. Хотя первые исследования семьи проводились Бёрджессом в рамках социальной экологии города (изучались влияние этнических различий в соседских общинах на семейно-брачные отношения, а также социальные дистанции между партнерами), впоследствии его все больше интересуют межличностные взаимоотношения супругов, распределение ролей в семье, психологическая совместимость супругов, отношения детей и родителей, социализирующая роль семьи вообще; исследования семьи пополнились еще одним любопытным материалом, когда Бёрджесс, изучив русский язык, посетил в 1926 г. СССР и попытался определить «влияние коммунистической философии на традиционную форму русской семьи». Основные работы Бёрджесса по социологии семьи, написанные в соавторстве с его учениками, — «Предсказание удачного или неудачного брака» (1939, с Л. Котреллом), «Семья» (1945, с Дж. Локком), «Ухаживание и брак» (1953, с П. Уолином) — основаны, как правило, на представлении о семье как о «единстве взаимодействующих личностей». Это единство отражает как состояние социальной организации общества в целом, так и степень социальной дезорганизации, и, следовательно, является отправным пунктом реорганизации общества. Нестабильность семейных отношений, несоответствие образцов семейного поведения принятым в обществе нормам и ценностям свидетельствуют о процессе качественного социального изменения; стабилизация внешних и внутренних функций семьи связывается Бёрджессом с окончанием процесса социального изменения и социальной дезорганизации. Еще одна особенность работ Бёрджесса о семье (помимо интеракционистской ориентации) — склонность к психоанализу: Бёрджесс был одним из первых американских социологов, обративших внимание на возможности использования фрейдистской методологии в социологических исследованиях. В «Семье» он совмещает психоаналитический подход с психологическим функционализмом У. Томаса: отмечая функциональное значение внутренних импульсов в мотивации поведения, Бёрджесс классифицирует их в соответствии со схемой «четырёх желаний», однако в самом поведенческом акте роль желаний, результаты их функционирования он описывает с помощью фрейдистских понятий «сублимации», «доминирования» и «разочарования».

Оценивая теоретическое наследие Бёрджесса в целом, следует отметить прежде всего характерную для чикагского стиля вообще теоретическую комбинацию натурализма (иногда физикализма и органицизма) на макроуровне и психологизма (интеракционизма) на микроуровне; стремление объяснить общую эволюцию социального организма как процесс постоянной адаптации к среде (физической, социальной, культурной), выделяя в этом процессе эмпирически наблюдаемые «атомарные», межличностные взаимодействия. Коллега Бёрджесса Д. Бог, подчеркивающий интеракционистский аспект его социально-экологической концепции, считает его «в большей мере социальным психологом», нежели социологом: «Он смотрел на социальный лес, а видел социальные деревья» [33, IV]. Действительно, этот аспект присутствует во всех работах Бёрджесса: 1) в исследованиях города мобильность, пространственная и социальная, как ключевой процесс в объяснении развития города интерпретируется прежде всего с точки зрения интенсификации межличностных контактов; 2) в социологической криминологии исходными «социальными фактами» для Бёрджесса являются присущие всем людям желания и представления о собственном месте в коллективной жизни, преступник для него — это прежде всего личность, наделенная этими желаниями; 3) семья анализируется прежде всего как ситуация межличностного взаимодействия. При этом исследовательская методология Бёрджесса также стремится соединить натуралистическую и интеракционистскую ориентации.

Отдавая приоритет «качественным», неформализованным методам, которые после «Польского крестьянина в Европе и Америке» стали общим пристрастием чикагских социологов, Бёрджесс проявлял самый непосредственный интерес и к статистическим методам: он был одним из первых исследователей, применивших факторный анализ к изучению семейных отношений, он же был и среди первых социологов в Чикаго, использовавших компьютер для обработки данных. Методологическая разносторонность и восприимчивость Бёрджесса, безусловно, связана с ориентацией на эмпирические обоснования общих концептуальных схем, с тематическим многообразием его работ и реформистской ориентацией его научных установок в целом.

Это стремление к всестороннему изучению предмета отражало, вероятно, нечто большее, чем особенность научного мышления; оно было его умонастроением, складом характера, образом жизни. Чувство меры, терпимость и восприимчивость к неординарным явлениям позволяли Бёрджессу устанавливать контакты с самыми разными людьми, сотрудничать в самых различных организациях и комитетах (так, например, его знакомство с людьми сомнительного поведения дало повод к обвинениям в неблагодетельности; на публичном слушании этого дела в Комитете конгресса Бёрджесс заставил своих оппонентов отказаться от обвинения). Помимо активной общественной деятельности Бёрджесса, следует также отметить, что он в течение десяти лет был секретарем Американской социологической ассоциации (1920–1930), затем — ее президентом (1934), главным редактором «*American Journal of Sociology*» (1936–1940). При активном участии Бёрджесса были также основаны Геронтологическое общество, Общество по изучению социальных проблем, Национальный совет по семейным отношениям, Центр по изучению семьи и сообществ (в Чикаго) и др.

Бёрджесс умер в Чикаго в 1966 г., завещав задолго до смерти свое имущество и состояние Чикагскому университету с тем, чтобы там был основан фонд Бёрджесса для помощи студентам и для развития социологических исследований.

## 5. ИНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМ

Инвайронментализм представляет собой прежде всего общетеоретическую и мировоззренческую ориентацию, в центре внимания которой взаимодействие социальных образований со средой их обитания. Эта ориентация проявляется в различных сферах теоретизирования (помимо социологии, в философии, политэкономии, праве, этике, эстетике и т. д.). Кроме того, инвайронментализм — это движение за качество среды обитания. Социальная экология — специальная теория, сосредоточенная на изучении закономерностей и форм взаимодействия общества со средой обитания, многообразия связей социальных изменений с изменениями в жизнеобеспечивающих материальных предпосылках социальных процессов. «Инвайронментальная социология» — одна из дисциплин, использующих социально-экологический подход и ограничивающих его рамки взаимодействия локального сообщества с окружающей его средой. Обусловленная тем самым фрагментарность в понимании универсальных связей естественно-социального континуума, социальной системы и экосистемы, инвайронментальная социология описывает механизмы их оптимизации на локальном уровне.

Наиболее полное концептуальное развитие инвайронментализм получил в американской социологии. История развития социально-экологической идеи в американской социологии во многом связана с европейскими традициями социал-дарвинизма, географической школы, эволюционизма, натурализма в целом; адаптация этих идей в американской социологической теории проходила под влиянием Спенсера, Дюркгейма, Зиммеля, Тённиса и других европейских социологов. Однако установления теоретических параллелей еще недостаточно для понимания специфики американской социально-экологической традиции, позволившей ей стать одним из самых значительных направлений в теоретико-методологическом арсенале американской социологии и сохранить это значение до сего дня.

Характерной особенностью американской истории в плане взаимодействия социума с его жизнеобеспечивающей средой было освоение свободных земель, наличие открытой границы. Эта особенность фактически дает представление о роли природного изобилия в американской истории.

Тесная связь социальных и естественных факторов, оптимизм в отношении возможностей развития этих связей, столкнувшийся с пределами экспансии, принимающей природное изобилие в качестве само собой разумеющейся предпосылки социального развития, особенно обострили социальные последствия стабилизации естественных границ и наступления «экологического кризиса». Этот первый американский «экологический кризис» обусловил переход от аграрного к технологическому росту и урбанизации, отличающимся той же экстенсивной динамикой, поскольку характерной чертой границы как своеобразного американского институ-

та является, по Ф. Тернеру, то, что «ее надо продвигать» [30]; продвижение в изменившихся условиях предопределило качественное переосмысление понятия *фронтиса* — переход от экстенсивного к интенсивному использованию среды, от ее в основном пространственных характеристик к субстратным. Неизменным признаком взаимодействия американского общества со средой остается стремление к изобилию, которое лежит в основе демократии.

В условиях перехода от экстенсивного к интенсивному природопользованию в середине XIX в. сформировались четыре основные социально-реформистские ориентации в решении проблемы взаимодействия общества и природной среды: консервационизм, охранительная концепция, экологизм и экономизм. Последняя ориентация отличалась оптимизмом в отношении естественного, стихийного разрешения экологических затруднений, антиреформизмом. Природа, с этой точки зрения, существует для частного интереса и индивидуальной инициативы. Сторонники консервационизма (Б. Фернау, Дж. Пиншо и другие) представляли так называемое утилитаристское крыло инвайронментализма, считающее, что реорганизация общественных институтов должна быть направлена на рациональное и продуктивное природопользование, обеспечение экономического роста и эгалитарного распределения природных благ. В целом консервационизм занимался разработкой технологии управления природопользованием. В противоположность консервационизму («техноцентризму») охранительное движение («биоцентризм») выступало за сохранение дикой природы, которая, с его точки зрения, обладает ценностью независимо от возможностей ее использования. Для биоцентризма («Сьерра Клуб», Дж. Мьюир, Дж. Катлин, Дж. Одюбон, Ф. Паркмен, Э. Эванс и другие), основывающегося на романтических представлениях о природе, заимствованных у «новоанглийского трансцендентализма» (Р.У. Эмерсон, Г. Торо), характерно соотношение общества с природой как с наиболее совершенным и наделенным духовными качествами сущим. Биоцентристы определяют инвайронментализм как способ (состояние) бытия и определенный тип поведения; по их мнению, охрана и рациональное природопользование выступают лишь как внешние проявления более глубоких мотивов и ценностных ориентаций. Экологи, наиболее близкие к академическим кругам, строят свою модель взаимодействия общества с природой на объективных, естественно-научных закономерностях. Включая во взаимозависимые связи экосистемы и человеческие сообщества, они видят назначение социальной системы в том, чтобы обеспечить оптимальное функционирование экосистемы и предотвращать нарушения экологических процессов. Представители этого направления предложили социально-экологические идеи, которые до сих пор сохранили значение для инвайронментального теоретизирования: идеи экосистемного холизма.

Идея «экосистемного холизма» выражена О. Леопольдом: «Разумно то, что стремится к сохранению целостности, стабильности, совершенства биологического сообщества. Неразумно все то, что стремится к обратному» [10, 58]. Здесь подчеркивается эмерджентность свойств экосистемы, тем более увеличивающаяся с включением в нее «человеческих» (социальных) систем, непознаваемый до конца витализм экосистемы, ситуативность, непредсказуемость взаимодействия социальных и биологических



организаций и его результатов. Отсюда следует непреходящее значение «кульминационного» состояния экосистемы, состояния динамического равновесия как наиболее оптимального результата эволюционного развития, нарушение которого может иметь следствием лишь деградацию экосистемы (Ф. Клементс распространил понятие «кульминационного» состояния и на социальные системы).

Несмотря на опосредованность и статичность обосновываемого ими холизма, экологисты не пытаются обойти вопрос о возможностях совмещения экосистемного холизма и индивидуализма — права как отдельного индивида, так и сообщества на поступательное, творческое, индивидуальное развитие. Этот процесс разрешается в концепции «морального сообщества» — это своеобразное встречное холизму течение: если принцип холизма распространяет закономерности развития экосистемы на социум, то понятие «морального сообщества» расширяет сферу действия норм морали (а вслед за ними и других социальных институтов) на «не-человеческие» элементы всеобъемлющей экосистемы. Возможность соединения встречных потоков основывается на смешении экологистами понятий «симбиоз» и «образец поведения», на предположении об их функциональной равноценности. В результате этика представляется и «ограничением свободы действия в борьбе за существование... и критерием отличия социального и антисоциального поведения» [10, 208]. Экологически оправданное социальное поведение представляет собой самоограничение — принятие целостности и стабильности экосистемы в качестве социальной ценности (и ограничение себе подобного, ориентированного на этот тип поведения).

Это право на индивидуализм основывается на человеческой способности реагировать на изменения среды способом, «который не обязательно удовлетворяет непосредственный индивидуальный интерес, но способствует сохранению целостности, стабильности и т. д. биотического сообщества», даже если эта способность и не используется в должной мере.

Этот биотический функционализм, дополненный изменением роли (но не функции) человека в биотическом «моральном сообществе», во многом способствовал не развитию редуccionистской экологии суперорганизма (тотальной экосистемы, поглощающей специфику социального), но перемене индивидуалистического акцента на природу «морального сообщества»: редуccionизм, как и холизм, стал опосредованным, функциональным редуccionизмом; моральные нормы (и социальные институты, ими интегрируемые) интерпретировались как функциональные двойники естественных (биологических) инстинктов, позволяющих сохранить целостность и гармонию экосистемы [12].

Социальные концепции экологистов, не являясь собственно экологическими, определяли общетеоретический, содержательный контекст, соединявший идеи социального атомизма с эволюционным характером социальных изменений. Это соединение опиралось на социальный реформизм, устанавливающий, благодаря модификации моральных норм и коммуникации социальных атомов, динамическое равновесие и социальный консенсус в новом «моральном сообществе».

Развитие инвайронментальных идей собственно в социологии связано прежде всего с «классической» социально-экологической концепцией

чикагской школы. Основой этой концепции послужило представление об обществе как об организме, о «глубоко биологическом феномене», обладающем помимо социального (культурного) уровня биотическим, который лежит в основе всего социального развития и в конечном счете определяет тип общественной организации.

Методологической же основой социально-экологических исследований послужили идеи инструментализма Дж. Дьюи, сочетавшего эволюционистски-натуралистический гуманизм с индивидуализмом и социал-реформистским активизмом. Фокусом этой комбинации, представляющей основополагающую ценность для социально-экологической ориентации, стало положение об эволюционном становлении социальной (психической, интеллектуальной, моральной) природы человека на определенной стадии развития органической жизни в зависимости от характера и результатов ее взаимодействия с окружающей средой. Результатом этой эволюции у Дьюи выступала весьма расплывчато определяемая «природа человека», соединяющая в себе биологическое и социальное начала на основе их функционального тождества.

Выступая против иррационального утверждения абсолютных начал, Дьюи подчеркивал возможность и необходимость их изучения в качестве объектов исследования и эксперимента с целью установления их социальной и моральной ценности.

«Разумное признание непрерывности природы, человека и общества... обеспечит совершенствование морали... установив единство морали и человеческой природы и единство обеих с окружающей средой» [8, 112–113]. Осознание этого единства является для Дьюи условием свободы, целеполагания и ответственности, отказа от сверхъестественного начала и реализации всех способностей, заложенных в человеческой природе. В этом заключается основная задача философии как экспериментального метода моральной и политической реформы, направленной на исследование ситуации, конструирование опыта и преобразование «человеческой природы».

Натурализм Дьюи, объединяющий движущие силы социально-экологического процесса (взаимодействие социальной среды с природной) в единой и неделимой «природе человека», его функциональный психологизм, обосновывающий биоадаптивную трансформацию индивидуальных ситуаций, отчасти социальный «номинализм» и особенно дух социального реформизма, «сосредоточивающего внимание на этической и социальной проблематике больше, однако, ради целей социального контроля, нежели для того, чтобы прояснить в исследовании природу общественного процесса или развить более необходимую методологию социальных наук» [2, 329], определили роль Дьюи в развитии социально-экологической концепции чикагской школы социологии.

Процесс социальной эволюции от биотического к культурному уровню направляется конкуренцией — движущей силой этого процесса, принимающей различные формы в ходе эволюции и достигающей на культурном уровне оптимума — «соревновательной кооперации» [14].

Процесс социального изменения оказывается разделенным на ряд последовательных фаз, каждая из которых — результат предшествующих и воплощение определенной формы конкуренции и вместе с тем определенной формы социации, исследуемой соответствующей дисциплиной.

Р. Парк выделяет четыре фазы в процессе эволюции от биотического уровня к социальному — экологический порядок, экономический, политический и культурный порядки — и четыре формы конкуренции — борьба за выживание на биотическом уровне, конфликт, адаптация и ассимиляция — в качестве характерных форм социации на каждой стадии эволюции.

Согласие, институционализированное в традиции, моральном законе, привычках и т. п., принимает характер контроля за естественными проявлениями конкуренции. Сублимирование форм конкуренции происходит прежде всего в коммуникации индивидов и зависит от специфической природы взаимодействующих индивидов, т. е. способность к коммуникации признается, в конечном счете, врожденной.

Перенос натуралистических эволюционистских представлений с макроуровня на эволюцию индивида сохраняет принцип натурализма, представляя социальные чувства как результат сублимации естественных качеств. «Социальные силы» интересуют Р. Парка не в качестве специфического психологического аспекта социального атома, но как сублимированная форма естественной силы — конкуренции. Тем самым Парк подчеркивает основополагающее значение естественной человеческой природы в процессе коллективного поведения.

Развитие и социализация «человеческой природы» происходят в том же континууме между биотическим и социальными уровнями. На макроуровне несублимированным проявлением биотической конкуренции выступает экологическая (пространственная) организация населения и институтов. Носителями экологического качества социума являются обладающие той же структурой биотического и социального уровней «социальные атомы», наделенные «человеческой природой»; обусловленная их биотической природой «конкурентоспособность» проявляется прежде всего в их физическом, пространственном взаимодействии, в миграции. Именно в передвижении, по Р. Парку, развивается тот особый тип организации, который называется «социальным».

Социальный организм состоит прежде всего из индивидов, способных к передвижению [25]. Миграция как коллективное поведение обладающих биотической природой индивидов образует экологическую структуру на макроуровне, которая и является предметом исследования социальной экологии. Надстраиваемая на этом основании иерархия — экономический, политический, социальный и, наконец, культурный (моральный) порядок — изучается соответственно экономикой, социологией и антропологией. На высших уровнях иерархии конкуренция не устраняется, но контролируется («Общество — везде организация контроля»).

В итоге основой разнообразия, тесноты социальных связей, консенсуса, социальной аккомодации является свобода передвижения, а иерархия степеней свободы индивида выстраивается в порядке убывания от экологического порядка к культурному: «индивиды более свободны на экологическом уровне, чем на политическом, и на политическом, чем на моральном» [14, 14].

Соотнесение личной свободы со свободой передвижения как с изначальным (биотическим) и основополагающим фактором представляет в концепции Парка нечто вроде культурно-антропологической экологии

(в отличие от социальной экологии на макроуровне). Центральным понятием этой экологии выступает «свобода», которая наряду с «размерами», «сложностью», «скоростью» и «механизмом» является одной из характеристик современного общества. При этом «свобода» имеет несколько измерений соответственно... различным уровням интеграции современного общества. Во-первых, наиболее фундаментальная свобода, необходимая для существования любой формы жизни, превосходящей растительную, — «свобода передвижения», позволяющая «осваивать и видеть мир»; во-вторых — «свобода конкуренции за место и статус в социальной иерархии», т. е. политическая свобода, и наконец, «свобода самовыражения», основным ограничителем которой являются традиции и моральные нормы.

Таким образом, в основе всего многообразия свободного проявления личности полагается освобождение от локалистских традиций.

Социальный реформизм, таким образом, представляется скорее делом культурной антропологии, нежели социологии, поскольку связан с эволюционным преобразованием человеческой природы и индивидуальных установок, а затем уже и социальных институтов; эволюционность же развития продиктована биотическим основанием этого процесса. «Общество и существующий моральный порядок, — читаем у Парка, — настолько прочно установлены в традициях, обычае и личных привычках индивидов, что они не могут быть внезапно директивным или законодательным образом отменены... Большинство наших социальных институтов были, вполне определенно, не спланированы, но созданы непрерывными сериями реформ и преобразований». В соответствии с эволюционным реформизмом Р. Парка «свободные общества... растут; они не планируются» [23, 738–749].

Эволюционно-реформистский подход Р. Парка к теории социального изменения (социально-экологической теории) определил широкую теоретическую ориентацию, стремящуюся соединить «социальный атомизм», интеракционизм и эволюционизм, а также холизм и индивидуализм; представить социальное изменение как серию проблем, стоящих перед отдельными «актерами» (эмпиризм). Однако такой подход обусловил двойственность эпистемологии социально-экологической теории. Здесь Парк, как и Дьюи, пытается объединить эпистемологические полюса «номинализма» и «реализма».

Последователи чикагской школы предпринимали попытки переосмысления социально-экологической теории в направлении «социологизации» и преодоления биосоциального дуализма ее концепции (А. Вирт, Р. Маккензи). В функционалистском варианте (1940–1950-е гг.) «сообщество» понималось уже не как «организм» и носитель субсоциальных сил, а как функциональная единица, способная к взаимодействию со средой. Социальный атомизм «классической» концепции был заменен «организационным» функционализмом (А. Холи, концепция «экологического комплекса») [9].

Середину 1970-х гг. можно считать началом нового этапа в развитии инвайронментальной социологии. Социально-экологические идеи были восприняты различными социальными дисциплинами, что способствовало развитию междисциплинарных исследований по экологической проблематике; происходила заметная «экологизация» традиционных идеоло-

гических доктрин («экомарксизм», «экофеминизм», «экофашизм» и пр.). В последние десятилетия XX столетия инвайронментализм перерастает узкие научные и национальные рамки, становится обоснованием глобальной переоценки ценностей, формирования нового мировоззрения, новых целей и приоритетов научного творчества, новым типом рациональности. «Новая инвайронментальная парадигма» в социологии (У. Каттон, Р. Данлап и другие) [6] отрицает так называемый социологический герметизм, антропоцентризм в изучении общества, необходимость «экспоненциального экономического роста» и возможность непрерывного социального и культурного развития. Авторы «новой парадигмы» считают несостоятельными все предшествующие социологические теории объяснения социально-экологических противоречий общественного развития, пытаются восстановить в социологической теории принцип гармонии взаимодействия природной и социальной среды.

В целом современная инвайронментальная социология ставит следующие задачи: создать основу для синтеза предшествующих традиций в социологической теории; объяснить на этой основе «новую социальную реальность», путь к которой заключается в экологическом кризисе; дать направление радикальному преобразованию системы ценностей современного общества и предложить соответствующие этой системе новые образцы экологически оправданного поведения. К особенностям инвайронментализма можно отнести тесную связь с решением практических (локальных) задач; глобальную гуманистическую направленность, сближающую инвайронментальную парадигму с другими «альтернативными» движениями; попытки преодолеть социологический «герметизм», наладить междисциплинарные контакты, не повторяя при этом редуционистских ошибок в социологической теории. Хотя на современном этапе развития «новой парадигмы», который ее авторы считают начальным, ей не удалось осуществить задачи «синтеза» и переориентации социологической теории, выдвигаемая ею на первый план проблематика привлекает внимание все большего числа специалистов.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Беккер Г.Б., Бесков А. Современная социологическая теория. М., 1961.
2. Козн М.Р. Американская мысль. М., 1958.
3. *Bulmer M.* The Chicago school of sociology: Institutionalization, diversity and the rise of sociological research. Chicago, 1984.
4. *Burgess E.W.* The function of socialization in social evolution. Chicago, 1916.
5. *Burgess E.W.* The growth of the city: an introduction to a research project. Chicago, 1925.
6. *Catton W.R., Dunlap R.E.* Environmental sociology: A new paradigm // *American Sociologist.* 1978. Vol. 13. № 1. P. 41–49.
7. *Coser L.* Chicago Sociology // *The Blackwell dictionary of Twentieth-Century social thought* / Ed. by W. Outhwaite & T. Bottomore. Oxford, 1993. P. 69–70.
8. *Dewey J.* Human nature and conduct. N.Y., 1922.
9. *Hawley A.* Human ecology: A theory of community structure. N.Y., 1955.
10. *Leopold A.A.* Sand county almanach and sketches here and there. N.Y., 1949.
11. *Lewis J.E., Smith R.L.* American sociology and pragmatism: Mead, Chicago school and symbolic interactionism. Chicago, 1980.

12. *Molin J.M.* Aldo Leopold and the moral community // *Environmental Ethics*. 1986. Vol. 8. № 2. P. 99–120.
13. *Obershall A.* The institutionalization of American sociology // *The establishment of empirical sociology* / Ed. by A. Obershall. N.Y., 1972.
14. *Park R.E.* Human ecology // *American Journal of Sociology*. 1936. Vol. 42. № 1. P. 1–15.
15. *Park R.E.* Human migration and the marginal man // *American journal of sociology*. Vol. 33. 1928. P. 881–893.
16. *Park R.E.* Human nature and collective behavior // *Society*. P. 13–21.
17. *Park R.E.* Human nature, attitudes and the mores // *Society*. P. 267–292.
18. *Park R.E.* Introduction // E.V. Stonequist. *The marginal man*. N.Y., 1937. P. XIII–XVIII.
19. *Park R.E.* Modern society // *Society*. P. 322–341.
20. *Park R.E.* Personality and the cultural conflict // *The collected papers of Robert Ezra Park* / ed. by E.C. Hughes et al. Glencoe (Ill.), 1950–1955. Vol. I (Race and culture), 1950.
21. *Park R.E.* Physics and society // *The collected papers of Robert Ezra Park* / ed. by Everett C. Hughes et al. Glencoe (Ill.), 1950–1955. Vol. I. (Race and culture), 1950; vol. II (Human communities: The city and human ecology), 1952; vol. III (Society: collective behavior, news and opinion, sociology and the modern society), 1955.
22. *Park R.E.* Social planning and human nature // *Society*. P. 38–49.
23. *Park R.E.* Society: collective behavior, news and opinion, sociology and modern society. Glencoe (Ill.), 1955.
24. *Park R.E.* The concept of social distance as applied to the study of racial attitudes and racial relations // *Journal of applied sociology*. 1924. Vol. 9. P. 339–344.
25. *Park R.E.*, *Burgess E.W.* Introduction to the science of sociology. Chicago, 1924.
26. *Park R.E.*, *Burgess E.W.*, *McKenzie R.D.* The city. Chicago, 1926.
27. *Park R.E.* Racial assimilation in secondary groups with particular reference to the Negro // *American journal of sociology*. 1914. Vol. 19. March. P. 606–623.
28. *Rausbenbuch W.* Robert E. Park: Biography of a sociologist. Durham, 1979.
29. Robert E. Park on social control and collective behavior: selected papers / Ed. by R.H. Turner. Chicago, 1967.
30. *Turner F.J.* The frontier in American history. N.Y., 1920. P. 375.
31. *Turner J.H.* The structure of sociological theory. Chicago, 1986.
32. *Turner R.H.* Introduction // Robert E. Park on social control and collective behavior: selected papers / Ed. by R.H. Turner. Chicago, 1967.
33. *Urban sociology* / Ed. by E.W. Burgess, D. Bogue. Chicago, 1967.

## ТЕХНОКРАТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Соединенные Штаты Америки 1920-х гг. — лидирующая страна мира в индустриальной сфере. В развитии социологии этого времени также заметно движение американской социологии к положению лидера. Это выразилось не только в стремительном по сравнению с европейскими странами процессе профессионализации этой науки, развитии прикладных отраслей, но и в появлении «малых» теорий социально-политического, социально-экономического характера, отражающих одновременно внутреннюю дифференциацию социологического знания и реальные изменения социума в эпоху развитой механизированной индустрии.

### 1. КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНОКРАТИИ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ИНДУСТРИИ (Т. ВЕБЛЕН)

Одной из таких теорий стала технократическая, создателем которой считается американский ученый *Торстейн Веблен* (1857–1929). Эта теория, появившаяся в журнальном варианте в 1919 г., а отдельным изданием под названием «Инженеры и система цен» — в 1921 г. [21], является логическим продолжением традиций социальной мысли XIX в. В первую очередь она согласуется с устремлением молодой социологической науки к либеральному реформизму и амелиоризму. Социальная критика и проекты Веблена также имеют своей исходной и конечной заботой повышение материального уровня жизни всего населения и усовершенствование управления производством и обществом. Технократическая теория появилась в русле социального эволюционизма и понимания современной цивилизации как индустриальной. Согласно этой традиции развитие общества представляется как поступательное, прогрессивное, идущее от низшей ступени к высшей. Только развитие индустриального способа производства, начавшееся в XIX в., дало реальные возможности производить то, что нужно, и в нужном количестве, чтобы обеспечить не просто прожиточный минимум всем членам общества, но и сознательно повышать всеобщее благосостояние. В теории Веблена индустриальное производство — основной социальный институт, определяющий развитие конкретной страны. В этом пункте сказывается близость к еще одной традиции социальной мысли, а именно к марксистской в части ее представлений об экономическом детерминизме.

Вебленовская теория продолжила уточнение понимания социальной эволюции в указанном варианте. Индустриальная система имеет, по его мнению, неограниченные возможности повышения производительности труда и выпуска продукции, потому что это механизированная система.

*Механизированная* означает оснащенная техникой, соответствующим оборудованием система производства. Более чем столетний исторический опыт индустриального развития убеждает, что успехи этой системы, включая ее постепенное расширение и новаторские скачки, в наибольшей степени зависят от совершенствования техники. *Техника* предстает здесь как *необходимая материальная основа любого современного общества* [21, 99]. Веблен специально не останавливается на этом вопросе в связи с его очевидностью, однако в его рассуждениях присутствует оптимистическое представление о неисчерпаемых ресурсах совершенствования техники, когда последовательно каждое поколение технического оборудования одновременно готовит и требует появления нового, что открывает все новые возможности для индустрии. В такой форме у Веблена в его теории присутствует идея о саморазвитии техники и идея о ее революционизирующей роли в сфере индустриального производства, а значит, в жизни общества в целом. Эти основные моменты теоретической концепции, имеющей название *технологического детерминизма*, в американской социологии стабилизационного характера, как правило, принимались как безусловная данность или как мифологическое убеждение, не требующее научного анализа и обоснования. Это обстоятельство стало осознаваться сторонниками этого мировоззрения гораздо позже, уже во второй половине XX в. Так, продолжатель вебленовских идей Дж.К. Гэлбрейт писал о том, что вера в научно-технический прогресс не может стать научным положением, но не может также быть отринутой, т. к. впитывается в сознание современного человека буквально с молоком матери [2; 3]. Предметом особого внимания идея о саморазвитии техники стала в антитехницистских концепциях в критической социологии. Но это было позже.

В центре теории Веблена находится более широкое *понимание техники как совокупного знания* (в том числе и материализованного в конкретных машинах и оборудовании), необходимого для индустриального развития. «Техника, или состояние промышленного мастерства, — пишет Веблен, — которая воздействует на механизированную индустрию, является в возвышенном смысле совместным капиталом знания и опыта, имеющих в общем распоряжении у цивилизованных народов» [21, 68]. Воздействие техники на производство настолько важно, что ученый считает необходимым дополнить список факторов производства, известных с XVIII в. — землю, труд и капитал, — четвертым фактором — технологическим знанием. Характерной особенностью этого фактора является его неиндивидуальная природа. Если три первых фактора имели личного носителя — собственника-землевладельца, рабочего, обладателя капитала, то знание «как делать» в терминах собственности можно описать как общечеловеческую собственность, неделимую собственность общества в целом [21, 28]. В таком понимании определяющая роль техники в индустриальном (читай — социальном) порядке означает утверждение в социальных отношениях рационального начала и эволюционное развитие общества на основе прогрессирующей рационализации. Более того, в технократической концепции социального устройства впервые конкретизируется, какая именно рациональность должна быть предпочтительна, какой вид знания наиболее полезен обществу. Это техническая, формальная рациональность, технологическое знание, которые осуществляют



выбор средств и разрабатывают последовательность действий для достижения поставленных целей.

Такая постановка проблемы рационализации социальных процессов и сферы производства служит обоснованием главной идеи технократической теории *об особой, лидирующей роли в индустриальном обществе технических специалистов*, занятых в производстве. По мнению Веблена, специалисты всех родов «занимают все более ответственные позиции в индустриальной системе, растут и умножаются внутри нее, т. к. система не может дольше работать без них» [21, 44]. Такое положение объективно связано с усложнением и укрупнением производства. До рассматриваемого этапа развития индустрии лидирующую роль в производстве играл «предприниматель», «капитан индустрии», о котором говорил еще Сен-Симон. Эти люди в начальный период становления нового индустриального порядка обеспечили его успех и дальнейший рост. Они одновременно выступали в нескольких ролях: основателя фабрики, механика, специалиста по оборудованию, технологии, а также заботились о положительном финансовом завершении производства [21, 32]. Но в начале XX в. предприниматель в большей степени занят обузданием индустриального роста, чем его обеспечением, тем самым он пренебрегает общественными целями роста общественного благосостояния в пользу личной цели получения наибольшей финансовой выгоды. Из «капитанов индустрии» они превратились в «капитанов финансов». Они в большей степени отдаляются от того способа мышления и тех элементов знания, которые ответственны за логику и соответствующие моменты механизированной технологии» [21, 40]. Веблен констатирует, что, несмотря на полную некомпетентность, предприниматели продолжают определять политику производства.

Полное отделение от индустриальной политики технических специалистов, обладающих необходимой компетенцией для этого, чревато, по мысли ученого, самыми пагубными последствиями для индустриальной системы. «Материальное благосостояние общества безоговорочно связано с должной работой этой индустриальной системы и, следовательно, со столь же безоговорочным контролем над ней со стороны инженеров, которые единственно компетентны для этого» [21, 69]. Этот «новый класс», вызванный к жизни потребностями механизированного производства, должен сделать сознательные шаги к уничтожению старого порядка правления финансового интереса, хотя технические специалисты и составляли всего 1 % населения. Для этого Веблен разработал проект перехода к правлению технических специалистов.

*Технократическая теория*, в американском вебленовском варианте, представляла собой в определенном смысле *теорию управления*. Проект Веблена, по сути, был первой научно обоснованной программой управления индустрией в масштабах всей страны, которая дополняла уже существовавшие теории управления на уровне предприятий (Г. Эмерсон) и цехов (Ф. Тейлор). В своей структуре управления национальной индустрией Веблен главную роль отводил самоуправляющему генеральному штабу индустрии как единому центру, в подчинении которого находится огромная сеть местных советов техников. Через эту иерархическую систему предполагалось осуществлять администрирование, подвластное

только диктату технического прогресса. Управление становилось отработанной технологической процедурой, состоящей из серий научных экспертиз ревизионного и распределительного характера, касающихся сырьевых и трудовых ресурсов, оборудования, транспорта, торговли и готовой продукции всех видов. Решения о том, что и где производить, принимаются на основе указанных экспертиз в особом органе — исполнительном совете.

Для установления режима технократии, или, как его называл Веблен, «режима трудового мастерства, управляемого техниками» [21, 163], Вебленом предусматривалась деятельность в двух направлениях: убеждение населения в преимуществах этого режима и удаление бизнесмена-собственника из управления. Второе направление требует более сильных методов, чем пропаганда и реклама. Ведь «абсентеистская собственность — это идол каждого истинного американского сердца» [21, 161]. Убедить людей в том, что для производства более значимы специалисты, нежели собственники, можно лишь чрезвычайными мерами, например, показательным актом снижения эффективности производства или даже остановки производства.

В реальной истории США этому проекту не суждено было сбыться, хотя в годы Великой депрессии единомышленники Веблена делали попытки его реализации и существенно продвинулись в деле организации местных советов техников. Глубокие традиции демократии и уважения к частной собственности в этой сфере не совпадали, однако, с тоталитарной природой технократического устройства социального порядка.

Несмотря на явный мифологический оттенок и самоограничение этого первого теоретического обоснования технократии рамками индустрии, концепция Веблена содержала в себе заявку на политическую власть в виде технологизации политики, причем не столько претензию конкретных инженеров и техников, сколько претензию технической рациональности, носителями которой они являются. Именно она призвана заменить политику частных интересов на научное администрирование, на технологический процесс принятия решений с четкой организацией всех структур со строгими научными процедурами (экспертизами) в интересах развития техники. Предлагаемая Вебленом новая система властных отношений означала введение управления от имени объективно данной человеку техники и средствами техники. Единственно технологичным способом организации такой власти становится единый центр принятия решений и жесткий всеобщий контроль выполнения, любой другой способ отдаляет достижение цели, вносит ненужное разнообразие. Кратчайший путь достижения заветной цели технического прогресса или, что одно и то же для Веблена, всеобщего благоденствия в этой системе власти — это путь подавления природы, отдельного человека, а если нужно, и всего общества. Эти ценности технократии, роднящие ее с тоталитаризмом, постепенно вошли в реальную официальную политику и стали со временем объектом социального протеста и научной критики, особенно в направлении, получившем название «контркультура».

В дальнейшей истории американской социологии идея технократии, выраженная в самом общем виде как идея замены политической власти управлением на основе конкретного знания, устойчиво воспроизводилась,

претерпевая изменения относительно видов знания. Так, вслед за неудачей социального движения американских технократов, которая, как казалось некоторым исследователям [12, 186], исключала эту теорию из научного обихода, идея онаучивания политики возродилась в виде «революции менеджеров» [9]. «Молчаливая революция», согласно сторонникам этой идеи, среди которых в разное время были Дж. Бёрнхем, П. Сорокин, Д. Белл, окончательно разделяет владение собственностью и управление ею. Управление становится делом профессионалов-менеджеров, обладающих знанием, «как управлять», в отличие от технократов, которые знают, «как производить». Позднее тот же Д. Белл в концепции «постиндустриального общества» считал, что технократическое и менеджерское управление должны быть смягчены гуманитарным знанием университетских ученых.

Однако в американской социологии собственно технократические стереотипы, включая и идею об особой роли техники и технических специалистов, оказались чрезвычайно живучи. Новая стабилизационная волна вызвала к возрождению позитивную теорию технократии, причем почти одновременно с попытками «гуманизировать» или радикально избавить человеческое общество от плена технократических иллюзий и их реального пагубного воздействия. В 1967 г. в книге «Новое индустриальное общество» и в 1973 г. в книге «Экономические теории и цели общества» Джон Кеннет Гэлбрейт (1908–2006) изложил концепцию «техноструктуры» эпохи сверхиндустриализма.

## 2. КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНОКРАТИИ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К СВЕРХИНДУСТРИАЛИЗМУ (ДЖ.К. ГЭЛБРЕЙТ)

В концепции Гэлбрейта индустрия, промышленное производство по-прежнему составляет основной социальный институт, который обеспечивает ту же общественную цель, что и у Веблена, — всеобщее благосостояние. При этом, по признанию самого Гэлбрейта, социальная наука не допускает самой постановки вопроса, является ли рост производства благом или нет. В науке принято считать, что производство «по самой природе вещей является благом» [2, 204]. Эта «индустриальная вера», свойственная всему человечеству в XX в., подпитывается наукой и техникой. (За Гэлбрейта можно добавить, что эта вера также непоколебима и в начале XXI в.) Именно постоянное обновление технических средств и технологий, новые рациональные решения производства материальных благ укрепляют в сознании людей «иллюзию полной возможности» достижения благоденствия всех членов общества. Поэтому понятно, что для Гэлбрейта «развитие техники, движение ее внутренним импульсом, служат отправным пунктом всего анализа» [2, 56] при исследовании любых изменений социально-экономического характера. Несмотря на наличие оговорок о том, что техника испытывает обратное воздействие со стороны общества, *Гэлбрейт придерживается идеи технологического детерминизма* об определяющем влиянии техники в ее материальных воплощениях на общество и в первую очередь на экономику, о самозаконности техники и способности ее к саморазвитию, о прогрессивном характере этого развития. Трезво полагая, что эти идеи не имеют под собой научного

обоснования, а представляют собой мифологическое образование человеческого разума, он все же считает невозможным для человечества отказать от идеи технического прогресса, «которую нас учат приветствовать с самого начала нашей сознательной жизни» [2, 70].

В полном соответствии с традицией Гэлбрейт ставит в центр своей концепции понимание техники как знания, «организованного знания». Чрезвычайная сложность, огромные масштабы современной экономики, включающей, помимо производственного цикла, еще реализацию продукции, планирование и прочее, делают невозможным принятие единоличных решений, т. к. компетентное решение требует разнообразнейшей информации в огромных объемах и не под силу одному человеку. Гэлбрейт полагает, что в это время, т. е. в 1960–1970-е гг., только совокупность знаний и опыта является источником власти. Более того, это знание недоступно отдельному индивиду — им владеет одновременно целая группа людей, которая в качестве единого целого обладает «групповой индивидуальностью». Эти группы Гэлбрейт называет техноструктурой. По его определению, *техноструктура* — это совокупность людей, обладающих разнообразными техническими знаниями, опытом и способностями, в которых нуждаются современная промышленная технология и планирование. Она охватывает обширный круг лиц — от руководителей современных промышленных предприятий почти до основной массы рабочей силы — и включает в себя тех, кто обладает необходимыми способностями и знаниями [2, 98–99]. Техноструктура имеется в обязательном порядке в любой промышленной корпорации. Без ее прямого участия в процессе принятия решений невозможно развитие и процветание этих корпораций. Фактически весь процесс принятия решения стал, по мнению Гэлбрейта, прочной прерогативой техноструктуры [2, 124].

Групповая индивидуальность техноструктуры, обеспечивающая единство и сплоченность специалистов, имеет в основе не классовое самосознание их благородной миссии, как об этом мечтал Веблен, но адаптацию каждого члена конкретной техноструктуры к интересам организации, в которой он служит, — осознание своей принадлежности к определенной корпорации. В этом Гэлбрейт видит определенную гарантию того, что техноструктура трудится и властвует во благо всего общества. Ведь, отожествляя собственные интересы с интересами своей фирмы, техноструктура заботится исключительно о ее процветании. А так как современные предприятия, особенно крупные, требующие планирования корпорации, где сосредоточены силы техноструктур, составляют богатство всей страны, то процветание корпораций совпадает с интересами всего общества. Поэтому Гэлбрейт утверждает, что «необходимо обеспечить независимость техноструктуры в процессе принятия решений», так же как «необходимо нейтрализовать любое противодействие какому бы то ни было виду роста или технического прогресса» [3, 204]. При соблюдении этих условий общество будет стабильно совершенствоваться на пути накопления богатств и повышения жизненного уровня.

Несмотря на наличие в полном объеме технократической атрибутики, которая отличается от вебленовской, пожалуй, лишь тем, что описывается не в качестве предположения, а в качестве фактической констатации, концепция Гэлбрейта содержит также некую критическую ноту в оценке

реального функционирования технократического порядка. Это в большей степени характерно для более поздней его работы, которая имела в определенной мере смысл адаптации теории к антитехницистской критике научных оппонентов и к самой действительности, что соответствовало общей стабилизационной тенденции социальной науки того времени. Так, Гэлбрейт отмечает, что цель производства состоит уже не в том, чтобы предоставить потребителю выбор чего-то нужного или полезного, но в том, чтобы навязывать потребителю (и государству в том числе) новинки, «которые служат лишь тому, чтобы сделать продукт-предшественник внешне устарелым» [3, 201]. Иными словами, происходит подмена цели, вместо производства для потребления в обществе действует система производства для производства. Технический прогресс вместо самозаконного творчески развивающегося процесса оказывается жестко контролируемым в целях бесконечного производства нововведений. Техноструктура превращается из партнера, нуждающегося в поддержке и защите, в лобби «нового» как такового в отрыве от всех других качеств будущего товара. Государство, по выражению Гэлбрейта, становится «исполнительным комитетом техноструктуры» [3, 223]. Он признает, что сомнение в абсолютном общественном благе технических новшеств закономерно, что «технический прогресс представляет собой явление, которое нуждается в тщательной оценке» [3, 201], что интересы роста индустрии должны согласовываться с общественными интересами защиты окружающей среды, хотя это увеличивает расходы и снижает темпы роста.

### 3. ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ АМЕРИКАНСКОГО ТЕХНИЦИСТСКОГО МЫШЛЕНИЯ (Л. МАМФОРД)

Техницистская и технократическая социальная мысль существовала и развивалась в форме отрицания, неприятия тех или иных ее положений. В этой связи в американском опыте интересна фигура *Льюиса Мамфорда* (1895–1990), долгая творческая биография которого совпала с появлением, расцветом и упадком научных концепций этого типа. Интересен он, во-первых, потому, что его собственное мировоззрение относительно взаимоотношений техники и общества претерпело заметные изменения от техницистского оптимизма до пессимизма, и во-вторых, потому что его критическая вера в возможность сосуществования современной техники и человека подготавливала внутреннюю переоценку технократического мышления, отказ от его некоторых принципов. Этот процесс стал отчетливо проявляться в последней четверти XX в. в виде идеологии «технологического риска».

Свои научные исследования Мамфорд начал вполне в русле всеобщего энтузиазма в связи с распространением новых технологий 1920–1930-х гг., вне сомнений по поводу благотворности для человека развития науки и техники. Работа 1934 г. «Техника и цивилизация» [15] утверждала начало «неотехнической фазы» в развитии *цивилизации*. В полном соответствии с техницистским духом надежды на гармонизацию городской среды (урбанистические исследования составляли один из основных его научных интересов), устранение загрязнений, накопившихся от угольной промышленной эры и расширение потенциальных возможностей, заложен-

ных природой в человеке, Мамфорд связывал с новыми источниками энергии (электричеством), новыми материалами (нефть, искусственный каучук) и новыми средствами связи (авиация, автомобиль, радио). К середине 1940-х гг. он утратил доверие к технологии коммуникаций в связи с тем, что она вытесняет, подменяет мораль и высшие ценности. В 1950–1960-х гг. (например, в работах «Трансформация человека» 1957 г. и «Миф о машине» 1967 г. [16; 17]) Мамфорд уже не просто разделял широко распространенное разочарование в современной технике, которое в неمالой степени было связано с распространением новейшей ядерной энергетики, но вышел со своими опасениями за пределы академической деятельности, с тем чтобы выполнять гражданский долг по защите человеческих ценностей от технической цивилизации. Активная социальная позиция ученого способствовала тому, что его называли «народным интеллектуалом», «духовным луддитом» (см. соответственно: [19, 446; 11, 29]). В этот период Мамфорд ставил под сомнение как раз то, в чем технократ Гэлбрейт не считал возможным сомневаться. Его цель — «подвергнуть сомнению как исходные посылки, так и прогнозы, на которых основана наша приверженность к существующей форме технического и научного прогресса как цели самой по себе» [4, 225].

Такая радикальная переоценка роли техники связана с тем, что Мамфорд за свою долгую жизнь мог самым достоверным способом, посредством личного опыта и наблюдения убедиться, как не одно поколение новых технологий приводило к непредвиденным (по отношению к его собственным эстетическо-утопическим ожиданиям) результатам, плачевным для человека, социальной гармонии, для живого мира в целом. Однако фундаментальное основание его решительного отхода от техникстского видения социальных перспектив связано не с личным опытом, а с различиями общетеоретического характера. Его взгляды на технику с самого начала были гораздо шире. Если технократ (скажем, Веблен, с идеями которого Мамфорд знакомился не только по книгам, но и при личном общении) рассматривал технику в чистом виде и сводил богатство социальной реальности «модернового» периода к индустриальной системе, а доминирующую роль в развитии этой системы и общества в целом отводил средствам производства, то Мамфорд, наоборот, с самых первых своих работ рассматривал технику за пределами современности и индустриализма в глубинах истории, исследовал ее смысл с точки зрения человека как отдельного социобиологического существа, с точки зрения среды человеческого обитания и жизнедеятельности.

В целом социальную теорию Мамфорда можно обозначить как органическую, что не следует смешивать с органицизмом XIX в., который проводил прямые аналогии между обществом и организмом и развивал их в духе социального дарвинизма, что противопоставляло общество и единичного человека природному миру и предполагало конкурентную борьбу. Органическая теория Мамфорда стоит ближе романτισко-традиционалистскому представлению о гармоническом единстве и функционировании. Для него общество — это целое, состоящее не из отдельных частей с определенным функциональным предназначением и подчинением, а из множества отдельных автономных целых, каждое из которых имеет собственное предназначение и, соответственно, по доброй воле вступает с

другими целыми во взаимоотношения (солидарности, взаимопомощи, например, но и взаимозависимости в том числе) для достижения единой цели — органического развития каждого и всего общества. При этом общество (или общность любого другого масштаба — город, например) понимается им как открытая система, постоянно стремящаяся к состоянию «динамического равновесия» между человеком, обществом, средой, а также между отдельными членами общества (см. подробно: [10]).

Естественно, такие общетеоретические установки, делающие акцент на социальной психологии и социальной экологии, в корне отличались от тех, на которых строятся чисто технократические концепции. Механическое соединение отдельных частиц по иерархическому принципу строгого подчинения в понимании социального устройства, технологический детерминизм, стремительная экспансия технического развития как содержание социальной эволюции, квантификация как предпочтительный тип интеллектуальной деятельности — все эти неперемненные положения технократической философии Мамфорд признает неадекватными социальной реальности и ее естественным, органическим интенциям [16, 105]. Он считал наиболее соответствующей природе человека и общества организацию типа симбиоза и постепенное развитие внутри их «органических пределов» всех потенциальных возможностей, рациональных и нерациональных (последние вне рассмотрения и расчета технократов), включая религиозные, эстетические, нравственные, творческие в самом широком смысле слова.

*Наиболее наглядно теоретические расхождения Мамфорда и технократов проявляются в трактовке самого понятия техники. У Мамфорда оно больше по объему. Характерно, что именно в приближении к мамфордовскому расширенному пониманию техники пошла эволюция всей технократической парадигмы в конце XX в. Помимо компонентов техники, наличествующих у Мамфорда и у технократов, а именно непосредственных орудий труда, механизированных, машинных средств производства, набора технологических знаний и умений и «организованного знания», т. е. самой организации всего процесса производства и сбыта, Мамфорд вводит в состав техники еще статические компоненты, которые он описывал одним термином «контейнер», имея в виду такие вещи, как дом, завод, город, защитный ров, загон для скота, любые баллоны для жидких веществ и пр. Рассмотрим подробнее содержание, которое Мамфорд вкладывал в перечисленные компоненты.*

В работе «Техника и природа человека», изданной с сокращениями на русском языке, Мамфорд писал: «Орудийная техника и наша производная машинная техника являются лишь специализированными фрагментами биотехники: и под биотехникой понимается все необходимое человеку для жизни» [4, 228]. Термином «биотехника» он пытается охватить всю совокупность социальных, природных, культурных, антропологических явлений, которая составляет единое, органическое тело общества. Рассматривая технику с точки зрения такого целого и его исторического прошлого, Мамфорд приходит к заключению, что изначально техника была жизнеориентирована, а не узко трудоориентирована. По его словам, «техника, вплоть до нашего нынешнего времени, никогда не была отделена от большой культурной целостности, и еще менее техника господство-

вала над всеми остальными институтами» [4, 230]. При этом самым первым техническим приспособлением у человека, как считал Мамфорд, было его тело, которое он осваивал в самых разных направлениях, для самых разных целей. «Человек, — писал он, — является главным образом использующим ум, производящим символы, самосовершенствующимся животным» [там же], которое, прежде чем изменять и осваивать окружающий мир, должно было сделать из себя человека. Ясно, как далеко такое представление о сущности и происхождении человека находится от формулировки «труд создал человека». Она неприемлема для Мамфорда. Символическая деятельность человека и прежде всего создание языка, воспроизведение обычаев, религиозных ритуальных обрядов, творческое соиздание символов и эстетических ценностей — вот те перспективы и одновременно пределы, которые для Мамфорда определяют развитие человека, общества и роль техники как вспомогательного средства в этом развитии. Такое взаимоотношение человека и общества, с одной стороны, и техники — с другой, можно было бы определить противоположным относительно технократического определения образом — как культурный детерминизм, если бы ученый ограничил свою концепцию рассмотрением техники как орудий труда и ее отношений с социальным миром.

Однако Мамфорд исследует также и отношения техники с природным миром, причем не только с целью определения исторического, реального и идеального типа такого отношения, но пытается осмыслить саму технику как часть окружающей человека среды. В этом пункте своей концепции техники Мамфорд наиболее удален от классического технократического подхода и близок к новейшему интеллектуальному движению. В его характеристике с технократической точки зрения природа — это всего лишь то, что должно быть полностью освоено, полностью использовано и подчинено интересам развития техники и промышленного производства, человек в этой системе в качестве своей высшей цели имеет установление господства над силами природы с помощью технического оснащения и устремляется к такому состоянию, «при котором он не только завоюет природу, но полностью отделит себя от органической среды обитания» [4, 225]. Такой порядок вещей для гуманистически и органически ориентированного мыслителя противоестествен. По мнению Мамфорда, далеко не всегда даже в древности, когда человек был наиболее беспомощен перед природными стихиями, его технические эксперименты были нацелены на овладение природой. Часто техническая мысль была подчинена эстетическому, религиозному самовыражению, когда культовые, архитектурные, музыкальные или живописные потребности вызывали к жизни технические изобретения. В представлениях Мамфорда материальные объекты, созданные человеком с утилитарными и неутилитарными целями, в замкнутом пространстве помещений и под открытым небом, становятся частью окружающей среды, искусственной частью, рядом и вместе с которой человек вынужден жить и от которой он в некоторых случаях уже не может освободиться (вспомним хотя бы мертвые зоны АЭС и неуничтожаемые отходы этой технологии). Такой взгляд указывает на простой, в сущности, факт, что техника во всех ее проявлениях создается человеком в соответствии с его конкретными целями и определенными ценностями. Это означает, что техника не только влияет на общество и заставляет его



приспосабливаться к себе (на чем настаивают и останавливаются технократические и техницистские концепции), но и испытывает влияние человеческих ценностей, принимает формы им наиболее отвечающие. Логическим выводом рассуждений Мамфорда стало признание необходимости контролировать прежде всего цели и ценности, закладываемые в новые технологии.

*Понимание техники как сосредоточения знания и обеспечения власти содержится в концепции Мамфорда о Мегамашине.* Зарождение современной техники он соотносит не с каким-либо конкретным изобретением машинного устройства, а с изобретением архетипа машины — некой совокупности и комбинации специализированных, выполняющих определенные функции частей, которые вместе под контролем человека затрачивают энергию для выполнения заданной работы. Этот архетип известен в истории, по мнению Мамфорда, задолго до начала эпохи индустриализации и урбанизации, с которыми обычно связывают также и начало того, что принято называть «техническим прогрессом», а именно в III тысячелетии до н. э. в Древнем Египте, в так называемый век пирамид. Первой архетипической формой машины были «невидимая», или «человеческая», машина, все части которой состояли из живых людей, при этом «каждому предназначалась особая должность, роль и задача, что и обеспечило в конечном итоге громадную производительность и грандиозные проекты этой великой коллективной организации» ([7, 84–85]; см. также [4, 233]). По сути, это было создание определенного типа социальной организации — жесткой, иерархической, с единым центром управления, в пределе тоталитарной. В самой общей абстрактной форме это открытие человечества можно обозначить как открытие формальной, или технической, рациональности, которая послужила образцом для всех последующих форм механической организации.

Мамфорд выделял несколько видов Мегамашины, различавшихся по целевому профилю: политическая, трудовая, военная, коммуникационная. С точки зрения структуры любая Мегамашина содержит три, так сказать, физические части: во-первых, большие массы людей, исполняющие отдельные операции, и две интегральные части, приводящие машину в действие, — это группа (более или менее многочисленная), составляющая «надежную организацию знаний» (вспомним «генеральный штаб индустрии» и советы техников у Веблена), и группа людей, составляющих трансмиссионный механизм передачи и проверки выполнения приказов. Обе интегральные части, по Мамфорду, представляли собой изначально организации иерархического типа с первосвященником и царем на вершине. Мамфорд полагал, что особа царя, освященная божественной силой в лице высшего жреческого сословия, сыграла исключительную роль в создании Мегамашины. Именно царская власть, стремящаяся к экспансии и утверждающая божественный порядок, нуждалась в подобной машине принуждения и задавала ей совершенно ясную цель — наглядно материализовать веру в величие и всемогущество царя посредством строительства гигантских пирамид. Таким образом в самых исторически первых мегамашинах Мамфорда, рассмотренных с точки зрения властных отношений, содержалось представление о технике и знании как исполнительской власти, подчиняющейся стоящей вне и выше ее воле. Положение кардинально изменилось

в XX в., в «постисторическую» эпоху сверхиндустриализма, или «технологического общества», как ее называют вслед за Ж. Эллюлем.

Преобразование Мегамшины, смысл которого состоял в замене человеческих частей механическими и удалении человека от непосредственного создания конечного продукта его труда, и экспансия механической техники привели к тому, что эта «механическая экспансия сама по себе стала высшей целью, а машина при этом уже одновременно была необходимым средством и конечным результатом» [16, 105]. Мегамшины XX в., включающие в себя и обширную социальную организацию и гигантские технические возможности (многочисленные проекты военно-промышленного комплекса, или корпорации Гэлбрейта), отличаются, как считает Мамфорд, от своего прообраза прежде всего тем, что верховный центр, задающий цель, переместился вовнутрь машины [13, 449]. Система Мегамшины замкнулась на себе, стала самодостаточной и закрытой, из нее были удалены, как несущественные, человеческие жизненные заботы. Сам человек стал рассматриваться как вещь, лишь с точки зрения его полезности для машины, и вынужден приспособляться или соответствовать Мегамашине. Человек оказывается вторично принужденным (по отношению к мегамашинам древней истории, когда он был принужден отказаться от всех других видов жизнедеятельности и отдавать все свое время трудовой деятельности) в век сплошной автоматизации и компьютеризации к примитивному наблюдению за кнопками. Говоря словами Мамфорда, человек «оказывается лишенным функций безработным существом».

Мамфорд не раз отмечал, что в основании всех современных достижений технической рациональности лежат иррациональные *иллюзии* о всезнании жрецов и всемогуществе фараонов. По его мнению, в XX в. «эти первоначальные иллюзии не стали менее иррациональными», они лишь приписываются другим субъектам действия. Всезнание и всеисие теперь — атрибуты самой Мегамшины технической рациональности, т. е. научного знания и материализованных технических объектов. Иррациональность, однако, присутствует в сегодняшней технологической цивилизации не только в ее унаследованной мифологической вере в непогрешимость и абсолютную власть компьютеризованного интеллекта, но и в безумии ее конечных целей, которые Мамфорд определяет как коллективное самоубийство. Известна его метафора, которую он использовал для описания современного общества, — это автомобиль без руля управления, наполненный пассажирами и мчащийся к бездне (см. [13, 450]).

Несмотря на столь пессимистическую оценку, Мамфорд не отрицает абсолютно автоматизированную, машинную технику. Враждебность ее по отношению к человеку и окружающей среде привнесена самим человеком. Усвоение именно этого положения дает, по его мнению, человечеству шанс миновать катастрофу. Главным ключевым моментом реорганизации должно стать вынесение центра, определяющего ценностную ориентацию и цели для машинных технологий, за пределы Мегамшины в общество, а высшим критерием их развития и распространения надо избрать жизненные ценности отдельного человека. Возрождение социальной гармонии, органической целостности общества, человека, природы и техники Мамфорд видит в двух встречных направлениях. Во-первых, через «обдуманное, широкомасштабное разрушение Мегамшины, во всех ее институциональ-

ных формах, с перераспределением силы и власти к меньшим единицам, более открытым прямому человеческому контролю» [4, 238], и во-вторых, через восстановление покрывающей все общество сети самых разных добровольных сообществ и ассоциаций людей (профессионального и досугового характера), развитие местных (сельских и городских) инфраструктур общения и возвращения на эволюционный путь симбиотического взаимодействия человека со средой (естественной и искусственной), в котором техника будет играть роль посредника, а не властелина.

#### 4. НОВЕЙШИЕ ФОРМЫ ТЕХНИЦИСТСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ (КОМПЬЮТЕРНАЯ ФУТУРОЛОГИЯ, РИСКОЛОГИЯ)

В последней четверти XX в. в американской технократической традиции произошли качественные изменения, которые в самом общем виде можно охарактеризовать как переход от авторитарной технократии к критической. В теоретическом отношении критичность современных социальных теоретиков техники выразилась в смягчении принципа «технологического детерминизма», в отказе от абсолютной веры в технический прогресс, в признании амбивалентности технических нововведений, в расширении состава специалистов самых разных научных дисциплин, допущенных к принятию решений о новых технологиях (вспомним, что в классическом варианте к решению этого вопроса допускался практически лишь ограниченный круг технических специалистов). Столь существенные изменения были ответной реакцией на концептуальную гуманистическую критику в рамках науки и реальную онтологическую ситуацию глобального технологического риска, создавшуюся на планете в связи с экспансией сверхсложных технологий в мирной и военной промышленности. Попытки преобразования закрытой жесткой системы взглядов в открытую связаны не в последнюю очередь с общей стабилизационной тенденцией этого времени. *Технократическая мысль существует ныне в двух отчетливых формах — в форме футурологических проектов компьютерного, или информационного, общества и в форме идеологии практической деятельности по оценке технологического риска.*

Концепции будущего, основанного на новом комплексе коммуникативных технологий, включая компьютерную технику и новейшие типы связи, в своей основной массе демонстрируют свою верность технократическим ценностям в большей степени, чем стремление к ревизии и изменению диктата техники в жизни общества и индивида. Примерами такого рода могут служить, например, книги Дж. Мартина «Телематическое общество. Вызов будущего» (1981) и Дж. Нейсбитта «Мегатенденции: десять новых направлений в изменении нашей жизни» (1982). Их авторы следуют логике однолинейной последовательной смены поколений технических средств, каждое из которых снимает все негативы, обнаружившиеся в предыдущем поколении. В данном случае прогресс технический и, следовательно, социальный связывается с неограниченными возможностями компьютерно-информационной сферы. Заметим, что в начале 1970-х гг. подобных концепций не было, ибо не было еще индустрии персональных компьютеров и ни один футуролог не предсказывал ее близкий триумф. И, например, концепция «постиндустриального общества» Д. Бел-

ла 1973 г., с наибольшими основаниями претендовавшая среди других на теоретическую новизну, оставалась вполне традиционно технократической и отражала, по сути, лишь смену приоритетов внутри индустриального общества — от промышленного производства в пользу производства услуг. В самой индустрии — расширение слоя «белых воротничков»; в социальной структуре, в образовании и науке — главенство теоретического знания. Именно за счет перехода приоритета от прикладного, технологического знания к теоретическому Белл предполагал возможность смягчения реального технократического порядка. Однако, по мнению одного из самых ярких пропагандистов компьютерного общества А. Тоффлера, концепция Белла и подобные ей (он упоминает, в частности, «технотронную эру» З. Бжезинского) вовсе не означают качественно новой стадии общественного развития, некой «пост»-стадии, следующей за индустриальной. Он считает изменения и явления, описываемые и ожидаемые Беллом, лишь расширением индустриализма [20, 9, 186–187], скорее «супер»-, чем «пост»-индустриальным порядком.

Действительный прорыв в новую цивилизацию Тоффлер (как и другие упомянутые выше авторы) связывает с чисто техническим нововведением — компьютером в совокупности со всеми видами связи — и его массовым распространением по индивидуальным рабочим местам, внедрением в домашний быт. В этом он остается последовательным техницистом, но далее он впервые в истории социологической мысли разводит технику и индустрию, которые всегда были неразрывны в концепциях технократии Веблена, Гэлбрейта и в концепциях индустриального развития. Тоффлер видит будущую цивилизацию «одновременно технической и антииндустриальной» [20, 10], тогда как, например, Дж. Мартин вполне традиционно трактует революционизирующее воздействие компьютерной техники в терминах роста индустрии и национального совокупного продукта [14, 11].

*Рассмотрим подробнее концепцию «третьей волны» Алвина Тоффлера (род. 1928), поскольку она выгодно отличается от уже упомянутых и других описаний компьютерного будущего гибкостью, теоретической обоснованностью, целостностью и отражает сложность модификаций технократической мысли конца XX в. Справедливости ради надо сразу же сказать, что позиция Тоффлера по отношению к технократической традиции в социологии отнюдь не охранительная. Свою концепцию он называет «фрактонией», или практической утопией, что на деле означает стремление к реалистической оценке настоящего и ближайшего будущего, когда концепция строится от реального положения дел в социальном мире, а не от теоретической аксиомы к конструированию реальности. Концепция «третьей волны» Тоффлера богата по социологическому содержанию и выходит за рамки проблематики «техника–общество–человек», интересующей нас в данной работе. Рассмотренная именно с этой точки зрения, она указывает на преимущество мамфордской линии гуманистической техники, а не вебленовско-гэлбрейтовской линии производящей техники. Тоффлер видит в сегодняшнем дне реальные предпосылки для осуществления мамфордских пожеланий об установлении органического единства техники и природы, о появлении техники, отвечающей непосредственным потребностям отдельного человека и пр. Причем концепцию Тоффлера можно представить одновременно как отражение реальных*

изменений не только в технической сфере, но и в социологическом мышлении. Это не точка зрения одного ученого, но изложение новой парадигмы, которая вытесняет еще недавно господствовавшую жестко технократическую.

Прежде всего концепция Тоффлера *означает отказ от идеи прогресса*, бесконечного числа стадий роста, на которой основывались почти все теории развития в социологии XIX–XX вв. Реалистическая позиция автора однозначно приводит к выводу, что бесконечный индустриальный рост ведет к гибели, истощению природы, к подавлению человека, к социальным катаклизмам, к гигантским технологическим и экологическим катастрофам и что такой рост не может быть действительной целью человечества. Тоффлер предпочитает описывать историческое развитие в терминах непрерывного волнового движения. Это позволяет ему видеть будущее человечества вне индустриального роста. Если первая и вторая волна Тоффлера, т. е. аграрная и индустриальная эпохи, вполне совпадают с общесоциологическим представлением об основном содержании исторического процесса — переходе от традиционного общества к индустриальному, или от военного к промышленному, то его третья волна — попытка выйти из этой теоретической схемы, связать будущее человечества с созданием новой цивилизации с иными, неиндустриальными ценностями.

Итак, по мнению практического утописта Тоффлера, «вторая волна» произвела в числе многих два таких изменения, которые сами по себе сделали невозможным дальнейшее «нормальное протекание индустриальной цивилизации» [19; 20]. Это — достигнутые пределы в «войне против природы» и в добыче дешевой энергии [там же]. Индустриальная цивилизация находится в кризисе, и Тоффлер утверждает, что это не повторение уже имевших место экономических кризисов перепроизводства, но кризис структуры и всех ценностей этой социальной системы. Единственное, что можно достоверно наблюдать, говорит Тоффлер, это развал основных принципов индустриализма и появление иных принципов новой эпохи, от понятийного обозначения которой Тоффлер пока что воздерживается, описывая ее содержательно. Нынешнее поколение людей живет в условиях коренного «реструктурирования» общества.

Среди «железных» принципов, целиком описывающих индустриальный образ жизни и социальное функционирование всех подсистем общества, Тоффлер называет одним из первых *стандартизацию*, т. е. массовое производство, воспроизводство и потребление стандартных товаров, услуг, действий, касающихся как индивидов, так и организаций, целых отраслей. Принцип *максимизации* отражает стремление индустриального производства к увеличению затрат, объемов производства, прибылей, укрупнению структур (вспомним хотя бы гигантские корпорации или, вне промышленной сферы, мультигорода, мультиуниверситеты). Крупные структуры предполагают и два других принципа — обязательную *концентрацию* финансовых и других средств, людских ресурсов, территориальную экспансию, и *централизацию* управления. Машинная индустрия задает, помимо этого, еще и принцип *синхронизации*, касающийся образа жизни в целом. Он означает, что машинные ритмы труда переносятся во все сферы социальных связей, в работу транспорта, зрелищных учреждений, служб быта, банков и пр. Полное представление о схеме устройства и

функционирования индустриальной системы, по Тоффлеру, достигается добавлением принципа *специализации*. Смысл этого принципа состоит в том, что начальное разделение многогранной жизнедеятельности человека на трудовую и нетрудовую, о которой говорилось у Мамфорда, в течение второй волны цивилизации вело к дальнейшему разделению труда, разделению производства и потребления, разделению видов знания (к научной специализации), дроблению видов художественной деятельности. Все эти принципы второй волны в период ее завершения и распада привели к утверждению «блип-культуры», культуры эксперта, узкого специалиста-аналитика, когда отсутствует целостная картина мира и он предстает лишь в виде отдельных кусочков, фрагментов, «блипов», описание которых дают эти самые специалисты.

Очевидность распада эпохи второй волны для Тоффлера связана именно с тем, что ныне живущие поколения наблюдают процесс замещения этих принципов на противоположные, которые указывают на иное, неиндустриальное направление социального будущего. Стандартный и массовый характер поведения, потребления и пр. сменяется *многообразием* и малосерийностью производимых образцов продукции. Тенденция к *децентрализации* на самых разных уровнях управления берет верх над жесткой иерархией с единым центром — типом властных отношений, явно преобладавшем в индустриальном мире последнего столетия. На место стремления к захвату максимумом, гигантским масштабам предприятий приходит реальное сокращение затрат энергии, ресурсов, финансов, потребления, разукрупнение организаций. Единый ритм автоматизированного труда ломается, ему на смену приходят асинхронные скользящие и индивидуальные графики труда, стирается грань между трудовым световым днем и вечерне-ночным отдыхом. Все больше появляется видов труда, не требующих концентрации рабочей силы и средств производства в определенном специальном месте. Прежде всего здесь имеется в виду труд на дому за персональным компьютером и т. п.

Все эти изменения и реально ощутимый процесс «реструктурирования» американского общества в основе своей имеют компьютерно-коммуникативную технологию, задавшую принципиально новые ориентиры обществу. Вместо совершенствования механических усилий, которое представляли собой все предыдущие технологические новаторства вплоть до атомной энергетики, становится возможным совершенствование человеческого интеллекта; вместо энергетических затрат — информационный обмен. В совокупности эти процессы лишают индустрию центральной роли в обеспечении прогресса. Ныне прогресс связывается, по мнению Тоффлера, с *многообразием* социальных форм и видов деятельности и *скоростью обмена информацией*. Порядок в такого рода цивилизации достигается уже не жесткими предписаниями и контролем из центра по каналам бюрократии, а за счет интенсивности поступления новой информации и соответствующих ей изменений.

Информация, наряду с компьютерно-коммуникативной техникой, играет в концепции Тоффлера роль революционизирующего фактора в создании общества третьей волны. В этом пункте заметна преемственность с технократической традицией в социологии в той ее части, которая устанавливала закономерную связь между знанием и властью. Тоффлер,

утверждая, что «идея, согласно которой знание означает власть, устарела», буквально следом говорит, что «для обладания властью сегодня необходимо знание о знании» [6, 129]. Под сочетанием «знание о знании» Тоффлер понимает «метаинформацию», а власть означает у него обладание, контролирование, управление информационным потоком. С исторической сцены ушло значимое для индустриальной эпохи «знание как делать вещи» — это фиксирует практический реалист и футуролог Тоффлер. Но им остается незамеченным, что его собственная точка зрения представляет незыблемый и ныне постулат технократического мировоззрения — знание это власть, только произошла очередная замена типа знания. Аналогично Веблену Тоффлер дополняет старинные факторы производства — землю, труд и капитал, основными характеристиками которых были их конечность и закрепленность за собственником, — особым видом знания, информацией, которая не имеет границ и определенного собственника, ее могут использовать множество людей одновременно [6, 122]. Прав Т. Роззак, известный критик технократической идеологии 1960-х гг., утверждая в работе 1987 г. «Культ информации» [19], что «информация» постепенно занимает место Бога. Надо оговориться, однако, что адресат критики Роззака в данном случае не Тоффлер, но наличие весомого остатка главной идеологической компоненты «второй волны» — технократической теории — в тоффлеровской концепции неоспоримо.

Сложнее вопрос о фигуре самого технократа в постиндустриальном, информационном будущем Тоффлера. Как уже отмечалось, Тоффлер видел результатом действия специализации, прежде всего в производстве и в науке, возведение на пьедестал эксперта — трансформированного образа вебленовского технократа — узкого специалиста, знатока пусть самой малой области знания. Причем этот высокий социальный статус вырабатывался и тщательно охранялся узкими корпоративными группами специалистов, категорически не допускавшими к какому-либо обсуждению профанов, в число которых входили не только обыватели, но и специалисты других областей. По мнению Тоффлера, это то положение, которое более не удовлетворяет потребностям общества в воссоздании целостной культуры. Власть и священную корпоративную замкнутость экспертов следует ограничить (стремление к таинственности и секретности носителей знания отмечал и Мамфорд, говоря о египетских жрецах, носителях знания времен создания Мегамшины), и Тоффлер видит в сегодняшнем американском обществе реальные попытки сделать это. Он имеет в виду расширение круга участников, допущенных к обсуждению какого-либо жизненно важного вопроса (строительство новой АЭС или выпуск нового пищевого продукта, например) и к процессу принятия решения по нему, за счет непрофессионалов.

Однако основное средство в преодолении культа специалиста и узкого профессионализованного видения мира у Тоффлера сосредоточено не в области человеческих отношений или в самом человеке, а в компьютерном интеллекте, который может воссоздать единую синтетическую картину мира, утерянную вследствие преобладания рационалистического аналитического мышления в течение последних трехсот лет. Иными словами, опять надежды человеческого общества на стабильную, гармоничную жизнь связываются с техникой, которая должна в известном смысле пре-

одолеть саму себя, вывести человечество из пут технической рациональности, стать более гуманной, чем сам человек индустриальной эпохи. Подобные рудименты техницистского мышления не остаются незамеченными в американской социологии. Достаточно привести здесь уже упомянутую работу Т. Роззак [19], в которой он, анализируя литературу по компьютерной социальной футурологии, говорит о создании новой мифологии с культом информации и искусственного интеллекта внутри нее.

В пределах американской социологии конца XX в. отчетливо просматривается еще одна новая форма техницистского мировоззрения, которой в отличие от Тоффлера не свойственны рассуждения об ущербности калькулирующего специализированного знания и которая на практике своей собственной деятельностью подтверждает высокий статус научной экспертизы и несколько отрезвляет эйфорию компьютерных футурологов. Эта новая форма, носящая название «*оценка технологического риска*», представляется сегодня практическим воплощением общей переориентации жесткого стандартного технократического мировоззрения в сторону его смягчения. Это происходит путем принятия в свою систему ценностей критической установки по отношению к технике и допуска к оценке новой технологии и техники социальных, правовых, экологических, гуманистических, эстетических, медицинских и пр. аргументов. Тем самым чисто техническое описание техники безопасности и финансовая смета, прилагаемые к любому проекту, превращаются в сложное социальное действие по принятию ответственного решения о введении новой технологии или постройке нового технического объекта с предварительной научной экспертизой самого широкого диапазона, парламентскими слушаниями, а нередко опросами мнений населения и публичными дискуссиями. В США появление оценки технологического риска в указанном новом социальном смысле исторически совпадает с представлением в конгресс первых проектов атомных электростанций с последующим включением в сферу ее интересов практически всех видов технологий. Становление этой научной отрасли сопровождалось параллельным активным законотворчеством, направленным на регулирование технического прогресса.

Так, расширение производства персональных компьютеров и особенно создание отраслевых компьютерных систем (почтовых, банковских и пр.), ставшие заметными с середины 1970-х гг., привели не только к новым формам социального общения, на чем делает акцент компьютерная социальная футурология, но и к новым социальным проблемам, новому виду преступности в том числе. Одновременно с распространением компьютерной техники начались и исследования по оценке ее риска для общества, человека, и в значительной степени на основе этих исследований стало разрабатываться не имевшее аналогов в истории законодательство по компьютерной преступности и регулированию пользовательских и контролирующих функций внутри информационных потоков. Особенность «оценки технологического риска» как самостоятельной области научного исследования, или «*рискологии*» (термин Ю.Н. Давыдова), состоит в ее максимальной приближенности к политической сфере, ведь она играет определенную роль как в деятельности исполнительной власти (имеется в виду выдача лицензий на проекты), так и для законодательной власти (упорядочение отношений общества с технико-технологической средой,



им создаваемой). Рассмотренная с такой точки зрения рискология означает, что в общественном сознании началась кардинальная переоценка ценностей техники. От пассивного наблюдения за ходом «научно-технического прогресса» и ожидания всеобщего благоденствия, неминуемо следующего из него, общество переходит к контролю, нередко выражающемуся в отказе от проектов, по-прежнему выдаваемых их создателями за прогресс. Иными словами, в прошлое уходят принципы индустриально-технократической идеологии — *laissez faire* и *laissez innover* — принципы невмешательства во внутренний самозаконный процесс разворачивания и самосовершенствования технической рациональности.

В рамках социологического знания появление «рискологии» означало не просто расширение предметной области, хотя до этого техника рассматривалась в эмпирической социологии лишь в связи с производственным процессом на организационном уровне. Оно означало новаторское стремление эмпирической социологии развенчать миф о всеилии техники, о прогрессивном характере ее способности к саморазвитию. Социология в новой своей форме — рискологии, или экспертизы технологического риска, — стремилась взять на себя роль ведущей научной дисциплины в этой междисциплинарной области знания, т. к. именно социология обладает не только особыми знаниями и методами наряду с другими, но и необходимой для выработки окончательного решения широтой взглядов на общество в целом. В таком направлении формулировал задачи национальной социологии в 1984 г. на ежегодном собрании Американской социологической ассоциации тогдашний ее председатель Дж. Шорт, констатируя становление рискологии в течение предшествующего десятилетия (подробнее см.: [1; 5]). В переориентации социологии на мир техники видел в начале 1980-х гг. стабилизационные перспективы ее развития Дж. Уайнштейн. По его мнению, социология должна выйти за пределы чисто академической дисциплины, должна стать составной частью современной технологии. Такая «постакадемическая социальная наука есть кратчайший путь к междисциплинарному исследованию социальных предпосылок и последствий техники с целью внедрения знания социальных отношений в процесс нововведений, в образование специалистов и другие виды практической деятельности...» [22, 266]. Однако провозглашенная задача создания теоретико-эмпирической социологии техники оказалась достаточно сложной, к середине 1990-х гг. стало заметно определенное теоретическое отставание. Более того, стало заметно перемещение общетеоретических поисков в сферу социальной философии. Принципиально важно отметить (хотя бы в форме простой констатации), что в имеющихся теоретических описаниях общества постиндустриальной эпохи с позиций нового видения техники, центральным системообразующим понятием является понятие глобального технологического риска (в отличие от компьютерной футурологии, исходящей из известного понятия технологического детерминизма). Значительный вклад в социологию техники сделан по вопросу о пределах допустимого риска, по проблеме восприятия риска, в экспертизе общественного мнения. Сложности как теоретических изысканий, так и эмпирических исследований в области риска заключены в самих установках этой научной дисциплины. С самого начала в ней предпринимались попытки объединить, согласуясь с прежними позитивистскими представлениями

о научности, необъединимые вещи: мир ценностей, включая этические нормы и обычаи отдельных стран, общечеловеческие и индивидуальные ценности, с одной стороны, и бесстрастные методы количественной оценки, калькулирующие процедуры — с другой, на основе онтологического понимания риска в современном мире. Однако противоречие, изначально заложенное в рискологии, говорит не об ее неполноценности или бесперспективности, а о том, что американская социология в этой своей части развивается в русле общей тенденции по выработке новых представлений о самой научности, новых возможных форм науки об обществе.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Буржуазная социология на исходе XX века. Критика новейших тенденций. М., 1986. Гл. 2, § 1.
2. *Гэлбрейт Дж.К.* Новое индустриальное общество. М., 1969.
3. *Гэлбрейт Дж.К.* Экономические теории и цели общества. М., 1976.
4. Новая технократическая волна на Западе. М., 1986.
5. Новейшие тенденции в современной немарксистской социологии: Материалы к XI Всемирному социологическому конгрессу. Ч. 1. М., 1986.
6. *Тоффлер О.* Прогнозы и предпосылки // Социологические исследования. 1987. № 5. С. 118–131.
7. Утопия и утопическое мышление. М., 1991.
8. *Bell D.* The coming of the post-industrial society. A venture in social forecasting. N.Y., 1973. [Бел Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999.]
9. *Bernham J.* The managerial revolution. N.Y., 1941.
10. *Casillo R.* Lewis Mumford and the organicist concept in social thought // Journal of the history of ideas. 1992. Vol. 53. № 1. P. 91–116.
11. Changing attitudes toward American technology / Ed. by Th.P. Hughes. N.Y., 1975.
12. *Elsner H.* The technocrats. Prophets of automation. Syracuse, 1967.
13. *Hughes Th.P.* American genesis: a century of invention and technological enthusiasm. 1870–1970. N.Y., 1989.
14. *Martin J.* Telematic society. A challenge for tomorrow. Englewood Cliffs (N.J.), 1981.
15. *Mumford L.* Technics and civilization. N.Y., 1934.
16. *Mumford L.* The transformation of man. L., 1957.
17. *Mumford L.* The myth of the machine. Technics and human development. N.Y., 1967. [Мамфорд Л. Миф машины и развитие человечества. М., 2001.]
18. *Mumford L.* Pentagon of power. N.Y., 1970.
19. *Roszak Th.* The cult of information (The folklore of computers and the true art of thinking). N.Y., 1987.
20. *Toffler A.* The third wave. Toronto et al., 1981. [*Тоффлер Э.* Третья волна. М., 1999.]
21. *Veblen Th.* The engineers and the price system. N.Y., 1936.
22. *Weinstein J.* Sociology // Technology: Foundations of postacademic social science. New Brunswick; L., 1982.

## ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Середина XX в. ознаменована в американской социологии всплеском научного интереса к проблемам социальной организации, обусловленным прежде всего фундаментальными изменениями в структуре общества, происшедшими к этому времени. Как отметил А. Гоулднер, «повсеместное распространение сложной, построенной на рациональных началах организации, несомненно, является одной из характерных особенностей современного общества, отличающей его от прежней феодальной формации» [6, 445]. Наиболее значимый вклад в развитие этой области внесли такие ученые, как Т. Парсонс, Р. Мертон [21], А. Гоулднер [17], П. Блау [14; 15], Ф. Селзник [26], Р. Осборн [23], Дж. Марч и Г. Саймон [20] и другие.

Отличительной особенностью развития теории организации этого периода был ее конкретно-эмпирический характер. Результаты конкретных исследований обобщались в целый ряд общетеоретических положений. Так, А. Гоулднер, например, в своем исследовании 1954 г. проанализировал условия, способствовавшие зарождению двух видов организационной власти — власти, основанной на простом факте пребывания в должности, и власти, покоящейся на профессионализме. П. Блау в 1950-х гг. разработал статистические методики оценки деятельности персонала в организации. Ф. Селзник по результатам конкретного исследования деятельности «Администрации по развитию водного, энергетического и сельского хозяйства на реке Теннесси» установил некоторые закономерности влияния «социальных» характеристик персонала на политику и деятельность организации. С. Липсета, М. Трору и Дж. Коулмена заинтересовал политический аспект функционирования организации, и, в частности, тенденции, способствующие реализации демократических ценностей в организации.

Исследования функционирования социальных организаций 1940–1950-х гг. проводились в основном в рамках структурно-функционального подхода — господствующей теоретической доктрины того времени. Однако он не являлся единственной парадигмой, на основе которой строился анализ социальной организации. В качестве теоретического основания использовались, например, такие направления, как интеракционизм, связанный прежде всего с именами Ч. Барнарда [13], Г. Саймона и Дж. Марча; методология чикагской школы (А. Смолл, Дж. Мид, Р. Парк); институциональная модель организации, представленная в числе прочих концепцией Л. Зукера, который связывал тип организации с институтами — обычаями, традициями, нормами; конфликтная теория, представитель которой, Р. Холл, полагал, что организационное развитие происходит исключительно благодаря разрешению постоянно возникающих организационных конфликтов и др.

Основная и все возрастающая тенденция, отмеченная социологами уже в указанный период, — это тенденция к укрупнению и усложнению структуры организации. В эпоху глобализации, эта тенденция еще более усилилась, и мир столкнулся со сложными разветвленными корпорациями, управление которыми требует новых подходов и методов. Задача, которую предстоит решать современной теории организации.

Прежде чем перейти к более детальному рассмотрению положений теории организации 1950-х гг., рассмотрим само понятие социальной организации, а также наиболее значимые вехи в развитии теории организации.

## 1. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В социальных науках к теориям социальной организации обычно относят теории, связанные с проблемами управления и менеджмента и условиями эффективного функционирования социальных систем. Систематические исследования этих проблем, предпринятые в начале XX в., носили преимущественно эмпирический характер, лишь впоследствии обрели некую теоретическую форму. К концепциям такого рода обычно относят тейлоризм, теорию «человеческих отношений» и ряд теорий, развивших впоследствии основные идеи этих направлений.

Теоретическим основанием современных теорий организаций принято считать идеи К. А. Сен-Симона и О. Конта, которые одними из первых отметили роль организаций в развитии общества, выявив их некоторые отличительные характеристики. Сен-Симон считал, что власть в социальных организациях не должна передаваться по наследству, а должна принадлежать специалистам и основываться на знании и высокой квалификации. Конт подчеркивал важность «естественных», «стихийных» факторов в процессе объединения людей и формирования организаций.

Существует множество определений организации. Наиболее полное попытался дать российский социолог А.И. Пригожин, который включил в свое определение понятия «организация» различные аспекты этого многоликого феномена: «Организация создается как инструмент решения общественных задач, средство достижения целей. С этой точки зрения на первый план выступают организационные цели и функции, эффективность результатов, мотивация и стимулирование персонала и т. д. <...> Организация складывается как человеческая общность, специфическая среда. С такой позиции организация выглядит как совокупность социальных групп, статусов, норм, отношений лидерства, сплоченности — конфликтности и т. д. Организация объективируется как безличная структура связей и норм, детерминированная административными и культурными факторами. Предметом анализа организации в этом смысле выступает как агрегированная целостность, построенная иерархически и взаимодействующая с внешней средой. А основные проблемы здесь — равновесие, самоуправление, разделение труда, управляемости и т. д.» [3, 15].

В социологической литературе организация рассматривается как произвольное соглашение людей, которые объединились в процессе работы, распределив и закрепив за каждым членом определенные функции для наиболее эффективной деятельности всей организации в целом. Кри-

териями, отличающими социальную организацию от всех прочих видов социального группирования, являются наличие общих интересов (а в идеальном типе организации и совпадение целей организации с целями каждого ее члена), определенная структура социальных отношений индивидов внутри ее и система разделяемых ее членами верований и мотивирующих ориентаций.

В теориях социальной организации выделяются два типа организации: формальная и неформальная. *Формальная* организация возникает для осуществления специально поставленных целей. С точки зрения Ф. Селзника формальная организация есть система сознательного координирования действий двух и более лиц, она представляет структурное выражение рациональных действий [26]. Всякая формальная организация имеет административный аппарат, систему специальных процедур и регламентаций, направленных на координирование действий членов организации в целях ее сохранения. Члены такой организации рассматриваются функционально: не как личности, а как носители определенных социальных ролей. Чем сложнее и больше организация, тем более сложные функции выполняет административный аппарат. Каждая формальная организация в определенной степени является бюрократической. Степень бюрократизации организации в большей степени зависит от количества усилий, направленных на разрешение административных проблем, и в меньшей — от количества усилий, направленных на достижение целей организации.

Понятие *неформальной* организации в социологической науке не имеет четкого общепринятого определения. Неформальная организация является результатом сложившихся социальных отношений между индивидами или группами, разделяющими непредписанные организацией образцы поведения. Примерами таких неформальных образцов поведения могут быть не принятые организацией культурные структуры (типы убеждений, чувств) или социальные структуры (общности людей, основанные на чувствах симпатии, дружбы, взаимного интереса и т. п.). Почти в каждой формальной организации возникают неформальные отношения, порождаемые самой формальной организацией. Эти отношения весьма важны для функционирования всей организации, поскольку выполняют определенную позитивную роль. Неформальные моменты существуют и в бюрократических организациях. В условиях жесткой системы административных правил формальной организации они повышают эффективность организации, а также служат средством сглаживания возможного конфликта между подчиненными и вышестоящими должностными лицами, способствуют сплоченности членов организации, сохраняют чувства индивидуальной целостности, самоуважения и т. д. Но в то же время следует отметить, что слишком большое количество неформальных отношений в организации может иметь и отрицательные последствия. В настоящее время значительная часть важной служебной информации идет по неформальным каналам. Группы, образующиеся внутри организации на основе чувства личной симпатии, дружбы, родственных связей и т. п., могут препятствовать эффективному управлению организацией, поскольку зачастую руководствуются неформальными отношениями в ущерб рациональности и эффективности принятия решения. Кроме того, как отметил Р. Миллс, преобладание неформальных отношений над формальными в

организации служит постоянным источником напряженности, угрожающей равновесию организации [1].

Сегодня в социологии известны три основных подхода к анализу организации: рациональный, естественный и неорациональный, синтезирующий два первых. В соответствии *рациональной* моделью организация предстает как «инструмент», рациональное средство достижения четко поставленных целей (линия, идущая от Сен-Симона). Организация в данном случае рассматривается как совокупность отдельных самостоятельных частей, способных изменяться и заменять друг друга, не нарушая при этом целостности структуры организации. Деятельность организации рационального типа управляется на основе реальной оценки ситуации и использования апробированного знания; она сознательно направляется на повышение уровня своей эффективности и успешности. Сторонники этой модели организации признают возможность неэффективного функционирования организации, но считают его результатом случайности и частных ошибок. Рациональный подход к исследованию организации часто игнорирует роль неформальных отношений внутри ее.

В отличие от этого подхода сторонники *естественной* модели, опирающиеся на идеи О. Конта, представляют организацию как «естественное целое», как некий организм, которому присущ органический рост, стремление к продолжению своего существования и сохранению равновесия системы. Реализация поставленных целей, с точки зрения сторонников этого подхода, является всего лишь одной из возможных задач организации. По мнению представителей естественной модели, организация может продолжить свое существование даже после успешного достижения поставленных перед ней целей. Главной задачей является сохранение равновесия организации. Возможные нарушения равновесия системы могут быть защитными реакциями ее членов на какую-либо возникшую проблему. В естественной модели организации предполагается, что нельзя без ущерба для целостности и даже существования системы изменить какую-либо ее часть. Естественная модель организации больше внимания уделяет неформальным отношениям.

Попытку соединения позитивных положений этих двух моделей предприняли представители так называемой *неорациональной* модели организации. К ним можно отнести таких известных теоретиков теории организации, как Р. Мертон, П. Блау, А. Гоулднер, Дж. Марч, Г. Саймон, Ф. Селзник и др. Из рациональной модели неорационализм принял принцип рациональности, из естественной модели — внимание к неформальным отношениям. В фундамент неорационализма были положены идеи веберовской идеальной модели бюрократической организации. Свою основную задачу представители неорационального подхода видели в определении условий, которые влияют на степень эффективности организации, поэтому для них характерна разработка отдельных вопросов рационального управления организацией.

## 2. К ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ

*Тейлоризм.* Проблемы эффективного управления организациями начали систематически исследоваться лишь в начале XX в. Основателем теории научного управления (менеджмента) принято считать американ-

ского исследователя *Фредерико Уинслоу Тейлора* (1856–1915), который первым применил научные методы к исследованию проблем управления и функционирования организации [7]. Предложенная Тейлором научная система рационализации труда и управления производством была направлена на повышение эффективности работы предприятия, рост производительности труда, интенсификацию трудового процесса [8; 9]. Тейлор обратил внимание на низкую производительность труда рабочего. Причины этого явления, по его мнению, лежали, с одной стороны, в несовершенстве организации процесса труда и использовании средств производства, а с другой — в сознательном занижении рабочим выработки труда, получившим затем название «феномен работы с прохладцей». В основе системы Тейлора лежала следующая идея: весь процесс работы рабочего подразделялся на несколько простейших этапов, для выполнения каждого из которых разрабатывался закрепленный набор стандартных приемов. Рабочий должен лишь чисто механически использовать соответствующий определенный прием для конкретной производственной операции. Тейлор считал, что мышление лишь может нарушить автоматизм движений и снизить производительность труда. Рост производительности труда возможен, по мнению Тейлора, только путем стандартизации методов, орудий, приемов труда, причем эта стандартизация должна производиться принудительно, поскольку рабочий ленив, невежествен, пассивен от природы. Проведение и последующий контроль стандартизации трудового процесса должна осуществлять группа инициативных, образованных лиц, составляющих администрацию предприятия. Процесс стандартизации касался прежде всего строгой регламентации всего рабочего времени, отработки определенных приемов выполнения конкретных операций общего технологического цикла, введения поточных линий и конвейера, темп которого должен диктовать рабочему ритм труда [8]. В основу своей теории Тейлор положил абсолютизированный принцип материальной заинтересованности, считая, что с помощью прозрачно организованной заработной платы можно предельно интенсифицировать труд рабочего. Тейлор исходил из того, что коренные интересы рабочих и предпринимателей одинаковы. Система Тейлора предполагала три этапа:

1. Исследовательский, когда производственный процесс разлагался до мельчайших элементов, замерялась производительность рабочего и на основе полученных результатов определялись нормы выработки для каждого вида работ по временным и количественным параметрам. Использование для каждого вида работ соответствующих инструментов (например, им предлагалось использование более 20 видов лопат) повышало эффективность работы. Большое внимание Тейлор уделял предварительному отбору рабочих на пригодность к выполняемой работе.
2. Аналитический, когда на основе полученных эмпирическим путем результатов составлялась инструкционная карта, в которой был описан весь порядок действий рабочего. Рабочий должен был строго следовать предписанным правилам и нормам.
3. Экспериментальный, в ходе которого на практике проверялись составленные инструкционные карты, предписания и инструкции, уточнялись нормативное время, последовательность операций, вносились соответствующие коррективы [8].

Сам Тейлор определил четыре основных принципа своей научной системы организации труда: разработка научного фундамента для каждого отдельного вида работ, существующего на данном предприятии; использование научных критериев при отборе рабочих для выполнения определенных типов работы, предварительное обучение и тренировка рабочих необходимым навыкам; сотрудничество рабочих и администрации при практическом внедрении системы труда; равномерное распределение труда и ответственности между рабочими и управляющими. Тейлор первым ввел индивидуальную дифференцированную сдельную оплату труда, основывающуюся на двух параметрах — количестве сделанной работы и ее качестве. Идея влияния человеческого фактора и психологического стимулирования на рост производительности труда родилась у Тейлора раньше, чем у Э. Мэйо в его теории человеческих отношений, но не получила дальнейшего развития в его системе научного менеджмента. Особое внимание Тейлор уделял разделению управленческих функций на всех уровнях, от низшего (мастера, работе которого он придавал большое значение) до высшего. Тейлор внес определенный вклад в развитие техники социологического исследования, применив на практике методы интервьюирования, анкетирования, наблюдения и др. К проводимым им исследованиям привлекались ученые разных профессий: социологи, инженеры, медики, антропологи и т. д. В 1930-е гг. концепция Тейлора была подвергнута критике за недостаточное внимание к человеческому фактору теории человеческих отношений. Идеи Тейлора опередили свое время и только в конце XX в. американские социологи стали активно изучать и применять его научное наследие.

*Теория человеческих отношений* — одно из направлений теории научного управления. Основателем теории считается американский социолог и психолог *Элтон Мэйо* (1880–1949)<sup>1</sup>. Главные теоретики: У. Мур,

<sup>1</sup> На формирование социологической концепции Мэйо основополагающее влияние оказало участие в знаменитом хоторнском эксперименте. Некоторые выводы, сделанные в ходе этого эксперимента, изучавшего влияние человеческих отношений на производительность труда на предприятии, были обобщены и распространены Мэйо на все общество. Мэйо различал два типа общества — индустриальное (адаптируемое) и доиндустриальное (стабильное или устоявшееся). Промышленный переворот, который обозначил переход от стабильного к индустриальному обществу, разрушил устоявшееся равновесие социальных сил общества, связей и сотрудничества между людьми. Мэйо абсолютизировал существовавшие ранее взаимоотношения между рабочими и хозяевами, систему цехового братства, присущую доиндустриальным предприятиям. Индустриализация уничтожила культурные традиции, связанные с социальной солидарностью. Технический прогресс, изменивший прежние формы общения и сотрудничества, отрицательно повлиял на психоэмоциональную сферу индивидов, спровоцировав всплеск агрессии, враждебности, соперничества, подавив исконно присущее человеку стремление к сотрудничеству и общению. Индустриализация способствует возникновению напряженности и конфликтов как внутри производственной группы, так и между различными социальными слоями. Непонимание, по мнению Мэйо, порождает конфликты между государствами и нациями. Мэйо критически оценивал современное ему индустриальное общество, отмечая высокую степень бюрократизации и институционализации этого общества [19]. Мэйо считал, что индустриальное общество нуждается в постоянной коррекции, которой должны заниматься ученые разных профессий, но прежде всего социологи и психологи. Они создают теоретическую основу т. н. социального искусства, занимающегося налаживанием позитивных связей между индивидами, группами и классами. Практическое его воплощение в обществе осуществляет индустриальная элита, на предприятиях — менеджеры. Сглаживая конфликты в производственной группе, они тем самым не дают прорасти им на более высоком уровне, сохраняя стабильность и равновесие всего об-



Ф. Ротлисбергер [25], Т. Уайтхед, У. Диксон, Ж. Фридман. Наибольшее распространение получила в 1940–1950-е гг. Однако основные теоретические положения ее были сформулированы в ходе проведения хоторнского эксперимента<sup>1</sup> в конце 1920-х — начале 1930-х гг., руководителем которого был Э. Мэйо. На эти же годы пришлось и институциональное становление этой новой области научного знания: в 1930-е гг. в Высшей школе деловой администрации при Гарвардском университете был создан Отдел по изучению человеческих отношений на промышленных предприятиях, в 1943 г. был сформирован правительственный Комитет по человеческим отношениям в промышленности.

В целом концепция Мэйо не получила широкого распространения в социологии, однако отдельные ее положения — о важности психологического фактора в развитии общества, необходимости сохранения и поддержания стабильности и социального порядка в обществе, роли элиты, особенно административной в разрешении социальных конфликтов были использованы различными социологическими направлениями.

<sup>1</sup> Хоторнский эксперимент проводился с 1926 г. в пригороде Чикаго — Хоторне, на заводах компании «Вестерн электрик», производившей телефонное оборудование. Хоторнский эксперимент осуществлялся Отделом промышленных исследований при Гарвардском университете на средства фонда Рокфеллера, затем Г. Форда, с целью изучения факторов, влияющих на повышение производительности труда рабочих. Помимо ученых в исследованиях принимали участие представители администрации компаний. В 1928 г. эксперимент возглавил Мэйо. На первом этапе исследовалось влияние физических факторов на производительность труда. Для этого отобраны бригады из шести молодых сборщиц телефонных реле и регулярно меняли условия труда работниц: интенсивность освещения и отопления, длину рабочего дня, продолжительность перерывов, способы оплаты труда, вводились некоторые льготы. Работницы были посвящены в суть эксперимента и постоянно общались между собой. Через 2,5 года производительность труда возросла на 40 %. Затем все льготные условия труда были отменены, но производительность труда продолжала расти. В результате был сделан вывод о существовании некоторых морально-психологических факторов, влияющих на производительность труда, о формировании неформальных отношений внутри группы, внутригрупповой системы ценностей, поощрений и санкций. На втором этапе изучались нормы и стандарты поведения работников на неформальном уровне. С 1928 по 1930 г. было проведено более 21 тысячи бесед-интервью с работниками компании. Сначала тридцатиминутные интервью носили характер, направленный на получение информации от рабочих о выполняемой работе, с середины 1929 г. это были полуторачасовые беседы на самые разные темы, носившие терапевтическую, успокоительную функцию, по своей теоретической основе близкую к психоанализу. В годы экономического кризиса из-за недостатка финансирования исследования были значительно сокращены и возобновлены в 1936 г. на основе новой методики как «консультирование рабочего персонала». Подобная практика была заимствована многими промышленными предприятиями и получила широкое распространение в 1940–1950-е гг. в рамках теории человеческих отношений. На основе хоторнского эксперимента были сделаны следующие выводы. 1. Внутри производственной структуры существуют неформальные организации со своими правилами и нормами поведения, системой ценностей. Эти неформальные общности, сложившиеся на основе личной склонности людей, играют для них более важную роль, чем официальные. Каждая неформальная группа имеет неформального лидера, чье влияние сильнее административного. Главной задачей исследователя на этом этапе является определение условий, при которых происходит совпадение целей неформальной группы и организации. 2. Существуют морально-психологические факторы, влияющие на производительность труда. В ходе исследования было научно доказано решающее влияние чувств, настроений, подсознательных импульсов на поведение человека. Был сформулирован новый, отличный от тейлоровского, подход к рабочему как человеку социальному. 3. В ходе проведения эксперимента существенное развитие получили методика и техника социологического исследования, практика обработки огромного массива данных и обобщения полученных результатов. Хоторнский эксперимент стал классикой проведения социологического исследования. Его результаты легли в основу теории человеческих отношений, которая на более высоком теоретическом уровне продолжила изучение роли человеческих отношений на производстве [24].

Хоторнский эксперимент открыл важность неформальных факторов в деятельности организации и повышении производительности труда. Мэйо считал, что либерализация и бóльшая свобода действий рабочего на производстве значительно повышает производительность труда. По его мнению, человек — «животное социальное», ориентированное на групповые ценности, поэтому индивидуального стимулирования недостаточно, необходимо обращение к групповым ценностям. Все проблемы производства должны рассматриваться с позиций человеческих отношений, с учетом социально-психологических факторов. Задача менеджеров производства — рациональная организация управления, учитывающая социальные и психологические аспекты трудовой деятельности человека [18].

Теория человеческих отношений возникла как оппозиция тейлоризму. Она подвергла критике тейлоровскую концепцию «экономического человека», считавшую главным стимулом человеческой деятельности материальную заинтересованность, и заменила свойственный тейлоризму биологический подход к человеку анализом психосоциальной деятельности индивида, выдвинув требование «человек — главный объект внимания». Теория человеческих отношений экспериментально показала, что наряду с материальным стимулом большое значение имеют психосоциальные факторы: сплоченность группы, в которой работает индивид, взаимоотношения с руководством, благоприятная атмосфера на рабочем месте, удовлетворенность работника своим трудом, оценка его деятельности коллегами и начальством. Основным объектом исследований теории человеческих отношений — изучение морально-психологических мотивов повышения производительности труда рабочих, выявление условий для создания оптимально эффективного климата работы предприятия и максимальной трудовой отдачи всех его работников [18]. Ее теоретическая основа эклектична: она использовала разработки многих социологических направлений. В объяснении причин поведения индивида теория человеческих отношений заимствовала идею неофрейдистов о влиянии врожденных инстинктов и подсознательных импульсов на поведение человека и формирование его потребностей. Потребности в ней разделяются в соответствии с концепцией американского социолога и психолога А. Маслоу на два вида: первичные (физиологические) и социальные (связанные со становлением личности в обществе). Насущная задача каждого общества — создание условий для полного удовлетворения личностных потребностей индивида, раскрытия его творческого и трудового потенциала. Теория человеческих отношений считала, что в поведении человека преобладают чувственные, эмоциональные мотивы, поэтому его действия часто оказываются иррациональными и нелогичными (сказывается влияние идей итальянского социолога В. Парето). Задача социолога и психолога — помочь индивиду разобраться в своих поступках. Для этого в штате каждого предприятия должны быть предусмотрены соответствующие должности. Используя социометрические методы Дж. Морено, представители теории человеческих отношений предложили измерять морально-психологический климат в производственной группе количественно и представлять его в виде различных социограмм, дающих наглядное представление об отношениях в коллективе. С помощью составленных социограмм, по их мнению, можно улучшить отношения в группе и тем самым повысить

эффективность ее работы. Теория человеческих отношений включала и социолингвистический аспект, она изучала средства общения и способы передачи информации рабочими в процессе трудовой деятельности, специфику и структуру их языка. Результаты исследований, проведенных в рамках этого направления, оказали большое влияние на развитие индустриальной социологии и социологии труда. В 1960–1970-е гг. теория человеческих отношений была подвергнута серьезной критике, особенно со стороны эмпирической школы П. Дракера, назвавшего ее «социальной демагогией». Дальнейшее развитие теории пошло по пути углубления полученных концептуальных результатов и формирования новых направлений, таких как организация управления, теория гибкого подхода к человеческим ресурсам, системного подхода к использованию рабочей силы, человеческого капитала, направленных на изучение социальной и производственной активности рабочего, улучшения содержания труда.

*Теория бюрократии*<sup>1</sup>. Классическая теория бюрократии как теория наиболее рационального управления коллективной деятельностью была разработана немецким социологом Максом Вебером. Большинство современных социологов в своих исследованиях проблем бюрократии опираются на понятия, заложенные Вебером еще в самом начале XX столетия. В 1940–1960 гг. свой вклад в теорию бюрократии внесли такие социологи, как Р. Мертон, Ф. Селзник, П. Блау, А. Гоулднер и другие.

Теория бюрократии М. Вебера, так же как и общая теория социальной организации [27; 28], построена главным образом на понятии рациональности. Рациональность и эффективность функционирования организации Вебер вслед за Сен-Симоном, связывал с разработкой научных методов управления и создания штата технических специалистов, в руках которых и должна находиться вся полнота власти в организации.

Теория бюрократии М. Вебера основывается на разработанной им концепции «идеальных типов», занимающей важное место в методологии социальных наук. Основным методом социальных наук, по Веберу, является идеализация, поскольку теоретические понятия в них являются не отражением реальных исторических процессов, а чисто идеальными, логическими конструктами. «Этот мысленный образ или конструкт соединяет определенные отношения и явления исторической жизни в свободный от противоречий комплекс мысленно создаваемых связей. По своему характеру эта конструкция носит характер утопии, которая получается путем мысленного выдвигания на первый план определенных элементов действительности» [28, 234]. Идеальный тип создается путем «одностороннего выдвигания одной или нескольких точек зрения и соединения множества, рассеянных и раздельно существующих (здесь больше, здесь меньше, а местами и вовсе не встречающихся) отдельных явлений, которые

<sup>1</sup> В социологической литературе понятие бюрократии имеет несколько значений:

- 1) способ управления через «бюро», то есть специальные органы управления, независимые от управляемых и отчужденные от них;
- 2) социальную группу, осуществляющую этот тип руководства, связанную корпоративными интересами и системой ценностей;
- 3) социологическую концепцию рационализации коллективной деятельности;
- 4) в обыденном смысле — обозначение дисфункциональных, отрицательных проявлений системы управления: формализм, рутину, косность, слепое следование предписанным инструкциям, бездушие и пренебрежение интересами людей.

подходят под эти односторонне выдвинутые точки зрения, в одну, объединяющую мысленную картину. Этот мысленный образ в его абстрактной чистоте эмпирически нигде нельзя найти в действительности, он есть утопия, и для историка возникает задача в каждом отдельном случае установить, как близко или как далеко от этого идеального образа стоит действительность...» [там же, 235].

Следовательно, по Веберу, может существовать несколько идеальных типов одного и того же исторического явления, и каждый будет соответствовать этому данному историческому явлению. Идеальный тип служит средством, с помощью которого конкретные явления могут быть сравнены и измерены. Идеальная конструкция позволяет выявить отклонения индивидуальных явлений от рационального хода событий. Идеальный тип представляет собой заведомое упрощение и идеализацию сложности и многообразия социальных явлений, осуществленных историком или социологом в целях систематизации данного ему эмпирического материала и дальнейшего его сопоставления и изучения.

Бюрократия у Вебера и является таким идеальным типом. Он полагал, что в развитом капиталистическом обществе самой рациональной формой организации является бюрократия. Вебер вообще считал бюрократическую рациональность воплощением рациональности капитализма. С этим он связывал решающую роль, которую должны играть в бюрократической организации технические специалисты, пользующиеся научными методами работы, — черта, роднящая веберовскую концепцию бюрократии с сен-симоновским представлением о ней.

Вебер рассматривал капиталистическое общество как самое рациональное общество, способное дать наибольшую эффективность, быстроту в достижении целей, поставленных перед организациями. Капиталистическое общество создает все условия для развития и эффективного функционирования бюрократии. Согласно Веберу, бюрократическая организация характеризуется:

- а) эффективностью, которая достигается за счет строгого разделения обязанностей между членами организации и возможности использовать высококвалифицированных специалистов на руководящих должностях;
- б) строгой иерархизацией власти, позволяющей вышестоящему должностному лицу осуществлять контроль над выполнением задания нижестоящими сотрудниками;
- в) формально установленной и четко зафиксированной системой правил, обеспечивающей единообразие управленческой деятельности и применение общих инструкций к частным случаям и в кратчайший срок;
- г) безличностью административной деятельности и эмоциональной нейтральностью отношений, складывающихся между функционерами организации, где каждый выступает не как индивид, а как носитель социальной власти, представитель определенной должности [28].

Основные веберовские положения теории бюрократии можно свести к следующим:

1. Бюрократическая власть может быть установлена путем согласия. Это означает повиновение по крайней мере одной части членов организации другой части. Члены корпоративной группы находятся в опреде-

- ленных социальных отношениях и выполняют определенные функции, поставленные перед организацией.
2. В каждой организации существует система абстрактных правил, самой же организацией созданная. Выполнение этих правил обязательно в каждом конкретном случае.
  3. Типичный представитель власти занимает «должность». Общение с другими членами организации происходит не как с конкретными индивидами, а как носителями занимаемых должностей.
  4. Члены корпоративной группы подчиняются лицу, обладающему властью не как индивиды, а как некие безличные персоны. Следовательно, обязательное повиновение существует только в сфере рационально определенных границ власти [там же].

Рассмотрим некоторые веберовские принципы бюрократии, которые и сейчас актуальны для теории бюрократии: техническую эффективность, предсказуемость, безличность и быстродейственность.

*Техническая эффективность* основывается на принципе специализации. Этот принцип означает использование квалифицированных специалистов на руководящих должностях. Метод работы специалистов в любой сфере труда значительно отличается и превосходит метод работы дилетанта или любителя. В формальных бюрократических организациях существует система строгих абстрактных правил, следование которым является обязательной функцией администратора. На эту систему абстрактных правил должностное лицо опирается в своих решениях, поэтому оно в состоянии за короткий срок разрешить на основе унификации этих правил большое количество частных проблем. Отсюда вытекает такая черта бюрократии, как *быстродейственность*. Но это было бы невозможно, если бы при этом администратор считался с индивидуальными особенностями каждого дела. Для того чтобы успешно руководить сложными организациями, руководитель должен руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. При решении проблем администратор должен отбросить личные чувства симпатии или враждебности и быть эмоционально свободным. Это указывает на еще одну особенность бюрократии — *безличность*. Следование во всех случаях системе принятых правил, и существование строгой иерархии дает возможность предвидеть результаты деятельности организации. *Предсказуемость* составляет еще одно из важных преимуществ бюрократического управления. Принцип назначения на должность необходим в бюрократической системе для достижения строгой дисциплины. Назначение какого-то лица на данную должность зависит прежде всего от квалификации данного индивида, а уже потом от «справедливости» начальника. Но т. к. в бюрократической системе должностные лица подходят к выполнению своих обязанностей (во всяком случае, должны подходить именно так), отбросив свои личные симпатии и антипатии, есть все основания предполагать, что данную должность займет лицо, действительно подходящее для этого и имеющее для этой должности все необходимые знания и умения. В связи с этим следует заметить, что значение технической квалификации в сложной организации постоянно возрастает и подчас играет решающую роль. Однако самые высокие должности в бюрократии выборные. Эти выборные лица должны выражать волю избирателей. «Выборные высшие должност-

стные лица определяют цели организации, но технические процедуры для достижения этих целей разрабатывает большой бюрократический аппарат» [28, 362].

Важнейшим свойством бюрократической организации является осуществление контроля на всех уровнях производства и управления. Основой контроля служат технические знания, без которых контроль был бы не эффективным. Контроль также подчинен строгому принципу иерархии: деятельность нижестоящего должностного лица контролирует вышестоящее лицо. Контролирующая власть присуща должности, а не конкретному лицу, занимающему данную должность. Лицо, осуществляющее контроль выступает как некая безличная сила. Подчинение в бюрократии Вебер рассматривал как некую самоцель: нижестоящее должностное лицо должно повиноваться вышестоящему уже по одному тому, что оно в иерархии рангов занимает высший пост.

Чистый тип бюрократии, обладающий перечисленными чертами, способен достичь высшей степени эффективности. Примеры бюрократических организаций можно найти повсюду: на предприятиях, в больницах, партиях, церквях и т. п. В наиболее чистом виде бюрократическая организация встречается в армии. Самой большой и влиятельной в любом обществе является государственная бюрократия. Бюрократия проникает во все сферы общественной жизни и представляет угрозу для демократии. Вебер видел эту опасность бюрократии в «деперсонализации» индивидов. Признавая эффективность бюрократии, Вебер выражал опасение, что ее неизбежное повсеместное развитие приведет к подавлению индивидуальности, утрате ею личностного начала [28, 447]. Тем не менее он всегда оставался защитником бюрократического стиля общественной организации. Оценивая роль бюрократии в жизни общества современного типа, Вебер писал: «Прежде всего бюрократизация открывает максимальные возможности для осуществления принципа разделения труда в административном управлении на основе чисто технических соображений распределения индивидуальных задач между исполнителями, которые обучены как специалисты и постоянно совершенствуются в процессе практической деятельности. „Профессиональное” исполнение обязанностей в этом случае — это выполнение их безотносительно к личности, в соответствии с правилами... Бюрократия осуществляется тем успешнее, чем более она „деперсонализируется”, т. е. чем ближе она к состоянию, которое провозглашается ее отличительным качеством, — исключение любви, ненависти и всякого личного, в особенности иррационального и неподдающегося учету чувства при исполнении служебных обязанностей. На место руководителя старого типа, который руководствовался симпатией, благожелательностью, благородством и чувством достоинства, современная культура требует эмоционально безразличного и, следовательно, „профессионального” специалиста; и чем более сложен и специализирован аппарат, тем более он необходим. Все эти элементы обеспечиваются бюрократической структурой. <...> Массы сегодня нуждаются в услугах администрации. Существует единственный выбор: между бюрократией и дилетантизмом в сфере управления» [28, 350–351].

Дальнейшее развитие теории бюрократии в послевеберовский период связано с постепенным отходом от идеальной модели бюрократии и пе-

реходом к построению более реалистической модели, рассматривающей бюрократию как естественную систему, включающую наряду с рациональными, формальными, безличными моментами — моменты иррациональные, неформальные, личностные.

### 3. МОДЕЛИ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА

В 1940-х гг. Роберт Мертон обратил внимание, что веберовская идеальная модель бюрократической организации в действительности функционирует не с той степенью эффективности, которую можно было бы ожидать, а подчас и вообще неэффективно. Причину такого положения Мертон увидел в дисфункциях бюрократической организации [21]. Он выявил, что одна из главных черт бюрократии — эффективность, на деле приводит к следующим результатам:

- 1) «эффективность бюрократии требует беспрекословного подчинения и прямой привязанности к инструкциям;
- 2) такая привязанность к правилам ведет к трансформации их в абсолюты, они не могут больше рассматриваться как относящиеся к данной совокупности целей;
- 3) это мешает быстрому приспособлению к особым условиям, не предусмотренным теми, кто создает правила;
- 4) таким образом, сами элементы, которые ведут к эффективности в целом, в конкретных случаях порождают неэффективность» [21, 366].

*Смещение целей* — основная проблема, возникающая в организации и приводящая к неэффективности ее функционирования: когда первоначальные цели организации замещаются второстепенными, побочными или же целями, направленными исключительно на самосохранение организации.

Причины смещения целей различны. Так Ф. Селзник считал, что источник смещения целей находится в делегировании организацией части своих полномочий отдельным подсистемам организации, что приводит к возникновению у последних своих собственных интересов и целей, вступающих в противоречия с общеорганизационными. С точки зрения Дж. Марча и Г. Саймона, процесс смещения целей возникает при нарушении сложившегося в организации баланса между основными и вспомогательными целями организации и распределения между ними организационных ресурсов и сил в пользу последних. Смещение целей происходит и в том случае, если подсистемы организации наделены большой степенью автономии и действуют как самостоятельные единицы, не согласовывая свои действия с общеорганизационной практикой. Замена целей вероятна при низкой степени их интернализации членами организации, когда приоритет отдается «операциональным», сиюминутным, частным интересам вместо интересов и целей организации в целом. Решением проблемы смещения целей в таких случаях является выработка механизмов социализации всех членов организации, интернализации всеми членами организации ее общих целей. Для преодоления этого дисфункционального явления используется также операционализация цели, т. е. разработка критериев, позволяющих отделить главные, общеорганизационные цели от второстепенных, вспомогательных.

Таким образом, причины перемещения целей и, следовательно, причины дисфункций зависят от того, насколько члены организации прониклись соответствующими мнениями и чувствами, такими как «верность своему долгу», четким выполнением своих функций, ограничением своей власти производственной сферой и т. д. Смещение целей создает такие отрицательные явления в бюрократической организации, как формализм, косность, ритуализм. «Формализм и даже ритуализм вытекают с неоспоримой настойчивостью из педантичной привязанности к формализованным процедурам. <...> Крайний продукт процесса смещения целей есть бюрократ-виртуоз, который никогда не забывает простого правила, связывающего его действия, и, следовательно, неспособен помочь большинству своих клиентов» [21, 367].

*Власть в организации* является фундаментальной проблемой любой организации. Каждая организация имеет руководящий аппарат, наделенный полномочиями принятия решения о деятельности организации. В организации идеального типа власть должна принадлежать техническим специалистам, которые на основе имеющихся знаний способны принимать наиболее эффективные решения, направленные на достижение поставленных перед организацией целей. Основываясь на известном положении концепции Вебера о двух видах власти, А. Гоулднер выделил два типа бюрократии: представительная бюрократия и бюрократия, опирающаяся на наказание или карательно-централизованная. По Гоулднеру, для представительной бюрократии характерна власть, «опирающаяся на знания и умения». Она подразумевает также совместное или двустороннее принятие правил организации заинтересованными сторонами. Правила санкционируются участниками на том основании, что служат средством к достижению желаемых целей. Для обеспечения соблюдения этих правил применяются методы убеждения и воспитания» [17, 448–449]. Примером проявления такой власти может быть принятие членами организации правил техники безопасности, подчинение которым происходит всеми участниками добровольно. «Бюрократии же, опирающейся на наказание, свойственны власть, основанная на простом пребывании в должности, одностороннее принятие правил организации, соблюдение которых обеспечивается обычно с помощью угроз и наказаний. Опирающаяся на наказания бюрократия возникает отчасти из-за расхождения в целях организации. Когда повиновение превращается в самоцель, власть узаконивается самим фактом пребывания в должности, а подчиненным приказывают делать то, что не отвечает их собственным целям» [там же]. Сосуществование этих двух видов власти достигается редко, и в организациях, где это происходит, часто возникают конфликты, социальная и организационная напряженность.

В современных сложных организациях законной основой власти администратора считается его профессиональная компетенция: «соответствие администратора занимаемой им должности определяется на основе того, что они знают о данной организации, или на основе их профессиональной подготовки, а не того, с кем они знакомы» [17, 461]. Но может сложиться так, что администратор не имеет достаточной подготовки для руководства данной организацией или вообще не является специалистом в данной области, и в его производственной компетенции сомневаются его



подчиненные. В таких случаях встает проблема узаконения власти администратора-неспециалиста. Здесь могут возникнуть следующие ситуации. Во-первых, «даже в высоко рациональных и технически специализированных организациях, власть узаконивается в известной мере все еще на сугубо правовых основах. Иными словами, облеченные властью лица уполномочены повелевать, контролировать и распоряжаться на основе простого пребывания в должности. Следовательно, в одной и той же организации одновременно действуют два в корне различных критерия узаконения власти...» [17, 461–462].

Во-вторых, администратор может добровольно ограничить контроль и оценку работы подчиненных. Начальник отказывается от контроля над всем производственным процессом подчиненного, предоставляя ему свободу действий в решении производственных задач. Для него важен лишь конечный результат, и по нему он оценивает деятельность подчиненного. Однако здесь может возникнуть конфликт между начальником и подчиненным. Начальник требует результатов, а для подчиненного важно соблюдение технически правильного производственного процесса, которое дает ему определенный социальный вес среди его коллег.

В-третьих, в организации может практиковаться метод выделения управления как некоей самостоятельной сферы, специализирующейся на «работе с людьми». Для более успешного руководства такого типа администраторы работают с учетом последних достижений современной социологической и психологической науки. Однако этот метод может привести к конфликту между старым и новым поколением управляющих элит.

*Делегирование.* Для современной сложной организации важной является проблема распределения властных полномочий внутри нее. Одним из средств ее решения может служить делегирование или метод организационной децентрализации власти посредством передачи части полномочий всей организации ее отдельным подразделениям. Исследования, проведенные Ф. Селзником, показали, что делегирование ведет к образованию промежуточных звеньев в управленческом аппарате, которые часто преследуют свои собственные цели в ущерб общеорганизационным. Вновь созданный управленческий аппарат подразделения стремится захватить большую часть властных полномочий и контроля над деятельностью всей организации. Таким образом внутри организации возникает конфликт между отдельными управленческими элитами. Каждая административная единица в этой борьбе защищает свои собственные интересы и преследует собственные цели, направленные на усиление положения своего подразделения, а не на достижение поставленных перед всей организацией целей и задач. Таким образом, делегирование может привести к замещению первичных организационных целей вторичными, «операционными». Кроме того, разрастание административного штата организации ведет к усилению бюрократизации всей организации.

Однако делегирование власти организацией ее отдельным подразделениям имеет и положительный эффект, поскольку оно приводит к усилению роли квалификации и специализации в организации. Как отмечал Вебер: «Сосредоточение внимания на относительно малом количестве проблем увеличивает опыт в этой ограниченной области. Механизм делегирования ведет к уменьшению различий между целями организации и

результатами ее деятельности, и это порождает еще большее делегирование. В то же время делегирование приводит к бюрократизации и обострению противоречий интересов разных групп в организации» [27, 94].

*Контроль и предсказуемость в организации.* Одним из достоинств бюрократической организации считается предсказуемость, как действий членов организации, так и конечного результата организации в целом, поскольку в основе деятельности и администрации и рядовых членов лежит принцип строгого следования предписанным организацией правилам при решении организационных задач. Однако здесь может возникнуть еще одна проблема — проблема *контроля* над деятельностью и поведением членов организации. Система как жесткого, так и гибкого контроля, предпочитаемая какой-либо организацией, также может привести к неэффективности и в конечном счете к замене первоначальных целей организации второстепенными, когда контроль над деятельностью членов организации превращается в самоцель. Кроме того, система строгого контроля может привести по меньшей мере к трем дисфункциональным следствиям:

- 1) к развитию чувства самоуспокоенности и безошибочности;
- 2) к схематизму в решении конкретных случаев;
- 3) к увеличению трудностей с клиентами организации, возникающих при злоупотреблении властью должностными лицами.

Рассмотрим некоторые последствия различных типов управления и контроля в организации — формального (жесткого) и гибкого (свободного).

В организации с формальным способом управления существует низкая степень свободы действий, в то время как гибкость в управлении организациями позволяет членам организации проявлять инициативу, знания в процессе работы. Понятие свободы действий в теории организации определяется комбинацией трех положений относительно выполнения работы:

- 1) какие задачи рабочий исполняет в течение данного периода времени;
- 2) как и какими методами;
- 3) в какой последовательности рабочий исполняет свое задание.

Свобода действий индивидов проявляется тогда, когда сам характер работы или заведенные порядки управления дают возможность исполнителям подойти к решению проблемы не автоматически, а изыскивая каждый раз лучший способ решения конкретной задачи. В этом случае администратор должен положиться на здравый смысл рабочего или инженера.

Свобода действий в бюрократических организациях зависит от трех факторов: предсказуемости рабочих действий; контроля со стороны менеджмента и его профессионализации.

Низкая степень предсказуемости в организации делает возможным для рабочих или инженеров использование в работе своих знаний, умения, творческого подхода к решению задачи, увеличивая тем самым эффективность производства. В организациях же с высокой степенью предсказуемости существование жестких правил, следование которым является обязательным во всех случаях, лишает рабочих и инженеров свободы самостоятельного принятия решения. Таким образом, на свободу действий исполнителя посредством предсказуемости напрямую влияние оказывают два фактора: жесткость контроля и система абстрактных правил (оба являются компонентами контроля со стороны менеджмента). Если управ-

ляющий будет контролировать слишком жестко исполнение задания рабочими, то они, естественно, будут сопротивляться такому жесткому контролю, в результате чего будут создавать непредвиденные администратором ситуации и, соответственно, степень эффективности организации уменьшится.

В то же время в организациях с высокой степенью предсказуемости и, следовательно, с низкой степенью свободы действий контроль для администратора облегчен. В организациях же с низкой степенью предсказуемости и высокой степенью свободы действий жесткой линии власти не может быть, в этом случае от администратора требуется гибкий и творческий подход.

Профессионализация способствует увеличению степени свободы действий исполнителей, поскольку обладающие большим знанием и умением рабочие и инженеры более эффективно решают поставленные перед ними задачи. Чем выше профессиональное обучение исполнителя, тем ниже степень контроля со стороны менеджмента. В организациях типа «высокая предсказуемость — низкая степень свободы действий» администраторы в состоянии довольно точно определить методы и последовательность исполнения задания рабочим, что облегчает контроль над выполнением заданий.

*Бюрократия и политика.* Одним из важных вопросов, возникающим при рассмотрении деятельности любой социальной или бюрократической организации, является вопрос о политическом аспекте ее деятельности.

Значительный вклад в эту область внес П. Блау. Широкое применение получило его исследование соотношения бюрократии и демократии в обществе. Основной вывод, сделанный им, состоял в том, что демократическое и бюрократическое устройства образованы на разных принципах: свобода мнений для демократии и эффективность для бюрократии. В то же время демократические цели не могут быть достигнуты без бюрократических принципов, поэтому существование таких бюрократий не разрушает демократических ценностей. Демократия в любом государстве зависит от существования оппозиционных партий. Они отражают спектр различных мнений людей и влияют на политику действующего правительства. Для выполнения этой важной миссии партии должны иметь четкую структуру, ясно сформулированные цели, строгую дисциплину и т. п., т. е. должны быть организованы по бюрократическому принципу. Фактически демократические партии также организованы по бюрократическому принципу. В целом бюрократия представляет серьезную угрозу для демократии. Прежде всего она создает глубокое неравенство власти, способствует концентрации власти у правящей элиты, что может привести к тоталитаризму. Блау писал: «Быстрый рост бюрократии угрожает демократии разными способами. Но даже если бы его и можно было ликвидировать, мы сделали бы это неохотно, т. к. не хотим отказываться от выгод, которые извлекаем из него» [14, 117]. Для использования бюрократии необходимо найти демократические методы контроля над ней.

Проблема взаимоотношения бюрократии и демократии, власти и общества была характерна не только для американского общества 1940–1960-х гг., но и для большинства развитых европейских стран того времени. Исследования американских социологов оказали существенное влия-

ние на проблематику исследований многих западноевропейских социологов. Несмотря на то что в американской социологии середины XX в. политический аспект бюрократизации общества рассматривался весьма активно, исследования европейских ученых оказались приоритетными по ряду проблем политического характера и, в свою очередь, были приняты на вооружение многими американскими социологами. В этом отношении интересна позиция немецкого социолога Р. Михельса, исследования которого оказали фундаментальное влияние на развитие социальной и политической науки. Исследовав проблемы концентрации политической власти в руках бюрократии и вопрос о соотношении бюрократизации как политического процесса и бюрократической организации как технического средства для достижения заданных целей, он пришел к выводу, что эти явления связаны между собой: на рост бюрократизации непосредственно влияет процесс замещения первоначальных целей организации некоторыми политическими целями. Рассмотрев бюрократию через понятия «государство» и «власть», Михельс отметил олигархические тенденции бюрократии. По его мнению, все современные организации большого размера являются олигархическими, в них формируется структура, препятствующая развитию демократии [22]. Реальная демократия, согласно Михельсу, подразумевает, что все члены организации непосредственно участвуют в политическом процессе принятия решения. Однако технически это трудно осуществимо, к тому же рядовые члены организации мало подготовлены участием в таком процессе. Для лидера же подобная ситуация создает условия для монополизации власти. С концентрацией власти интересы лидера и властвующей элиты перестают совпадать с интересами масс, более того, целью их деятельности становится охрана своей власти в организации, даже если их деятельность подвергает опасности само существование организации.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959.
2. Мильнер З.Б. Теория организации. М., 1999.
3. Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 1995.
4. Пригожин А.И. Социология организаций. М., 1980.
5. Рогожин С.В. Теория организаций. М., 1998.
6. Социология сегодня. М., 1965.
7. Тейлор Ф.У. Административно-техническая организация промышленных предприятий. М., 1912.
8. Тейлор Ф.У. Научная организация труда. М., 1925.
9. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. М., 1991.
10. Тейлор Ф.У. Усовершенствование системы сдельной оплаты. СПб., 1914.
11. Франчук В.Ч. Общая теория социальных организаций. М., 2001.
12. Эпштейн С.И. Индустриальная социология в США. М., 1972.
13. Barnard C. The function of the executive. Cambridge, 1940.
14. Blau P. Bureaucracy in modern society. N.Y., 1956.
15. Blau P. The study of formal organization // American sociology. Perspectives, problems and methods / ed. by T. Parsons. N.Y.;L., 1968.
16. Crosier M. Le phénomène bureaucratique. P., 1963
17. Gouldner A.W. Patters of industrial bureaucracy. N.Y., 1965.

- 
18. *Mayo T.* The human problems of an industrial civilization. N.Y., 1933.
  19. *Mayo T.* The social problems of an industrial civilization. Boston, 1947.
  20. *March J.G.*, *Simon H.A.* Organization. N.Y., 1958.
  21. *Merton R.* Social theory and social structure. N.Y., 1957.
  22. *Michels R.* Zur Soziologie des Parteiwesens in der modern Demokratie. Bonn, 1970.
  23. *Osborn R.N.* Organization theory. N.Y., 1990.
  24. Organizations and human behavior / Ed. by G. B. Bell. N.Y., 1967.
  25. *Roethlisberger F.*, *Dickson W.* Management and worker. Cambridge, 1939.
  26. *Selsnick F.* Foundation of the theory of organization // American sociological review. 1948. № 13.
  27. *Weber M.* Law in economy and society. Cambridge, 1954.
  28. *Weber M.* The theory of social and economic organization. N.Y., 1947.

## МЕНЕДЖЕРИЗМ — ИДЕОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

### 1. ТЕОРИЯ «МЕНЕДЖЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЩЕСТВЕ

Многие американские социологи до сих пор исповедуют доктрину «менеджерской революции», основная идея которой — вытеснение класса капиталистов классом управляющих и решающая роль последнего в развитии посткапиталистического общества — была выдвинута в 1941 г. *Джеймсом Бёрнхемом* (1905–1987).

Теория «революции менеджеров» имеет давнюю историю и восходит, по мнению современного американского социолога М. Цейтлина, к идеям Гегеля и Маркса о сущности и роли корпораций в капиталистическом обществе. Второй этап ее развития относится к концу XIX — началу XX в. В эпоху «семейного капитализма» теоретики германской социал-демократии Э. Бернштейн и К. Шмидт заявили, что собственность в своей корпоративной форме есть признак наступающего процесса отчуждения сущности капитализма. Согласно этой теории, класс капиталистов постепенно вытесняется административной стратой, интересы которой противоположны интересам собственников [5, 1080–1081].

Спустя 40 лет тот же тезис был провозглашен А. Берлом и Г. Минсом, став источником теории менеджерского капитализма. В подтверждение постулата, что «разложение атома собственности разрушает тот фундамент, на котором строился экономический порядок последних трех веков» [20, 8], они привели следующие данные: около 65 % крупнейших корпораций США контролируются или менеджментом, или с помощью особого механизма, который включает небольшую группу (меньшинство) акционеров [2, 110]. С тех пор, т. е. после 1932 г., эмпирические данные Берла и Минса стали источником значительного числа теоретических обобщений при изучении отделения собственности от контроля. В 1945 г. Р. Гордон при помощи вторичного анализа подтвердил данные Берла и Минса, а несколько позднее Д. Лернер, используя и сам метод Берла–Минса применительно к 500 крупнейшим корпорациям, пришел к аналогичным выводам. Мысль об особой роли управляющих в корпорации и миссии менеджмента в обществе высказывает в 1946 г. и ведущий теоретик менеджмента П. Дракер. В 1953 г. П. Сорокин заявил о трансформации капиталистического класса в менеджерский, а Т. Парсонс — о переходе контроля над производством, принадлежавшего когда-то семьям — соб-

ственникам корпораций, к управленческому и техническому персоналу. В 1958 г. Д. Белл ввел термин «молчаливая революция» для обозначения «менеджерской революции» и дал ей свою интерпретацию. В 1959 г. Р. Дарендорф, виднейший теоретик менеджизма, отмечал, что законная собственность и формальный контроль отныне разделены окончательно и поэтому традиционная теория классов потеряла какую-либо аналитическую ценность. В 1960-е гг. поток литературы о «менеджерской революции» увеличивается, появляются работы Р. Симсона, Г. Ленского, Э. Гидденса, Й. Шумпетера, Р. Самуэльсона, Н. Смелзера и других.

Однако в 1970-е гг. растёт недоверие к официальной доктрине «менеджерской революции». Все более очевидна противоречивость эмпирических данных и неясность теоретической аргументации основной идеи этой доктрины. Возникает необходимость проверки ее на новом витке эволюции капитализма с использованием новейших технических средств эмпирической социологии. Успешными в этом направлении являются, на наш взгляд, попытки молодых американских социологов М. Цейтлина, М. Аллена, Д. Джеймса и М. Сорейфа. Однако прежде чем перейти к их анализу, рассмотрим содержание самой теории «менеджерской революции».

Суть концепции сводится к следующим базисным утверждениям. Правящий класс и класс, являющийся субъектом производства, не идентичны, что подразумевает: 1) как более частный процесс — все возрастающее отделение собственности от контроля; 2) как более общий и универсальный процесс — замещение капиталистов менеджерами. Отделение собственности от контроля означает сосредоточение его в руках менеджеров, что позволяет им занимать господствующее положение в корпорации. Последнее, в свою очередь, сказывается на переориентации политики предприятия с максимизации прибыли на более «гуманистические» ценности. Как базисные положения, так и следствия из них представляют собой не аксиоматические утверждения, а гипотетические допущения и должны быть подвергнуты эмпирической проверке. Однако многие американские социологи, забыв об этом, манипулируют ими как доказанными принципами.

Идея «революции менеджеров», имевшая когда-то самостоятельное и независимое существование, по мере своей концептуализации превратилась в составной элемент более общей теории структуры капиталистического общества. На основании того, что собственники все больше вытесняются и контроль становится не функцией капитала, а технической компетенцией профессиональных управляющих — лиц наемного труда с постоянным жалованьем, Белл и Парсонс заключили: традиционная теория классов должна быть заменена профессиональной системой, основанной на индивидуальных достижениях, в которой «статус группы» иерархически конституируется ее функциональной значимостью [56, 1076]. Поскольку собственники вытеснены из социальной структуры лицами наемного труда, постольку исчезает классическое противоречие между трудом и капиталом, т. к. менеджеры (руководители) и наемные рабочие (подчиненные), объединенные в рамках одной производственной системы, формально принадлежат к одной социальной группе — наемным работникам. Такое умозаключение позволило Беллу заявить, что частная соб-

ственность стала фикцией, а Дарендорфу — вывести противоречие между трудом и капиталом за сферу социальных отношений.

В основе тезиса об отделении собственности от контроля, согласно Цейтлину, лежит концептуальная и аналитическая путаница, источник которой — «телеология бюрократических императивов». ИмPLICITно теоретики «менеджерской революции» абсолютизировали бюрократизацию как исторически обусловленный процесс, приводящий к падению власти собственников. Тенденция к бюрократизации предпринимательства и менеджмента рассматривалась как показатель присвоения управляющими той власти, которая раньше принадлежала собственникам капитала. В таком подходе смешивались два различных момента: существование огромного бюрократического аппарата в крупных корпорациях, где доля семей-собственников в управлении незначительна, и субъект контроля над этим аппаратом. Институционализация управленческих функций, ранее единолично выполнявшихся собственником, и распределение их между различными позициями в бюрократическом аппарате вовсе не означают, полагает Цейтлин, тождественности бюрократического управления и бюрократического контроля [56, 1077].

В свое время М. Вебер говорил, что контроль над личностями в организации осуществляют менеджеры в интересах частной собственности. Тот факт, что собственник больше не может присваивать управленческие функции, означает скорее не отделение контроля от собственности, а отделение от нее управленческой функции. Вебер отмечал, что контроль над позициями менеджеров может оставаться в руках собственников, осуществляясь со стороны, а не из организации. Цейтлин присоединяется к точке зрения Вебера, которая, по существу, противоречит идее «менеджерской революции», и задает вопросы, ответы на которые даются в ходе решения основной проблемы: в чьих руках находится контроль? Поскольку власть — субстанция, невидимая для глаз, и там, где она существует, ее умышленно пытаются скрыть, социолог сталкивается с рядом трудностей методологического и методического характера. Например, не существует официального списка крупных корпораций, проранжированных по критериям величины торгового оборота, имущества или прибыли. Но еще сложнее получить информацию о контроле в корпорации. Для установления субъекта контроля (индивид, семья, группа) необходимо знать число акционеров и долевое владение каждого, однако «списки акционеров» обнаружить чрезвычайно трудно. Кроме того, купля или владение акциями нередко осуществляются подставными лицами. По мнению Цейтлина, о бедных классах и социальных слоях можно получить гораздо больше информации, нежели о богатых семьях [56, 1112].

Серьезные разногласия у исследователей вызывает и критерий контроля: какой долей акций должно владеть меньшинство, чтобы контролировать собственность корпорации? У Берла и Минса эта доля равнялась 20 %, у Лернера, Монсена, Хиндли, Шихана — 10 %; а согласно данным Питманского комитета, в условиях существующей в крупных корпорациях распыленности капитала эффективный контроль гарантирован при менее чем 5 %. Но даже правильно найденный критерий не обеспечивает требуемой строгости измерения. Цейтлин исходит из того, что современный уровень научной строгости исследования обеспечивается не столько



благодаря применению универсальных и эффективных математических средств анализа, сколько благодаря изучению конкретной ситуации, а также истории корпорации. Только знание критических точек роста корпорации (ее основания, нормального функционирования и расширения) и выявление тех индивидов, семей или коалиций акционеров, которые, находясь на ключевых позициях контроля, оказывали решающее влияние в эти критические моменты, обнаружит истинных субъектов контроля [56, 1088].

Метод исследования конкретных ситуаций Цейтлина предполагает установление модели холдинга (владения акциями) и ее эволюции, связи с другими корпорациями; формы личных союзов или соединений (интерлокаций) между корпоративными директоратами, а также между главными чиновниками, директорами и главными акционерами; связи с банками как с «финансовыми институтами» и как с самостоятельными агентами. Другими словами, следует детально изучить институционализацию крупной фирмы и классовую структуру, в которую она включена [56, 1108]. В современном научном исследовании абстрактные универсальные модели социальной структуры должны быть заменены анализом конкретных классов, связанных с реальными историческими процессами, в рамках которых они сформировались [56, 1112].

Трудности возникают и при концептуализации термина «контроль». Этот вопрос Цейтлин считает не менее важным, чем надежность полученной информации. От того, каким образом определено понятие контроля, т. е. в какую сторону направлен исследовательский поиск, будут зависеть и конечные результаты. Можно понимать контроль как прерогативу выбирать совет директоров (Берл), как способность навязывать совету свою политику (Гольдшмидт и Пармели) или связывать контроль с минимальным долевым владением блока меньшинства. Но в любом случае концептуализация указанного понятия осуществляется с помощью единственного критерия. Так как методы и формы контроля многообразны и не поддаются очевидной классификации, Цейтлин предлагает не ограничиваться одним критерием, а раскрывать конкретную ситуацию во взаимосвязи нескольких критериев. Соответственно этому меняется и стратегия поиска. Социолог уже больше не ограничен рамками статистики (величиной торгового оборота, активов, положением на рынке и т. д.), а проникает в глубь явления, выясняя расстановку сил в борьбе за власть, состав соперничающих группировок, их намерения, цели и средства, используемые в этой борьбе. Такой подход ближе не к «поведенческому», а к «структурному» анализу. Несмотря на все положительные достоинства методологических принципов Цейтлина, позволяющих считать проведенное исследование шагом вперед в изучении проблемы «менеджерской революции», данное им определение центрального понятия «контроль» [56, 1091] не является достаточно четким и конкретным.

Особая проблема — выяснение семейных «сфер влияния» в корпорации. В США существуют семьи, которые одновременно контролируют несколько корпораций. Одно только семейство Меллонов контролирует (прямо или косвенно) 4 крупнейшие нефинансовые корпорации, инвестиционный банк, страховую компанию и 15 крупных коммерческих банков [55, 1101]. Такая семья, имея небольшую долю акций во многих корпора-

циях и разветвленные связи, может оказаться влиятельнее более крупного, чем она, но индивидуального держателя акций. Последнее обстоятельство вынуждает индивидуальных держателей вступать в блок с влиятельной группой или семьей [55, 1098–1099]. По-видимому, вместо наблюдаемого социального явления — распыления собственности — в глубине идет мощный процесс ее концентрации.

Основной вывод Цейтлина: отделение собственности от контроля — псевдофакт. Он предлагает различать страту как категорию в иерархической системе общества и класс как социальную группу, способную использовать любую экономическую возможность для активного организационного действия. Разделяя тезис Й. Шумпетера, что семья есть истинная единица классовой теории, Цейтлин развивает его дальше. Он утверждает: классы «конституируются свободными браками» представителей семей, занимающих различное положение в системе общественного производства и отношений собственности, но имеющих сходные экономические возможности, социальные интересы и обладающих определенной «психологической совместимостью» [56, 1109]. Отметим, что концепция социальных классов не вытекает у Цейтлина из самого исследования, а искусственно к нему «пристегивается». Она получилась бы, возможно, убедительнее, если бы автор поставил задачу вскрыть механизмы браков среди семей-собственников и влияние последних на функционирование производства, систему управления и распределения власти. Подобные браки есть проявление солидарности высшего класса, который таким способом стремится не выпустить из рук эффективный контроль над производством и обществом в целом [56, 1109].

Важную проблему поднимает М. Аллен. Его интересует, каким способом и с помощью каких индикаторов можно отличить менеджера от главного акционера, если помнить, что «главный член правления крупной корпорации не подходит под стереотип бюрократического менеджера, представленного социологической теорией» [1, 890]. Действительно, крупные менеджеры по своему экономическому положению и социальному статусу приближаются к собственникам. Их жалование, в которое включается заработок, тантьема и отсроченные платежи, достигает астрономических величин. Если же учитывать дивиденды или проценты основного капитала, которыми владеют высшие менеджеры, то общая сумма выплат за год возрастет еще больше. Следует также учитывать, что высшие менеджеры располагают значительными акциями своих или чужих компаний.

Однако ни величина жалования, ни владение значительным капиталом не являются, по мнению Аллена, основанием для выделения менеджеров в самостоятельный класс или идентификации их с классом капиталистов. Он предпочитает говорить о менеджерской элите. С его точки зрения, отличие собственников от менеджеров определяется разным социально-экономическим положением, поскольку менеджерская позиция — достигнутый статус, в то время как положение главного акционера — типичная предписанная позиция.

Марксисты решают вопрос о классовой принадлежности управляющих иначе: хотя все они формально считаются лицами наемного труда, их нельзя рассматривать как единый класс, члены которого в равной степени

эксплуатируются капиталом. Если высшие менеджеры принадлежат к верхушке буржуазии или финансовой олигархии, то менеджеры среднего звена по своему материальному положению и доходам приравниваются к средней буржуазии, имеющей предприятия в индивидуальной собственности. Поэтому как по величине доходов, так и по роли в организации общественного производства они занимают те же классовые позиции, хотя и относятся к лицам наемного труда. Низшие же менеджеры по своему экономическому и социальному положению стоят ближе к рабочему классу. Таким образом, истинную классовую природу менеджеров вскрывают не семейные отношения или статус, а их место и роль в организации общественного производства, отношение к собственности, источники доходов, т. е. основополагающие признаки классов.

Результаты Д. Джеймса и М. Сорефа, как они сами отмечают, не подтверждают теории «менеджерской революции». Была выдвинута гипотеза, что необходимость следовать политике максимизации прибыли навязывается высшим менеджерам через механизм социальных санкций, в частности через увольнение. Связанные с прибылью ограничения служат механизмом, гарантирующим эффективную защиту частнособственнических интересов. В случае подтверждения этой гипотезы оказывается необоснованным один из важных тезисов теории «менеджерской революции» — о «свободе действий». Джеймс и Сореф исходят из первичности позиции индивида в социальной структуре корпорации и накладываемых этой позицией ограничений на деятельность. Не индивиды, стремящиеся к достижению прибыли, становятся предпринимателями, как иногда принято думать, а предприниматели из-за страха экономического кризиса стремятся к этому. Такова вкратце теоретическая концепция Джеймса и Сорефа, из которой следует, что поведение предпринимателя — ответ на те структурные требования, которые предъявляет занимаемая им позиция. Значит, если менеджера увольняют, когда фирма переживает экономический кризис, его преемник попытается, вероятно, выправить положение, т. е. будет стремиться к значительному увеличению прибыли. Даже являясь сторонником самой гуманистической ориентации, он не сможет поступить иначе, если хочет остаться на посту президента.

Но каков социальный механизм, который позволяет собственникам смещать главу корпорации в момент падения уровня прибыли? Цейтлин признавал в качестве такового мощные семейные связи. Джеймс и Сореф называют «дворцовый переворот», устраиваемый коалицией «аутсайдеров», благодаря которому можно устранить главу корпорации, даже не прибегая к помощи основных акционеров. Для нахождения верных эмпирических индикаторов увольнения необходима его строгая и непротиворечивая концептуализация. Если бы процесс смещения главы был так же прост, как увольнение рабочего или низшего менеджера, то его определение не представляло бы проблемы. Тогда эмпирическими индикаторами являлись бы вызов неудачника к начальству, заполнение соответствующих документов и освобождение рабочего места. Отстранение высших менеджеров называется не увольнением, а «отставкой», «ранним уходом на отдых» и т. п. Кроме того, есть дополнительные трудности при увольнении этой группы. Если в компании четко не выделен единственный собственник, то процесс увольнения усложняется. Может возникнуть необходимость

в формировании коалиции влиятельных «аутсайдеров» или потребовать обращения к консультанту по менеджменту, который порекомендовал бы президенту занять место председателя совета директоров или другую почетную, но не влиятельную должность. С точки зрения Джеймса и Соррефа, увольнение является специфическим видом управленческой преемственности, инициированной другими и не имеющей формы добровольного ухода. Если глава корпорации добровольно уходит на лучшую работу, то это уже не увольнение [38, 4]. Таким образом, увольнение высших менеджеров — сложнейший социальный процесс, в котором участвуют десятки людей и организаций.

Полученные Джеймсом и Соррефом результаты не подтвердили теории «менеджерской революции». Анализ продемонстрировал ложность широко распространенного тезиса о том, что современные корпорации удовлетворяются минимальным или адекватным уровнем прибыли и тем самым получают возможность преследовать неприбыльные, гуманистические цели. В действительности же при частом колебании прибыли менеджеры просто не в состоянии определить момент, когда фирма достигает этого уровня и когда можно переориентировать ее политику. Джеймс и Сорреф заключают, что интересы собственности преобладают над интересами менеджеров [38, 13]. Критерий, определяющий экономическое развитие в капиталистическом обществе, не изменился вследствие дисперсии собственности и отделения последней от контроля. Показатель прибыли остается важнейшим при оценке корпоративного лидера, а увольнение выступает конечной детерминантой и санкцией, обуславливающей его поведение. Не следует ожидать, саркастически замечают авторы, что менеджеры предпочтут социальную ответственность прибыльности, если узнают, что их намереваются уволить как необеспечивающих высокую прибыль и высокие зарплаты [3, 16].

Из анализа содержания теории «менеджерской революции» и попыток ее опровержения с помощью конкретных социологических исследований, предпринятых в конце 1970-х гг., можно сделать следующие выводы. Большинство эмпирических исследований, подтверждающих идею этой теории, в своей методологической части не всегда корректны. Основным мотивом противников теории «менеджерской революции» было стремление перепроверить и исправить содержащиеся в этих исследованиях данные. Позитивные моменты подобных попыток заключаются, на наш взгляд, в следующем: эмпирические исследования — что характерно для всей американской социологии — отличаются преемственностью в логике, методике и инструментарии, а также высокой сопоставимостью результатов. Они проводятся на хорошей технической базе с применением весьма изощренной процедуры и отточенной аргументации. Важным и эффективным механизмом социологического исследования является дискуссия, разворачивающаяся на страницах научных журналов. Вместе с тем практика эмпирических исследований в США — о чем свидетельствует рассмотренный нами пример — не свободна от ряда негативных моментов: 1) односторонне подчеркиваются моменты новизны собственного исследования и затушевываются достижения оппонента; 2) отсутствие общей социологической теории затрудняет научный поиск, что, в частности, приводит к нерациональным затратам времени на отыскание второсте-

пленных факторов; 3) эмпирические данные нередко настолько противоречивы, а теоретические выводы настолько многочисленны и категоричны, что увидеть за ними реальное явление просто невозможно.

Углубление процесса разделения общественного труда на исторически определенном этапе его развития приводит к дифференциации и усложнению управления, превращению его в самостоятельную деятельность. Возрастание его роли в общественном производстве проявляется и в том, что капиталист уже не в состоянии управлять своей собственностью самостоятельно, поэтому неизбежно разделение между владением собственностью и управлением производством. Маркс указывал, что капиталист в качестве функционера производства стал так же излишен, как сам он, представляя высшую ступень развития, считает излишним помещика. Отмеченное еще в «Капитале» появление института промышленных менеджеров, получающих от собственника заработную плату, вовсе не означает замещения собственников менеджерами, а также возникновения между ними непримиримых противоречий. И те и другие могут сосуществовать в рамках одного класса. Вывод американских социологов, в частности Бёрнхейма, об исчезновении собственности, изолированной от контроля, основывается, кроме всего прочего, и на двусмысленности толкования термина «контроль» (control), который означает одновременно и контроль, и управление. Отделение управления от собственности не идентично отделению контроля от собственности. Контролировать деятельность корпорации — значит прежде всего определять ее стратегию, политику, выбор долгосрочных целей и программ, иметь решающее влияние или власть. В этом случае объемы понятий «контролировать» и «управлять» не совпадают. Владельцы капитала, передавая менеджерам функцию управления, могут сохранять за собой власть над выбором политики компании, ее стратегией. Под стратегией мы понимаем поведение корпорации не как конкретного агента экономического действия, а как социального института буржуазного общества. В качестве такового корпорация не может проводить политику, противоречащую главной цели класса капиталистов — максимизации прибыли. При этом не существенно, какие тактические соображения руководят корпорацией, когда она заигрывает с рабочим классом, улучшая условия труда, либо с общественным мнением, выставляя себя поборником «человеческих отношений» или защиты окружающей среды.

## 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЕНЕДЖЕРИЗМА В 1970–1990-х ГОДАХ

Социологический анализ менеджеризма получил приоритетное развитие в англо-саксонской традиции как реакция на распространение идеологии и практики менеджмента. Из американского изобретения лучших способов научной организации труда менеджмент превратился в широкую социально-философскую доктрину, обретшую влияние далеко за пределами США и сферы промышленного производства. Поэтому адекватное понимание содержания менеджеризма возможно с привлечением к рассмотрению не только американских социологов, но и представителей других национальных социологических школ.

Менеджмент как практика управления и менеджеры как профессиональная группа были предметом исследования многих социологов. Такое внимание к этой проблематике связано с возрастанием роли организации в качестве самостоятельно действующего субъекта на протяжении всего XX столетия. Ядром любой современной организации являются менеджеры, объединяющие ее отдельные элементы в работающую систему. Социологические исследования менеджмента сосредоточились вокруг трех направлений: 1) изучение менеджеров как элитарной или близкой к элитарной социальной группе; 2) характер социальных отношений в рамках иерархий менеджмента на предприятиях; 3) менеджмент как процесс перманентного технического и социального контроля в организации [1, 66–168]. Со временем в социальных дисциплинах (менеджмент, социология, экономика) появился целый ряд теорий, не соприкасающихся с традиционными социологическими исследованиями сферы управления, но представляющих определенный интерес с точки зрения междисциплинарного подхода к изучению менеджмента.

К началу 1970-х гг. стало очевидно, что менеджмент — нечто большее, нежели маргинальная дисциплина об управлении наемными работниками в процессе промышленного производства: из практики менеджмента вырос менеджеризм, впитавший все разнообразие социальных теорий, касающихся организации труда и претендующий на статус метанарратива, с собственным проектом общественного устройства. Социологическими источниками менеджеристской идеологии стали теории технократического управления обществом, предложенные целым рядом социологов и экономистов — Т. Вебленом, Дж. Бёрнхемом, Д. Беллом, Дж. Гэлбрейтом и др. (см. соответствующие главы и параграфы наст. изд.). В работах этих ученых очевиден критический взгляд на функционирование крупномасштабного капиталистического предприятия, который идеологи менеджеризма использовали в своих интересах.

До экономического кризиса 1970-х гг. США сохраняли монополию на мировые стандарты в теории и практике менеджмента. Феномен «экономического чуда» в Японии и некоторых странах заставил пересмотреть основные концепции менеджмента с учетом социокультурных факторов конкретных обществ. В 1980-е гг., в моду входят кросскультурные исследования, посвященные поиску особенностей национального менеджмента, способствующих росту конкурентоспособности организаций. Возросшее влияние «этнографических» школ менеджмента позволило классифицировать и анализировать менеджериальные теории в национальном разрезе. При этом в зависимости от успеха той или иной страны на мировом рынке в качестве мейнстрима управленческой науки выдвигалась соответствующая национальная школа. Потеря японскими компаниями лидирующих позиций на международных рынках привела к снижению престижа японской школы управления относительно американской и европейской. Но в то же время в практике управления распространялось сочетание достижений различных национальных школ, что, по мнению многих специалистов, позволяет повысить эффективность менеджмента в деятельности любой организации. Этот процесс указывает на определенную конвергенцию национальных школ управления. Период 1990-х гг. рассматривается как «постмодернистский» в развитии теории менедж-

мента, для которого характерно активное заимствование не только идей и находок различных научных дисциплин, но и активное использование методов массового паблисити для самопродвижения. В частности, в менеджменте и смежных дисциплинах все большее значение стал приобретать феномен гуру — консультантов по управлению, обретших глобальную известность и колесящих по всему миру с публичными лекциями-проповедями по темам лидерства, предпринимательского духа, маркетингового позиционирования и т. п. Этот период отмечен также активным проникновением в менеджерию эконометрических подходов и параллельной экспансией его принципов в сферу государственного управления.

С позиции «*трудовых отношений*» менеджеризм в первую очередь рассматривается как прикладная социальная технология управления производством. Весомое место в исследованиях менеджеризма с этой точки зрения занимают работы левоориентированных социологов и антропологов организаций, изучающих организацию производства. Это направление смыкается с целым потоком исследований по тематике трудовых отношений и производства, осуществляемых практически на всем протяжении XX в. Среди этих исследований можно упомянуть П. Барана и П. Свизи [15], С. Полларда [49], Д. Джеймса и М. Сорефа [38], Р. Эдвардса [30], Р. Фитча [32], Дж. Томпсона [53] и М. Цейтлина [56]. Исходным пунктом рассуждений данной группы исследователей менеджеризма является концепция отчуждения К. Маркса<sup>1</sup>: в такой интерпретации менеджмент как способ организации производства содействовал более изощренной и идеологически-замаскированной эксплуатации наемных работников. Критически ориентированные исследователи отмечали, что с распространением идей школы трудовых отношений и гуманистически ориентированного менеджмента не исчезли принципы sweat system (потогонной системы), заложенные отцами-основателями производственного менеджмента Ф. Тейлором и Г. Фордом. Более того, по мнению ряда социологов, социальные науки в течение XX в. в руках менеджеров стали эффективным инструментом манипуляции работниками. Здесь уместно вспомнить исследование Леона Барица «На службе власти. История применения социальных наук в американской промышленности», в котором он показал, как в период своего активного становления американский менеджмент искусно использовал работы психологов и социологов для совершенствования системы организации труда на уровне производственной линии, цеха [16]. Согласно критикам, менеджеризм, воплощенный в практиках контроля за рабочим процессом, не приводит к гармонизации отношений между работником и менеджером, но только усугубляет проявления отчуждения.

Х. Димс полагал, что менеджмент берет на себя функции распределения ресурсов в корпорации, а управленческая иерархия является наиболее эффективной институциональной формой менеджмента [29]. Дж. Томпсон

<sup>1</sup> По мнению К. Маркса, капиталистическое производство «уродует рабочего, делая из него неполного человека, понижают его до роли придатка машины, превращая его труд в муки, лишает этот труд содержательности, отчуждает от рабочего духовные силы процесса труда... делает отвратительными условия, при которых рабочий работает, подчиняет его время процесса труда самому мелочному, отвратительному деспотизму, все время его жизни превращает в рабочее время...» [4, 660].

назвал менеджеров посредниками между внутренней закрытой системой (производством) и внешней системой (обществом) [53, 12]; Р. Эдвардс обосновал расширение сферы управленческого контроля в организации, которое зависело от увеличения концентрации экономических ресурсов, усложнения производства и его дифференцированности [30]; С. Марглин, развил ранний тезис о замене капиталиста на управляющего в развитом производстве [44].

Американский социолог Ч.Р. Миллс критиковал менеджеризм, рассматривая его как идеологическую риторику специалистов в области управления человеческими ресурсами. По его мнению, «планируемая экспертами по человеческим отношениям мораль — это мораль людей, которые, будучи отчужденными, тем не менее подчиняются установленным сверху и конвенциональным ожиданиям. Задача экспертов по человеческим отношениям — манипулирование... Эксперты в области человеческих отношений движутся в русле общей тенденции современного общества к рационализации и в интересах управленческой элиты» [6, 113].

Ч.Р. Миллс считал ложной экспертную позицию специалистов в области менеджмента, которые рассуждают об эффективности управления. Максимальная эффективность возможна, когда присутствует благоприятный моральный климат, означающий «добровольную готовность работников выполнять необходимую работу добросовестно и даже с удовольствием» [6, 112]. В этом случае работа будет считаться эффективной, когда она выполнена в «кратчайшие сроки с наименьшими трудностями и при этом достигается наименьшая себестоимость изделия» [там же]. Исходя из аргументации Миллса, наука управления стремится завуалировать отчуждение работника в процессе труда. Это достигается с помощью ряда риторических заявлений о самоуправлении работника, о его соучастии в принятии управленческих решений относительно своей работы, но главным образом через легитимацию менеджеральной власти с помощью претензий на профессиональный статус и экспертное знание. Менеджменту на самом деле требуется такой работник, который «не имея никакой власти, все-таки оставался довольным» [там же]. То есть «планируемая экспертами по человеческим отношениям мораль — это мораль людей, которые, будучи отчужденными, тем не менее подчиняются установленным сверху ожиданиям» [6, 113]. Миллс соединяет критический социальный анализ с поиском эписем в управленческой науке, которые ответственны за ее воплощение в манипулятивную практику менеджмента.

Одним из самых известных критиков менеджеризма с позиции анализа производственных отношений является американский леворадикальный мыслитель Г. Браверман. Его книга «Труд и монопольный капитал: деградация работы в двадцатом веке» [24] стала самым громким критическим исследованием влияния менеджмента на трудовые процессы, вдохновившая других авторов (см. напр., [28; 40]). Г. Браверман увязал две силы, которые сыграли ключевую роль в отчуждении рабочих, занятых в крупных капиталистических производствах: первая — технический прогресс, т. е. научное знание, поставленное на службу капитала, вторая — появление и развитие автономной функции управления, поддерживаемой менеджеристской идеологией достижения максимальной эффективности. Когда Г. Браверман пишет о деградации труда в высокотехнологичных отрас-



лях и офисах, он демонстрирует как капиталистическая идеология становится материальной силой в процессе труда. В то время пока рабочий является объектом прогрессирующего отчуждения, капитализм решает проблему управления трудом этого рабочего, что послужило основой развития занятия, получившего название «менеджмент». Браверман считает, что главным создателем системы менеджмента был Фредерик Тейлор: именно он, а не кто другой сосредоточился на анализе процесса труда и на разработке методов контроля за этим трудом. Как полагает Г. Браверман позднейшие наслоения в теории и практике управления, служат не более чем идеологической декорацией тейлоровских идей.

Функция контроля над процессом производства, постепенно трансформировалась в самостоятельную область компетенции — менеджмент. Так внутри одного офиса произошло формирование двух групп — служащих и менеджеров, каждая из которых имела собственные интересы и находилась в состоянии конфликта с другой. Основной заботой менеджмента стало создание системы контроля над клерками, по образцу надзора за фабричными рабочими. С самого зарождения научного управления, его последователи не оставляли попыток организовать процесс труда «белых воротничков» на основе тейлоровских принципов. Этому способствовало широкое распространение технических и электронных средств труда, которые, по мнению Г. Бравермана, делают офис еще в большей степени схожим с промышленным производством. Использование технических средств на уровне офиса позволило осуществить фактическое деление на умственный и физический труд. В результате, становится возможным разделить функции управления и технического обеспечения выполнения принятых решений. Поскольку сам процесс умственного труда практически не поддается контролю, то единственным способом осуществления такого контроля становится максимально возможное полное исключение этого процесса из конторской работы и редуцирования его до четко определенного набора функций. Г. Браверман делает вывод: традиционное разделение между «ручным» и «беловоротничковым» трудом, является отражением прошлой ситуации, не соответствующей положению дел в 1970-х гг. [24, 325–326], когда интеллектуальное содержание труда многих служащих является мифом о творческой составляющей умственного труда в офисе.

Довольно много работ в социальных науках посвящено критическому исследованию форм бюрократической власти, которые оказывают тотализующее воздействие как на общество в целом, так и на отдельного индивида. В этом случае термин менеджеризм не используется прямо самими авторами подобных исследований, но, по сути, ядро их критики направлено в адрес менеджеризма как специфической формы власти, рассматриваемой в социально-философском, *антропологическом ключе*. Чаще всего объектом критики представителей этого направления становятся масштабные хорошо организованные бюрократические аппараты, чья деятельность, внешне определяемая как нейтральная, на деле, направлена на всеобъемлющий контроль и насилие. Л. Мамфорд (подробнее см. с. 53–59 наст. изд.) в своей книге «Миф машины» [3] обращается к истории древних цивилизаций (Индия, Египет, Месопотамия), чтобы показать, как давно и успешно администрирование использовалось для управления

«мегамашиной» первых протобюрократических государственных систем: «принудительные методы проникали даже в процессы ремесленного труда и „механизировали” их — т. е. превращали людей в механизмы. Крупномасштабная организация пролетариата со специализированными мастерскими и фабриками с применением „современных” на сегодняшний взгляд, методов укоренилась еще в эллинистическом и римском периодах; но началась она, должно быть, намного раньше» [3, 370]. «Мегамашина состояла из множества единообразных, специализированных, взаимозаменяемых, но функционально дифференцированных частей, строжайшим образом подогнанных друг к другу и настроенных на единый процесс, организованный и управляемый из одного центра: так каждый элемент действовал как механический компонент механизированного целого [3, 259]. У работников занятых принудительным трудом «развилось мышление нового порядка — механически обусловленное, исполнявшее каждое задание в строжайшем соответствии с инструкциями, безгранично терпеливое, ограничивающее реактивность лишь повиновением словам приказа» [3, 260].

С точки зрения Л. Мамфорда, разделение труда, профессиональная специализация, появление изоэренной бюрократической иерархии во многом были обусловлены потребностью в создании управляемой человеческой машины, способной осуществлять мегапроекты, подобные строительству развитой ирригационной системы или возведению пирамид. Углубляясь в историю, Л. Мамфорд между тем постоянно проводит аналогии с управленческими практиками, принятыми в государственном администрировании и менеджменте частных корпораций [3, 261–270]. По его мнению, закат античной эпохи в Европе привел к забыванию способов построения человеческой мегамашины и только в эпоху, которую французский философ М. Фуко назвал *Классической*, происходит возрождение принципов организации общества как мегамашины. (Свои идеи французский теоретик развивал независимо от Л. Мамфорда.)

В качестве своей интеллектуальной миссии М. Фуко (1165–1184) избрал последовательную критику власти, основанной на экспертном знании (подробнее см. наст. изд.). В противоположность «старым режимам», когда внешняя тирания абсолютистских режимов скрывала сложную систему сдержек и противовесов между интересами разных сословий, стабилизирующих политическую систему, эпоха буржуазных социальных революций обозначила выход на авансцену нового типа власти, где утрачивается зазор между политическим, социальным, экспертным и медицинским контролем над личностью.

Для М. Фуко дисциплина не может отождествляться ни с институтом, ни с аппаратом; она — тип власти, модальность ее отправления, содержащая целую совокупность инструментов, методов, уровней приложения и мишеней. Старая *Дисциплина* суверена распадается на множество малых *дисциплин*, инкорпорированных во все поры государственного управления и частной жизни индивидов. Французский философ отмечает, что ответственность за приведение в действие дисциплинарных механизмов могут брать на себя либо «специализированные» заведения (тюрьмы или исправительные дома в XIX), либо заведения, исполняющие ее в качестве основного инструмента для достижения конкретной цели (воспитательные

дома, военные учебные заведения, больницы), либо уже существующие инстанции, которые используют ее как способ усиления или реорганизации своих внутренних механизмов власти, либо аппараты, возведшие дисциплину в принцип своего внутреннего функционирования (аппарат управления начиная с наполеоновской эпохи), либо, наконец, государственные аппараты, чьей главной, если не исключительной функцией является утверждение власти дисциплины над всем обществом (полиция) [10, 312–324]. Еще одной стороной дисциплинарной экспансии следует считать рост производственного аппарата, который все больше увеличивается и усложняется; он становится также все более дорогостоящим, а потому возникает проблема увеличения его рентабельности. Для решения этой дисциплинирующей задачи используют методы разгораживания и проведения вертикалей, ставят между различными элементами одного уровня максимально прочные перегородки, раскидывают плотные иерархические сети, противопоставляют внутренней враждебной аморфного человеческого множества метод построения непрерывной индивидуализирующей пирамиды. Дисциплины усиливают единичную полезность каждого элемента человеческого множества, причем самыми быстрыми и дешевыми способами: отсюда использование для извлечения из тел максимума времени и сил общих методов, известных как распорядок дня, коллективная муштра, упражнения, а также глобальный и вместе с тем детальный надзор. Кроме того, дисциплины усиливают эффект полезности множеств, добываясь, чтобы каждое из них было полезнее простой суммы своих элементов; именно для увеличения полезных свойств множества вводятся дисциплинирующие тактики распределения, обоюдного приспособления тел, жестов и ритмов, дифференцирования способностей, взаимной координации относительно аппаратов или задач [10, 312–324]. Наконец, дисциплины активно вводят в игру отношения власти (не над множеством, но в самой его толще) как можно более незаметным, как нельзя лучше связанным с другими его функциями и наименее дорогостоящим образом: этой цели отвечают анонимные инструменты власти, связанные с множеством, которое они систематизируют и унифицируют, — иерархический надзор, непрерывная запись и регистрация, вечная оценка и классификация. Дисциплины должны формировать знание об индивидах, а не выставлять напоказ знаки суверенной власти. Дисциплины — совокупности мелких технических изобретений, позволяющих увеличить полезность множеств путем сокращения неудобств для власти, которая, чтобы сделать их полезными, должна их контролировать.

Если экономический взлет Запада начался с изобретения техник, которые сделали возможным накопление капитала, то можно сказать, что методы управления «накоплением людей» обеспечили создание политического порядка, за счет отказа от тех традиционных, ритуальных, дорогостоящих и насильственных форм власти, которые скоро вышли из употребления и сменились тонкой, рассчитанной технологией подчинения. Как считает М. Фуко процессы накопления людей и накопления капитала — неотделимы друг от друга; невозможно было бы решить проблему накопления людей без роста производственного аппарата, способного их содержать и использовать; напротив, техники, делающие полезным кумулятивное множество людей, ускоряют накопление капитала. На менее

общем уровне технологические изменения производственного аппарата, разделение труда и выработка дисциплинарных методов были связаны очень тесными отношениями. Дисциплинарная пирамида образовала клетки власти, где были предписаны и стали эффективными разделение, координация заданий и контроль за их исполнением, а аналитическое дробление времени, жестов и телесных сил образовало рабочую схему, которую можно было легко перенести с подчиняемых групп на производственные механизмы; массовый перенос военных методов на организацию промышленности служит примером такого моделирования разделения труда, которое ориентировано на образец, заданный схемами власти. Но, в то же время, технический анализ процесса производства, его «механическое» расчленение были перенесены на рабочую силу, призванную обеспечивать этот процесс: результатом переноса стало создание дисциплинарных машин, объединяющих в целое и увеличивающих индивидуальные силы. Рост капиталистической экономики породил специфический изоморфизм дисциплинарной власти: ее универсальные формулы, методы подчинения сил и тел, т. е. «политическая анатомия», могут работать в самых разных политических режимах, аппаратах и институтах. По сути, речь идет о менеджризме в той его версии, которая касается интегрирования методов капиталистического управления в сферу государственной администрации. Особенность дисциплины состоит в том, что она пытается ввести тактику власти, отвечающую трем критериям: отправление власти должно быть максимально дешевым (экономически — благодаря низким расходам — и политически — за счет ее сдержанности, слабого внешнего выражения, относительной невидимости и незначительного сопротивления ей); действия этой социальной власти должны быть максимально сильными и распространяться как можно дальше, без провалов и пробелов; и наконец, «экономический» рост власти должен быть связан с производительностью аппаратов (образовательных, военных, промышленных, медицинских), внутри которых она отправляется; короче говоря, необходимо одновременно увеличивать как послушность, так и полезность всех элементов социальной системы [10, 312–324].

Но распространение дисциплинарных институтов было, несомненно, лишь наиболее видимым аспектом других, более глубоких процессов. Разумная организация обществ классической эпохи опиралась на дисциплины, призванные увеличивать возможную полезность индивидов. «Фабричная дисциплина, оставаясь способом укрепления уважения уставов, подчинения власти хозяев и мастеров, предотвращает воровство и разброд, наращивает навыки, скорость, производительность, а значит увеличивает прибыль; она еще оказывает моральное воздействие на поведение, но все более ориентирует действия на достижение результатов, причащает тела к механизмам, а силы — к экономии» [10, 312–324]. В целом можно говорить об образовании дисциплинарного общества, соединившего закрытые дисциплины, социальный «карантин» и бесконечно распространяемый механизм «паноптизма», пропитавший все общественные институты и обеспечивающий распространение отношений власти до уровня бесконечно малых величин.

Американский социолог И. Гофман также не остался в стороне от анализа организаций, где экспертное знание, помноженное на админист-

ративную власть и подкрепленное теорией научного управления, приводит к появлению пространств с особыми организационными условиями [33, 3–12]. Он относит к особому типу организаций, собранные административным способом, довольно однородные по своим характеристикам группы людей, помещенные в ограниченное пространство, подчиненные жесткому временному режиму и управляемые извне. Гофман выделяет пять групп тотальных институтов: 1) учреждения, в которых социальный и медицинский надзор осуществляется за безопасными для общества людьми, неспособными к заботе о себе за пределами этих учреждений (хосписы, санатории для слепых, дома престарелых и т. п.); 2) организации, где находятся люди, также неспособные к заботе о себе за пределами этих учреждений, но представляющие непреднамеренную опасность для окружающих (лепрозории и психиатрические больницы); 3) учреждения, куда собраны те, кто представляют угрозу общественному порядку (тюрьмы, концентрационные лагеря, лагеря для военнопленных); 4) учреждения, созданные с целью реализации производственных и социальных задач посредством жесткого бюрократического управления над однородными массами людей (трудовые армии, колониальные гарнизоны, армейские казармы, школы-интернаты); 5) учреждения, члены которых сознательно ограничивают свои контакты с внешним миром, следуя религиозным установлениям (аббатства, монастыри и т. п.).

Однако принудительная или добровольная концентрация человеческого материала не единственная характеристика тотальных институтов — практически любые «режимные» объекты обладают признаками тотальных институтов, от лаборатории в Лос-Аламосе, до фабричного конвейера [33, 3–12]. Тотальные институты построены, с одной стороны, на основе широкого использования барьерных технологий, ограничивающих общение инсайдеров с внешним социальным окружением, а с другой — их внутренняя среда регулируется комплексом управленческих правил и инструкций. Удобство управления тотальными институтами заключается в широких возможностях менеджеристского надзора за всеми аспектами жизни их членов — во многих из такого рода организаций принудительный монотонный труд используется не с экономическими целями получения прибавочного продукта, но для заполнения времени и социальной деморализации. Это особенно распространенная практика в тюрьмах, казармах и, отчасти, монастырях. Идеологической легитимацией труда может служить экономическая целесообразность, за которой скрывается стремление контролировать ради самого контроля.

Критика бюрократии как носителя негативного потенциала действия была продолжена З. Бауманом [18]. Бауман не считает бюрократию просто нейтральным орудием, которым можно рационально действовать в любом направлении. Как полагает теоретик, хотя ее можно использовать как для благих, так и для злых целей, вероятнее всего, она будет благоприятствовать негативным намерениям. Бюрократия запрограммирована на измерение оптимума на основе, не отличающей один человеческий субъект от другого или одушевленные объекты от неодушевленных [18]. В бюрократиях средства часто превращаются в цели. Бауман разворачивает свой тезис на примере Холокоста, когда административная эффективность «нейтрального» немецкого чиновничества была поставлена на

службу бесчеловечным целям. Противостоять отрицательному потенциалу профессиональной бюрократии возможно, если существует сильная общественная мораль и плюрализм политических сил [7, 506–510].

Отдельного рассмотрения заслуживает эпистемологическая и этическая критика менеджериума, нашедшая свое выражение в работах известного философа А. Макинтайра. Макинтайр называет менеджера «доминирующей фигурой современной сцены» [2, 105]. В своей критике бюрократической экспертизы он опирается на несколько тезисов. Он предлагает нам отказаться от восприятия менеджера в качестве простого технического исполнителя, осуществляющего свои управленческие функции рациональными методами. «Менеджеры обычно рассматриваются как морально нейтральные субъекты, которые изобретают эффективные средства достижения внешних, поставленных не ими целей. Тем не менее есть сильные основания для отказа от тезиса, что эффективность морально нейтральна. Апелляцией к своей собственной эффективности в этом отношении менеджер выдвигает притязания на власть в рамках манипулятивного модуса [2, 60]. В приведенном высказывании Макинтайра содержится еще два основания для критики управленческой экспертизы. Первое — управленческая эффективность не является нейтральной категорией, которая может быть использована в качестве универсального измерителя качества управленческой работы. Второе — дискурс менеджеров, апеллирующих к своей собственной эффективности «заряжен» сильным властным импульсом и, по сути, является идеологической риторикой, направленной на закрепление собственных властных позиций. Макинтайр называет управленческую функцию среди «центральных моральных фикций века». Эта функция воплощается в «притязании на обладание систематической эффективностью в контроле определенных аспектов социальной реальности» [2, 105].

В данном определении «управленческой функции» А. Макинтайр обращает внимание на понятие «эффективность», которое, по мнению теоретика, может и должно быть исследовано в моральных категориях. Любая «бюрократическая организация воплощает явное или неявное определение стоимости и выгод, из которого и выводятся критерии эффективности». В таком случае основной функцией менеджеров становится постоянное решение «транспортной задачи», так, чтобы достигнуть целей организации с минимальными потерями ресурсов. Бюрократическая рациональность таким образом — «это рациональность соответствия средств целям в экономическом и эффективном отношении» [2, 38–39].

Однако А. Макинтайр замечает, что существует разрыв между обобщенным понятием эффективности и действительным поведением, которым заняты менеджеры. Это свидетельствует о том, что употребление данного понятия в социальных контекстах отличается от его замысла. Понятие «эффективность» используется «для поддержки и распространения авторитета и власти менеджеров, но его употребление в связи с этими задачами выводится из убеждения, что управленческий авторитет и власть обоснованы по той причине, что менеджеры обладают способностью ставить свое умение и знание на службу достижению определенных целей» [2, 106–107].

«Использование концепции управленческой эффективности предполагает такие притязания на знания, которые не могут быть выполнены» [2, 108]. То есть интерпретация управленческой эффективности не имеет подходящего рационального обоснования. «К эффективности и авторитету вызывает центральный характер современной социальной драмы — бюрократический менеджер. Утверждение, что менеджер есть олицетворение эффективности, покоится, конечно, на его претензии на знание, посредством которого может формироваться организация и социальная структура. Есть две части в притязаниях менеджера на обоснованный авторитет. Одна касается существования области морально нейтрального факта, в чем менеджер должен быть экспертом. Другая имеет дело с законоподобными обобщениями и их применением к конкретным случаям».

Почему же именно «эффективность» стала удобным ресурсом легитимации профессиональной власти менеджеров? Это произошло, потому что эффективность в наибольшей степени, чем другие социальные концепты (моральное удовлетворение, социальный контроль и т. п.), обладает «научным потенциалом» и одновременно элиминирует властный акцент из менеджеристского дискурса. Именно поэтому и по ряду других причин эффективность стала одной из фундаментальных категорий управленческой науки. Возникает необходимость в управленческой экспертизе, требующей «для своего оправдания обоснования концепции социальной науки как такой дисциплины, которая была бы источником законоподобных обобщений со строгой предсказательной силой. Социальная наука, как и всякая другая наука, претендует на ценностную нейтральность и рациональные методы познания реальности. Цель социальных наук состоит в том, чтобы «специфично объяснить социальные феномены с помощью законоподобных обобщений, которые используются в естественных науках». «Если социальные науки не представляют собой обнаружения законоподобных обобщений, основания для использования социальных ученых в качестве советников в правительстве и частных корпорациях становятся неясными, и само понятие управленческой экспертизы находится под угрозой» [2, 122–123]. Чтобы устранить эту угрозу начинается «игра в настоящую науку», и тогда специалисты в области управления ведут речь об «эффективном менеджменте», «рациональных методах управления», «системном подходе» и прочих концепциях, заставляющих наивного наблюдателя поверить в «научность» самого обыденного знания. А знание, лежащее в основе бюрократической экспертизы, по мнению А. Макинтайра, действительно является обыденным: управленческое, организационное умение рассматривается как своего рода везение, как реакция на молитву священника о дожде как раз накануне конца засухи. «Уровни власти, являющиеся ключевыми метафорами управленческой экспертизы, воздействуют на ситуации несистематически и слишком часто ситуации, в которых власти проявляют хваленое искусство управления, являются случайным совпадением». Ряд исследователей полагают, что раскрутка концепции управленческой эффективности, составляющей ядро современной науки о менеджменте, становится существенной частью сокрытия несистемного, непрогнозируемого характера управленческой практики.

А. Макинтайр заключает, что управленческая и бюрократическая экспертиза оказывается еще одной моральной фикцией, потому что вида

знания, который требовался бы для ее поддержания, не существует. Моральные фикции «эффективности», «научного управления», «управленческой экспертизы» «задействованы в серии социальных представлений, где бюрократический менеджер «ценностно-нейтральным образом реализует свою власть» [2, 122–123].

### 3. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ МЕНЕДЖЕРИЗМА 1970–1990-х ГОДОВ

Менеджеризм стал теоретической концепцией, воплощенной в практических и идеологических подходах к управлению частными и государственными организациями. Д. Бойе определяет менеджеризм как способ рассмотрения организационной теории и функционирования организаций исключительно с точки зрения менеджеров, являющихся ключевыми функциональными агентами бюрократизированного общества [21; 22; 23]. Функция менеджеров при этом — оказывать поддержку росту прибыльности организации и удовлетворять ожиданиям и требованиям акционеров, потребителей и некоторых групп работников [13]. Тотальный менеджмент качества (TQM), реинжиниринг, распределение полномочий (empowerment), «трансформационное лидерство» являются яркими примерами так называемой просвещенной менеджеристской идеологии, получившей активное развитие с начала 1980-х гг. Корни этой идеологии уходят в конце XIX — начало XX в., когда семейный капитализм, при котором фирма находилась под оперативным контролем собственников-предпринимателей, все в большей мере замещался механизмами корпоративного управления. Эту тенденцию исследовали А. Берл и Г. Минс в своей работе 1938 г. «Современная корпорация и частная собственность» [20]. С тех пор тезис американских теоретиков о переходе реальной власти в среде частного бизнеса в руки наемных менеджеров, подвергся тщательному изучению [41; 42]. В экономической теории фирмы ставилась под вопрос эффективность наемных управляющих и собственников. М. Дженсен и У. Меклинг в своей работе «Теория фирмы: поведение управляющих, издержки агентских отношений и схема прав собственности» [39] показали, что собственник-управляющий, разделяющий право собственности на фирму с участвующими в управлении акционерами, в меньшей степени стремится к максимизации ценности функционирования фирмы, нежели в случае принятия управленческих решений только единственным владельцем фирмы, либо в гипотетической ситуации, когда собственники не несут никаких издержек осуществления надзора за текущим управлением [12]. Менеджеризм обозначил различия между взглядами менеджеров и предпринимателей-собственников на теорию и практику ведения бизнеса. Дж. Мартин [45] связывает менеджеризм с маскулинной и патерналистской этикой. Однако А. Залезник противопоставляет менеджерский и лидерский стиль поведения в организации [55]. По мнению А. Залезника, менеджеры не склонны принимать рискованные решения и брать на себя ответственность. Они предпочитают сосредоточиваться на соблюдении формальных правил и процедур управления, отказываясь от творческого подхода.

Менеджеризм 1970-х гг. опирается на четыре составляющих: во-первых, эффективность как первичная ценность, которой руководствуются



в своих действиях и решениях менеджеры; во-вторых, вера в универсалистский характер инструментов и методов управления; в-третьих, осознание менеджерами своей принадлежности к особой социальной группе, обладающей собственными интересами; в-четвертых, признание за менеджерами роли моральных агентов, заботящихся об общественных интересах. Одновременно, менеджеризм принимает допущение об автономном, индивидуалистичном, рациональном акторе, действующем в собственных интересах, и способном «взять на себя ответственность», быть «самотивированным». Правда, как мы увидим дальше, идеология менеджеризма не признает индивидуального выбора, сделанного вне определенных институциональных рамок.

Менеджеризм дал обоснование полномочиям, отданным относительно небольшой и четко определенной группы людей для контроля над массой работников. В своей деятельности менеджеры руководствуются идеей, направленной в первую очередь на решение организационных целей, которые могут идти в разрез с индивидуальными интересами. В процессе коллективного сотрудничества, менеджеры имеют право требовать от сотрудников жертвовать частью своей свободы во имя организационного результата и в обмен на материальное поощрение<sup>1</sup>.

Лучше всего менеджеризм прижился в разветвленных мицелиях крупных частных и государственных корпораций. В рамках этой идеологии эволюция современной организации укладывается в контекст прогрессивистского развития ее рациональной модели и логически выглядит таким образом: компания расширяется, что сопровождается усилением разделения труда, которое, в свою очередь, способствует росту прибыли и повышению эффективности производства, а это вновь приводит к расширению масштабов корпоративной деятельности. Вместе с этим уменьшается роль предпринимательской функции, поскольку она не справляется с координацией и интеграцией сложно дифференцированной организации. Возрастают транзакционные и косвенные издержки, что снижает прибыльность и ограничивает физический рост корпораций. Для того чтобы справиться с управлением, разделение труда усиливается не только на уровне рабочих и специалистов, но также на уровне менеджеров, способствуя их профессионализации. Однако в конечном счете управленческая профессионализация приводит к клановым конфликтам между различными группами менеджеров, имеющими собственные интересы во внутриорганизационной среде [34]. Как результат, организация теряет способность к росту, что, наверное, и не дает возможности создания глобальной корпоративной мегамонополии.

Также взлет менеджеризма в течение последних десятилетий XX столетия связывается с проникновением неолиберальных принципов в систему государственного управления и, в частности, с реформами здравоохранения и социального обеспечения, предпринятыми М. Тэтчер в 1980-х гг.<sup>2</sup> Идеология менеджеризма утверждает, что принципы менеджмента носят универсальный характер и в равной мере могут быть применены для управ-

<sup>1</sup> «Секрет полишинеля» человеческого обмена состоит в том, чтобы дать другому человеку поведение, более ценное для него, нежели дорогостоящее для вас, и получить от него в ответ поведение, более ценное для вас, нежели дорогостоящее для него. См. [17, 253–255].

<sup>2</sup> Об управленческих аспектах этих реформ в частности см. [5, 349–384].

ления как общественной клиникой, государственным университетом, так и частной корпорацией в интересах акционеров. В этом случае возникают две проблемы: во-первых, решения, принимаемые с позиций менеджеризма, могут оказаться этически сомнительными и, во-вторых, менеджеристские методы управления во многих аспектах нарушают демократические принципы принятия решений, которым обычно следуют в общественном секторе.

Согласно австралийскому исследователю М. Консидайну, менеджеризм в государственном управлении обладает четырьмя характеристиками: во-первых, акцент на измеримых результатах и выпуске продукции; во-вторых, управленческий инструментализм, означающий, что государственная политика разрабатывается главами министерств и ведомств, а затем операционализируется подчиненными департаментами; в-третьих, интеграция, т. е. высокая степень координации, согласованности и связанности между различными правительственными департаментами; в-четвертых, гарантия общих целевых установок в деятельности правительственных служб [27]. Результатом внедрения менеджеристских принципов управления должно стать повышение эффективности и продуктивности государственной службы. По мнению израильского социолога М. Маора, внедрение менеджеристских принципов в государственную службу, привело к распространению идеологии экономизирования как базового подхода к государственному управлению [43].

Британский теоретик К. Поллитт [50] в своей книге «Менеджеризм и государственная служба: англо-американский опыт» предложил детальную характеристику менеджеризма. К. Поллитт утверждает, что менеджеризм представляет собой набор ценностей, верований, и идей, касающихся устройства государства. Исследователь формулирует пять базовых установок менеджеризма: 1. «Основной путь к социальному прогрессу лежит через достижение продуктивности, измеряемой в экономических показателях». 2. «Этот рост продуктивности достигается в результате применения сложных технологий. Сюда относятся как организационные и информационные технологии, так и аппаратные средства (hardware) для производства материальных товаров. Организационно рост продуктивности обеспечивается с появлением крупномасштабной частной или государственной корпорации, которая быстро становится доминирующей институциональной формой». 3. «Применение всех названных технологий возможно только с усилением дисциплинарного давления на рабочую силу, в соответствии с требованием идеала производительности». 4. «Менеджмент — это самостоятельная, отличная от других организационная функция, которая играет решающую роль в планировании, реализации и измерении усовершенствований производительности. Деловой успех все в большей и большей степени зависит от профессионализма и личных качеств менеджеров. Для реализации решающей роли менеджеров им должна быть предоставлена достаточная свобода действий в сфере управления».

К. Поллитт считает, что современный менеджеризм своими корнями уходит в идеи Ф. Тейлора, а поэтому называет данную идеологию «неотейлоризмом». Менеджеристские принципы, реализованные в экономической политике, означают применение экономических принципов при-

нения решений к деятельности деловых организаций или другим объектам управления. Ключевые концепции менеджеристской экономики исходят из положений микроэкономической теории, исследующей поведение отдельных потребителей, фирм и отраслей промышленности. Во второй половине 1970-х гг., когда стала пробуксовывать технократическая модель государства всеобщего благосостояния, неотейлоризм, описанный К. Поллитом, обрел новые черты, в процессе эпистемической мутации с теориями общественного выбора, транзакционной экономики и агентских отношений. Получившийся гибрид американский исследователь Л. Терри [52] описывает как неоменеджеризм.

Важнейшим направлением неоменеджеризма стал подход Нового государственного управления (New Public Management — NPM), который использовался в целом ряде стран, бывших колоний и доминионов Британской империи, в качестве легитимирующего основания перепроектирования образовательной бюрократии, образовательной системы и даже процессов управления социальной политикой (public policy). Доктрина NPM относится к тем процессам, когда правительство в своей деятельности использует управленческие технологии частного сектора или передает частному сектору какие-то из своих функций. Философия NPM заключается в том, что за правительством остается прерогатива выработки политики, тогда как аффилированные частные структуры осуществляют практическую реализацию этой политики: правительство «рулит», а наемные агентства должны «грести» — предоставлять услуги [11, 450]. На практике NPM стала основополагающей идеологией реформирования государственной службы в Великобритании, США, Швеции, Новой Зеландии и др. На клинтоновскую администрацию оказала влияние книга Д. Осборна и Т. Геблера «Вновь изобрести государство» [46], в которой излагались менеджеристские идеи NPM. В ходе реформ государственной службы к концу 1990-х гг., более половины всех функций перешла к исполнительским агентствам, наиболее распространенной организационной формой, которых стали так называемые *кванго* — квазиавтономные неправительственные структуры, выполняющие правительственные функции, но составленные не из избранных политиков или профессиональных государственных служащих, а из людей, привлеченных со стороны. В последние годы исследователи организаций заговорили об опасности, тающей в проникновении менеджеристских принципов в сферу государственного управления. Ф. Карр полагает, что импорт менеджеризма в систему государственного управления может подорвать ключевые идеалы гражданской службы, заключающиеся в следовании ценностям законности, справедливости, честности объективности и беспристрастности в отношении практики своей деятельности [25].

Теперь остановимся на развернутом толковании менеджеризма, принятом У. Энтеманом в книге 1993 г. «Менеджеризм: возникновение новой идеологии» [31]. У. Энтеман заявляет, что он не является ни поборником, ни противником менеджеризма, а желает показать принципы, на которых существует установленный политический, экономический, социальный порядок развитых индустриальных обществ. С точки зрения автора книги, принципы менеджеризма во многом совпадают с принципами любой организации в развитых обществах. У. Энтеман описывает менед-

жеризм как международную идеологию, формирующую экономический, социальный и политический порядок развитых промышленных обществ и в соответствии с которой общество эквивалентно сумме трансакций, осуществляемых менеджментом всех организаций такого общества. Соответственно социальные институты в таком случае являются объектом управленческой практики.

У. Энтеман полагает, что менеджеризм демонстрирует кардинальные изменения в обществе и использует этот термин для обозначения основных принципов социальной, экономической и политической системы, которая сформировалась в США так же, как и в других развитых западных странах. Менеджеризм представляет собой не органический, и не атомический взгляд на общество. У. Энтеман полагает, что все идеологии развитых стран укладываются в систему координат органического или атомического взгляда на общества. Менеджеризм не попадает ни в одну из них [31, 159–165].

Менеджеризм не предлагает надирархического взгляда на общество. В рамках менеджеризма признается, что различные социальные, экономические, и политические организации составляют общество в качестве субъектов действия, и они могут быть более или менее органическими. Менеджеризм декларирует, что реальные полномочия по принятию решений находятся у этих организаций, но никак не у отдельных граждан и не у всей социальной системы. Индивиды выражают свои предпочтения через множество институциональных субъектов, к которым они могут принадлежать и которые представляют их интересы. Взаимодействия этих субъектов формируют ситуацию общественного выбора, однако проблема определения того, как общество в целом движется от выражения индивидуальных предпочтений к социальному выбору, остается за пределами этой теоретической доктрины. С точки зрения менеджеризма индивидуальные предпочтения выражаются через организационные единицы, и социальный выбор осуществляется между этими единицами [31, 159–165].

Капитализм основан на допущении того, что результаты экономической деятельности опираются на решения о покупках и продажах, принятые индивидуальными потребителями. Менеджеризм содержит иное предположение — предположение, что нельзя осуществлять эффективную власть в процессе индивидуального выбора. В этой системе взглядов социальные решения (даже скорее экономические) возникают из трансакций между институциональными единицами, включающими в себя индивидов. Идеология менеджеризма не может рассматриваться как форма демократии. Построенное на ее принципах общество не отвечает на нужды и чаяния своих граждан, в нем влияние осуществляется через организации. Общество становится свидетелем взаимовыгодных трансакций между менеджментом различных организаций. Если люди принадлежат к организациям, которые эффективно отстаивают их интересы, они могут извлечь выгоду из этих трансакций. Если они не принадлежат к организациям, то и выгоды, скорее всего, не извлекут. Менеджеризм может выступать в двух формах: как процесс и как идеология.

У. Энтеман полагает, что менеджмент стремится уклониться от погружения в специфику организаций. Следовательно, менеджмент снижает свою долю ответственности за принятые решения. Такое устранение

основывается на тезисе о профессиональном менеджере-«дженералисте», который обладает универсальным управленческим знанием, предоставляющим ему возможность, во-первых, избегать погружения в отраслевые и технологические детали организации и, во-вторых, безболезненно обеспечивать своим знаниям свободную конвертацию в различных организациях [31, 159–165]. Так, менеджеры переводят свою практическую компетенцию, предоставленную им конкретной управленческой должностью в рамках конкретной организации в универсальные сертификаты (credentials), дающие властные права в любой организации.

Для менеджеров важен тезис о вечном существовании организации. Это имеет такое исключительное значение по нескольким соображениям: во-первых, менеджменты различных организаций, вступая в транзакции, предполагают, что их партнеры по транзакции будут существовать постоянно, а следовательно, обязательства будут выполнены; во-вторых, У. Энтман полагает, что менеджменту часто приходится брать на себя обязательства от имени корпорации перед персоналом. Если предполагается, что организация будет существовать всегда, будущие менеджеры могут снять себя ответственность по обязательствам их предшественников [31, 163].

Эволюция менеджмента, как конкретной организационной формы и менеджизма, как теоретических взглядов, сопровождалась конструированием и распространением особой системы убеждений и ценностей, с помощью которых легитимируются социальный статус и власть менеджеров [9, 75].

Среди прочего развитие управленческой идеологии отражает возрастание бюрократизации в организациях, созданных с экономическими целями. Реализация такой идеологии означает, что ценности коллективной работы и организационной интеграции, представленной в идеологии человеческих отношений, вытесняются дарвиновской борьбой за выживание и преследованием собственных интересов (атрибуты тейлоризма). Менеджеры заявляют о том, что существует область деятельности — управление, требующая специальной теоретической подготовки и овладения определенными знаниями. Те, кто не прошли соответствующей подготовки, не обладают легитимностью для управления работниками организации. Профессиональный менеджер имеет набор сертификатов (credentials), позволяющий ему принимать решения за других, например, решение о проведении эксперимента на атомной станции, несмотря на возражения ведущего технического специалиста. Эти решения обосновываются интересами организации или общества. Ответственность за принятое решение менеджеры принимают на себя, но при необходимости могут переложить ее на организацию, мотивируя тем, что действовали в ее интересах.

Таким образом, менеджериальная идеология общесоциального уровня, разрабатываемая в качестве инструмента символической рационализации, вполне успешно применяется на микроуровне, реализуясь в управленческих практиках и декларациях менеджеров в конкретных организациях, становясь инструментом поддержания символической гегемонии.

Для менеджеров обладание собственной идеологией важно по нескольким причинам. Во-первых, идеология легитимирует власть управленцев

на конкретном предприятии: утверждается, что только подготовленные специалисты в области управления имеют легитимные основания для установления целей деятельности персонала и экспертной оценки технологии достижения этой цели. Идеология в данном контексте выступает в качестве дополнительного властного ресурса на микроуровне, если таковым считать отдельную хозяйственную единицу.

Во-вторых, идеология помогает приобретению относительных преимуществ на «рынке» социальных групп: без участия управленцев зрелые индустриальное и постиндустриальное общество не может функционировать — оно движется к энтропии, и только «знающие, как и почему», управленцы устраняют излишнюю напряженность в функционировании общественного механизма. Истоки такого видения места менеджеров лежат в идеалах Просвещения, рисовавшего проект социума как отлаженного рационального механизма, подобного часовому, и менеджерам отводится в нем место часовщиков, следящих за нормальной работой этого механизма. Эта часть идеологии способствует повышению статуса социальной группы. Идеология в этом случае является дополнительным символическим ресурсом, используемым социальной группой для получения преимуществ в рамках социетальной системы. Символический ресурс легко конвертируется в экономический, выгоды от использования которого носят вполне материальный характер, выражающийся в дополнительных бонусах топ-менеджменту, лучших условиях труда и более выгодных условиях трудовых контрактов по сравнению с рядовыми сотрудниками. Менеджеристская идеология утверждает непреходящую значимость социальной группы менеджеров, используя различную аргументацию.

Говоря о менеджризме, У. Энтеман включает не только менеджмент деловых организаций, но также менеджмент множества организаций общественного сектора. Менеджеры всех организаций участвуют в транзакциях друг с другом и из этих транзакций возникают реальные социальные решения. В процессе заключения сделок менеджеры остаются незаинтересованными в социальных последствиях своих сделок. Они пытаются продвинуть свои собственные цели и задачи. Эти цели и задачи могут совпадать с интересами организации, но они отнюдь не проистекают из национальных или социальных целей и задач. Транзакции и сделки управляют всем течением жизни обществ конца XX — начала XXI в. Менеджеристская перспектива декларирует, что в общественном управлении большое значение приобретают множества крупных и мелких транзакций, которые предпринимаются автономно, вне связи с долгосрочными последствиями.

Менеджеризм можно интерпретировать как теорию сговора, полагающую, что менеджеры участвуют в некотором комплексном и скрытом сговоре, направленном на исключение влияния государства, поскольку индивидуальный социальный выбор интерпретируется как атомарный по отношению к другим. Менеджмент организаций стремится прийти к соглашению максимизирующему собственную выгоду (в первую очередь) и направленному на достижение целей собственных организаций (во вторую очередь). Суммировать взгляд У. Энтемана на версию менеджризма конца XX в. можно следующим образом:

1. Общество представляет собой совокупность социальных единиц, большинство из которых представляет собой деловые и государственные организации.
2. Организации являются основными экономическими акторами и, действуя рационально, вступают в трансакции с другими организациями.
3. Решения о трансакциях принимаются менеджментом организаций.
4. Следовательно, менеджмент организаций является ключевым источником принятых решений, касающихся экономической сферы.

Проекты создания общества на принципах менеджизма остаются проектами, однако на уровне организации менеджмент пользуется тезисами менеджеристской идеологии в повседневном течении управленческих практик.

Идеология менеджмента может выполнять различные функции. Во-первых, она будет стремиться утверждать и защищать социальную установку на то, что цели и политика менеджеров находятся в соответствии с широко представленными социальными ценностями. Во-вторых, менеджерское управление укрепляется с помощью пропаганды определенного имиджа управленцев — некоего социально признаваемого образа, идеала. Суть этого идеала состоит в том, что менеджеры обладают моральной ответственностью и специальными знаниями, необходимыми для разработки и внедрения социально-экономических инноваций в существующий общественный порядок. В-третьих, в самом менеджменте идеология менеджизма регулирует отбор необходимых инструментов контроля среди различных форм разделения труда. Таким образом, фиксируются определенные формы социального производства и воспроизводства. Наконец, сами менеджеры стремятся рассматривать свои действия как осмысленные, находящиеся в русле интересов организации, таким образом, происходит рационализация каждого решения, принятого отдельным менеджером, и эту рационализацию можно назвать когнитивной.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С.* Социологический словарь: Пер. с англ. / Под ред. С.А. Ерофеева. Казань, 1997.
2. *Макинтайр А.* После добродетели: Исследования теории морали. М.; Екатеринбург, 2000.
3. *Мамфорд А.* Миф машины. Техника и развитие человечества. М., 2001.
4. *Маркс К.* Капитал // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 23.
5. *Миклауэйт Дж., Вулридж А.* Магия менеджмента. М., 2004.
6. *Миллс Ч.Р.* Социологическое воображение. М., 1998.
7. *Ритцер Дж.* Современные социологические теории. СПб., 2002.
8. *Романов П.В.* Социология менеджмента и организаций. Ростов н/Д: Феникс, 2004.
9. *Романов П.В.* Социологические интерпретации менеджмента: исследования управления, контроля и организаций в современном обществе. Саратов, 2000.
10. *Фуко М.* Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999.
11. *Хейвуд Э.* Политология. М., 2005.
12. *Эггертссон Т.* Экономическое поведение и институты. М., 2001.
13. *Alvesson M., Karreman D.* Varieties of discourse: On the study of organizations through discourse analysis // Human Relations. 2000. Vol. 53. No 9. P. 1125–1149.

14. *Alvesson M.*, Willmot H. Making sense of management: A critical introduction. L.: Sage, 1996.
15. *Baran P.*, *Sweezy P.* Monopoly capital: An essay on the American economic and social order. N.Y., 1966.
16. *Baritz L.* The servants of power. A history of the use of social science in American industry. N.Y., 1965.
17. *Barnard C.I.* The functions of the executive. Cambridge (Mass.), 1938.
18. *Bauman Z.* Modernity and the Holocaust. N.Y. Ithaca, 1989.
19. *Bendix R.* Work and authority in industry: Ideologies of management in the course of industrialization. Harper & Row, 1956.
20. *Berle A.A.*, *Means G.C.* The modern corporation and private property. N.Y., 1932.
21. *Boje D.M.* (1999, April 2002). Managerialist Storytelling. Available: <http://cbae.nmsu.edu/~dboje/managerialist.html> [2003, 8/4/2003].
22. *Boje D.M.* Stories of the storytelling organization: A postmodern analysis of Disney as Tamara-land // *Academy of Management Journal*. 1995. Vol. 38. № 4. P. 997–1035.
23. *Boje D.M.* The storytelling organization: A study of story performance in an office-supply firm // *Administrative Science Quarterly*. 1991. Vol. 36. № 1. P. 106–126.
24. *Braverman G.* Labor and monopoly capitalism: The degradation of work in the twentieth century. N.Y., 1974.
25. *Carr F.* The public service ethos: Decline and renewal // *Public Policy and Administration*. 1999. Vol. 14. № 4. P. 1–16.
26. *Chia R.* Discourse analysis as organizational analysis // *Organization*. 2000. Vol. 7. № 3. P. 513–518.
27. *Considine M.* The corporate management framework as administrative science: a critique // *Australian Journal of Public Administration*. 1988. Vol. XLVII. № 1. P. 4–18.
28. *Crompton R.*, *Jones G.* White collar proletariat. L., 1984.
29. *Daems H.* The rise of the modern industrial enterprise // A.D. Chandler, H. Daems. Managerial hierarchies: Comparative perspectives on the rise of the modern industrial enterprise. Cambridge (Mass.), 1980.
30. *Edwards R.* Contested Terrain: The Transformation of the workplace in the Twentieth century. L., 1979.
31. *Enteman W.F.* Managerialism: The emergence of a new ideology. Madison, 1993.
32. *Fitch R.* Sweezy and corporate fetishism // *Monthly Review*. 1971. November.
33. *Goffman E.* Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates. Doubleday, 1961.
34. *Haga W.J.* Managerial professionalism and the use of organization resources // *American Journal of Economics and Sociology*. 1976. Vol. 35. № 4. P. 337–348.
35. *Heckscher C.C.* The new unionism: Employee involvement in the changing corporation. Ithaca (N.Y.), 1996.
36. *Iedema R.* Discourses of post-bureaucratic organization. Amsterdam, 2003.
37. *Iedema R.*, *Wodak R.* Organizational discourses and practices // *Discourse and Society* 1999. Vol. 10. № 1. P. 5–21.
38. *James D.R.*, *Soref M.* Profit constraints on managerial autonomy: Managerial Theory and the unmaking of the corporation president // *American Sociological Review*. 1981. Vol. 46. № 1.
39. *Jensen M.*, *Meckling W.* Theory of the firm: managerial behavior. Agency costs and ownership structure // *Journal of Financial Economics*. 1976. Vol. 3. P. 305–360.
40. *Littler C.* The development of the labour process in capitalist societies. L., 1982.
41. *Manne H.G.* Merger and market for corporate control // *Journal of Political Economy*. 1965. № 73 (April). P. 110–120.



- 
42. *Manne H.G.* The «higher criticism» of modern corporation // *Columbia Law Review*. 1962. Vol. 62. № 3. P. 399–432.
  43. *Maor M.* The paradox of managerialism // *Public Administration Review*. 1999. Vol. 59. № 1. P. 5–18.
  44. *Marglin S.* The origins and functions of hierarchy in capitalist production // *Nichols T.* capital and labor. Glasgow, 1980.
  45. *Martin J.* Deconstructing organizational taboos: The suppression of gender conflict in organizations // *Organization Science*. 1990. Vol. 1. № 4. P. 339–359.
  46. *Osborne D.E., Gaebler T.* Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Reading (MA): Addison-Wesley, 1992.
  47. *Parsons T.* Structure and process in modern societies. Glencoe (Ill), 1960.
  48. *Pfeffer J.* Power and organizations. Pitman, 1981.
  49. *Pollard S.* Genesis of modern management. Cambridge (Mass), 1965.
  50. *Pollitt C.* Managerialism and the public service: the Anglo-American experience. Cambridge (MA), 1990.
  51. *Reed M.* The limits of discourse analysis in organizational analysis // *Organization*. 2000. Vol. 7. № 3. P. 524–530.
  52. *Terry L.D.* Administrative leadership, neo-managerialism, and the public management movement // *Public Administration Review*. 1998. Vol. 58. № 3. P. 194–200.
  53. *Thompson J.D.* Organization in action. N.Y., 1984.
  54. *Weiss R.* Managerial ideology and the social control // *Deviance in Organizations*. N.Y., 1985.
  55. *Zaleznik A., Christensen C.R., Roethlisberger F.J.* The motivation, productivity, and satisfaction of workers. Boston, 1958.
  56. *Zeitlin M.* Corporate ownership and control: the large corporation and capitalist class // *The American Journal of Sociology*. 1974. Vol. 79. № 5. P. 1073–1119.

## ИНТЕГРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

### П. СОРОКИНА

*Питири́м Александрович Сорокин* родился (по уточненным данным) 23 января 1889 г. в селе Турья Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Республика Коми). Родителями Сорокина были Александр Прокопьевич — «золотых, серебряных и чеканных дел мастер» и Пелагея Васильевна (в девичестве предположительно Ячменева), дочь коми-крестьянина из села Жешарт Яренского уезда. Детство Сорокина прошло в странствиях в поисках работы по Коми краю вместе с семьей. Мать умерла, когда Сорокину исполнилось пять лет, в дальнейшем он и двое других братьев подолгу жили у сестры матери — Анисьи Васильевны Римских — в деревне Римья неподалеку от Жешарта. В возрасте 12 лет Сорокин лишился отца. В 1901 г. он поступил в церковно-учительскую школу второй ступени в селе Гам и в 1904 г. после ее окончания был направлен на учебу в церковно-учительскую семинарию в селе Хреново Костромской губернии. Эту школу он не окончил, т. к. в 1906 г. был арестован за политическую деятельность как социалист-революционер и отчислен после трехмесячного заключения из числа учащихся. В 1907 г. он уезжает в Санкт-Петербург для продолжения образования и по протекции известного просветителя коми, профессора К.Ф. Жакова, поступает на общеобразовательные курсы А.С. Черняева для подготовки к экзамену на аттестат зрелости по гимназической программе.

Именно в этот период развивается и крепнет его интерес к социологии, к поведенческим наукам вообще, хотя при явном поощрении Жакова Сорокин уделяет много внимания изучению истории коми, этнографии, краеведения и археологии. Он начинает участвовать в экспедициях по изучению Печорского края и других полевых исследованиях, активно накапливая материалы наблюдений и эмпирические данные.

Уже в первой известной нам статье молодого ученого — «Колониальные вождения» — он показал себя ярким публицистом и полемистом с отточенной логикой. Однако первая строго научная его статья — «Пережитки анимизма у зырян» (1910). Опираясь на предложенный Э. Тайлором «метод пережитков», на его историко-религиоведческие воззрения, а также на труды К.Ф. Жакова и В.П. Налимова, Сорокин написал статью в духе классического эволюционизма, доказывая сохранение анимизма в качестве основы верований современных зырян. На примере анализа представлений коми-зырян о двух душах человека — «лов» и «орт», сакральных процедур, верований о домовых и иных духах он показал, что участие предков в делах живущих людей рассматривается зырянами как одно из важнейших условий стабильного функционирования социума, а многочисленные ритуалы и нормы этикета следует воспринимать как отражение воззрений на соотношение двух миров — живого и мертвого.

В статье также описаны семейные обряды, охотничий кодекс, правила и предписания народной медицины, представления о порче и колдовстве. Помимо этой работы, в 1910 г. выходят еще две его статьи: «Историко-статистический очерк зырян» (совместно с Жаковым) и «К вопросу об общине у зырян».

В 1911 г. опубликованы статьи «Современные зыряне» и «К вопросу об эволюции семьи и брака у зырян». Первая являет собой сжатый очерк по этнографии коми: этнические границы расселения, данные об архитектуре жилищ, структуре хозяйств, источниках доходов, описание обрядов и быта зырян. Там же описан этнопсихологический портрет коми, перспективы эволюции хозяйственного уклада и культуры. Во второй статье Сорокин, опираясь на собственные наблюдения, описал основные этапы развития семейно-брачных отношений у зырян. Влияние социально-антропологических концепций Л.Г. Моргана и Ю. Липперта, а также исторических взглядов М.М. Ковалевского сказалось на явном стремлении обнаружить связь современных норм отношений между полами с первобытными формами брачных институтов.

В последующие годы интересы Сорокина уходят от этнографических к социальным проблемам, но он все же несколько раз возвращается к данной теме: так, в 1917 г. была опубликована одна из наиболее полных работ по религии коми — «К вопросу о первобытных религиозных верованиях зырян». Основная идея работы: реликты тотемизма, как исторически первой формы религии, сохраняются в мировоззрении коми до начала XX в. Заметим, что Сорокин, как и Э. Дюркгейм, вкладывает в понятие «тотемизм» несколько иное содержание, чем классическая этнография после Дж. Мак-Леннана. Основа тотемизма, в версии Сорокина, заключена в разделении окружающего мира на сакральное и профанное, и на этой основе он и пытается объяснить содержание религиозно-мифологических верований коми. Выводы Сорокина находились в русле современных ему исследований, которые позже привели к обоснованию роли двойного принципа в культуре обществ с дуальной социальной организацией, что наиболее полно было сделано в структурной антропологии К. Леви-Стросса.

Эти первые этнографические статьи Сорокин опубликовал, уже будучи студентом, сдав летом 1909 г. экзамены экстерном на аттестат зрелости в Великоустюжской мужской гимназии и поступив в Психоневрологический институт в Санкт-Петербурге. С 1910 г. он перевелся на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1914 г., после чего был оставлен на кафедре уголовного права для подготовки к профессорству. В этот период Сорокин пишет статьи на самые различные темы: о предмете социологии, теории прогресса и эволюции, философии Л. Толстого, преступности и ее социальных корнях, самоубийствах, символах в общественной жизни, институтах брака и семьи, социальной роли войны и пр. В конце 1913 г. он выпустил книгу «Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали». Сорокин исходил из того, что все акты поведения людей несут определенную моральную нагрузку, подразделяясь на «должные», «запрещенные» и «рекомендованные». Должное воспринимается окружающими эмоционально нейтрально, рекомендованные поступки строятся на симпатии и любви, а запрещенные порождают неприязнь

и враждебность. Называя рекомендованное поведение подвигом, а запрещенное — преступлением, Сорокин приписывает им соответствующие реакции окружающих — награды и кары. Анализируя мотивацию поведения, он формулирует несколько «теорем» влияния кар и наград на поступки людей. Значение этой работы на становление современных взглядов на социализацию личности несомненно, однако в ней содержится и определенный подтекст. Динамика кар и наград, согласно эволюционистским взглядам Сорокина, подчинена развитию общества от примитивных антагонистических форм через преодоление кастовых, сословных и классовых противоречий к современным демократическим структурам, идя параллельно развитию личности. В перспективе, по мысли Сорокина, все акты поведения должны мотивироваться не внешними ожиданиями окружающих, а внутрличностными императивами, из которых основной — любовь к ближнему.

Социологи с одобрением встретили работу, заметив не только солидную теоретическую подготовку автора, но и прозрачную критику социального устройства царской России. Примечательна эта студенческая работа и тем, что интерес Сорокина к вопросам морали, духовности, как следствие воспитания и раннего религиозного образования, остался у него на всю жизнь. В конце творческого пути именно на этой проблематике сосредоточил он свои усилия.

В период подготовки к профессорству и магистерскому экзамену помимо изучения уголовного права и прочих юридических курсов он уделяет много внимания уголовной социологии, проблемам войны и мира, разработке концепции, позднее получившей название «мирового правительства», популяризации и критике того времени социологических воззрений русских и зарубежных ученых. Сорокин активно сотрудничает в нескольких научных журналах, а после смерти своего учителя М.М. Ковалевского принимает деятельное участие в создании социологического общества его памяти. В конце 1916 г. Сорокин успешно сдает экзамен и становится приват-доцентом университета, однако защита его диссертации откладывается из-за начавшейся в России революции.

Политическая деятельность Сорокина как лидера правых эсеров занимает почти два года и только в декабре 1918 г. он возвращается к преподаванию на вновь образованном факультете общественных наук Петроградского университета.

Основной труд Сорокина в российский период творчества — это «Система социологии», первые два тома которой, посвященные «социальной статике», вышли в свет в 1920 г. Созданная в русле «умеренного бихевиоризма», с опорой на эмпирию и методологию, схожую с естественно-научной, эта система, по мысли автора, позволяла разложить всю общественную жизнь на «явления взаимодействия двух и более людей» и обратно — по такому взаимодействию воссоздать полную картину общественного устройства, комбинируя различные процессы взаимодействия, «получить любые события, начиная с увлечения танго и футуризмом и кончая мировой войной и революцией», смоделировать любую организацию или группу, начиная с трамвайных попутчиков и кончая Лигой Наций.

Простейшая модель взаимодействия имеет три элемента, три составляющие: индивиды, акты поведения, проводники взаимодействия. Анализ

каждого элемента, соответственно по таким характеристикам, как потребности людей, осознанность и интенсивность поведения, материальность или символичность проводников, позволил Сорокину классифицировать виды взаимодействия на антагонистическое и солидарное, стереотипное и нешаблонное и т. д. Он также подробно исследовал факторы, способствующие как сохранению, так и разложению системы социального взаимодействия: обычаи, мораль, законы, благосостояние, качество питания и пр. В этой концепции заметно влияние Г. Зиммеля, а сама она во многом предвосхитила многие теоретические положения символического интеракционизма, в становление которого труды Сорокина внесли впоследствии огромный вклад.

Во втором томе рассмотрена структура общества в целом, исходя из посылки, что устоявшиеся воспроизводимые системы взаимодействий служат каркасом для формирования социальных групп и их агрегатов. Человек одновременно является абонентом множества социальных групп, слоев, конгломератов и пр., классификация которых на односторонние и многосторонние, закрытые и открытые и т. п. позволяет Сорокину перейти к более подробному анализу классов, партий, государства, конфессиональных групп, элит.

Третий том в полном объеме не был напечатан, но в «Общедоступном учебнике социологии» содержится его краткое изложение под названием «Социальная механика». В «Системе социологии», вопреки расхожему мнению о ней как о ранней и тупиковой бихевиористской работе, можно обнаружить едва ли не все идеи, позднее глубоко разработанные Сорокиным на качественно ином уровне. Это касается и социологии революций, или, как принято говорить сейчас, — социальных изменений, и теорий элит и социальной мобильности и стратификации, и социально-культурной динамики. Точность формулировок, игнорирование псевдопроблем и стремление вывести из теории практические выводы прикладного характера выгодно отличают работу от социологической литературы того времени. Так, одна из глав книги еще в России выросла в самостоятельное исследование о влиянии голода на социальную организацию, общественную жизнь и поведение людей. Книга «Голод как фактор» начала печататься в 1922 г., но не вышла в свет, поскольку Сорокина через несколько месяцев после защиты магистерской диссертации выслали за рубеж, вменив ему как и многим другим интеллигентам в вину то, что они находились в идейной оппозиции режиму. Попав в эмиграцию, сначала в Праге, затем в США он продолжает научную деятельность.

В 1925 г. он выпускает первую свою книгу в Америке — «Социологию революций». Написанная в русле методологических установок «Системы социологии», она дает на примере 70 революционных ситуаций анализ трехфазового изменения поведения индивидов в условиях перемешивания и ломки устоявшихся социальных групп, слоев, структур. Кроме того, в работе дан анализ изменений в языке, одежде, семейно-брачных отношениях, питании, генетическом коде нации, ее отношении к своей истории и т. п.

С 1924 г. Сорокин преподает социологию революций и социальную морфологию в университете штата Миннесота. Там в 1927 г. выходит его книга «Социальная мобильность», написанная опять-таки в методологи-

ческом ключе «Системы социологии». Сорокин противопоставил межгрупповые и внутригрупповые отношения, придав последним главенствующую роль, и вывел при анализе на первый план понятие «статус». Он понимал его как совокупность прав и обязанностей, привилегий и ответственности, власти, благосостояния и образования. Разница в статусе определяет стратификацию членов группы по трем основным осям: экономической (богат — беден), политической (руководитель — подчиненный), профессиональной (квалифицированный — неквалифицированный). Рассмотрев на богатом историческом материале эту схему, Сорокин пришел к выводу, что стратификация константна для любого общества, а социальное неравенство функционально необходимо для сохранения социума, все элементы которого находятся в динамическом равновесии. Причина стратификации в извечных различиях отдельных людей, а вот критерии стратификации могут быть самыми разными, и только в том случае, если они сбалансированы между собой, социальная структура имеет относительную устойчивость. Поддерживать баланс помогает социальная мобильность, как горизонтальная так и вертикальная, отличительные черты которых в сравнении со случайными перемещениями: воспроизводимость, массовость, законообразность и наличие таких последствий, как изменение статуса или групповой принадлежности. В целом эта работа Сорокина заложила фундамент практически всех современных концепций мобильности и стратификации.

В 1928 г. вышла в свет его книга «Современные социологические теории», долгое время служившая учебным пособием в американских университетах и колледжах. Систематизировавшая накопленный Сорокиным за годы учебы огромный материал по истории социологических учений, эта книга впервые в Америке дала подробный анализ трудов европейской школы. В какой-то мере связанная логикой изложения с генетической социологией его учителя М.М. Ковалевского и взглядами историка В.М. Хвостова, работа Сорокина была совершенно оригинальна и оказала большое влияние на последующие труды американских историков социологии.

На основе идей, содержащихся в «Социальной мобильности», Сорокин начал разрабатывать проблемы сельской и городской социологии, вложив в этот труд все свои знания предмета, полученные в России. Основное внимание он уделит проблемам урбанизации, миграции в города, разнице в уровне жизни сельского и городского населения. В 1929 г. вместе с Циммерманом он издает книгу «Основы сельской и городской социологии», основным стержнем которой стала предложенная ими модель «сельско-городского континуума», где системно связаны идеальные город и деревня, полярные по целому ряду характеристик, таких как род занятий населения, тип окружающей среды, степень социальной гетерогенности, уровень мобильности и интенсивность социальных взаимодействий. Несмотря на недостатки (например, демографический уклон в оценке перспектив роста городов, романтизация сельской общины, схематичность предложенной поляризации города и деревни), эта работа заложила основу целого направления в социологии.

Дальнейшие разработки сельской и городской социологии Сорокин осуществил вместе с Циммерманом и Гэлпином, составив «Систематический указатель книг по сельской социологии», три тома которого вышли

один за другим в 1930–1932 гг. К этому времени Сорокин уже перешел на преподавательскую работу в Гарвардский университет и создал там факультет социологии.

К 1930-м гг. у Сорокина сложился замысел нового труда, интегрирующего взгляды ученого в областях социологии, культурологии, этики, психологии, политэкономии и пр. Вероятно, что два события послужили главными вехами в его разработки. Общее апокалиптическое настроение интеллигенции начала века, волна дискуссий, поднятая шпенглеровским «Закатом Европы», личные ощущения Сорокина на переломе времен, когда Россия вступала в период буржуазного развития, впечатления от гибели культуры в Первую мировую войну, с одной стороны, и последняя встреча с Н.Д. Кондратьевым в 1925 г., когда им уже владела идея концепции больших конъюнктурных циклов, — с другой. Именно под влиянием Кондратьева Сорокин нащупывает свой вариант выхода из кризиса, охватившего западную цивилизацию, создавая теорию социально-культурной динамики, куда циклы Кондратьева входят как частный случай.

Становление Сорокина как ученого совпало с господством в архитектуре, искусстве, литературе стиля модерн. Можно спорить о том, был ли сам Сорокин модернистом в социологии, но несомненно, что Серебряный век русской культуры оказал решающее влияние на его формирование как личности. Именно в этот период многими творческими личностями владел образ пророка, ведающего все тайны мироздания, миссия которого — спасение земли и людей от катастрофы. Похоже, что служение великой идее, добровольно взятой на себя миссии стало рефреном всего творчества Сорокина, послужив катализатором создания цельной макросоциологической теории, претендующей на интегральное положение в мире идей.

Основной тезис 4-томной «Социальной и культурной динамики» — сверхорганическая система ценностей или «истин», «нормо-законов», является решающим фактором детерминации всех общественных явлений. Система эта развивается по имманентным ей законам, а люди и общественные отношения, как зависимые переменные истории, являются носителями и проводниками системных ценностей, или «нормо-законов», как называл их Сорокин вслед за одним из своих учителей — Л.И. Петражицким. Таким образом, историческая действительность представляет собой иерархию в различной степени интегрированных культурных и социальных систем от мелких до самых крупных — суперсистем, охватывающих массы людей и их взаимодействий, существующих веками и определяющих все виды нравственно-духовной деятельности: религию, науку, искусство, язык, философию, этику, право и т. д.

Категория «культурная суперсистема», таким образом, является исходной для типологизации культурного развития. Каждая суперсистема ценностей — это специальный вид исторической целостности, интегрированный в некий духовный идеологический стиль. Стиль структурно определяется ответом на четыре вопроса: каковы превалирующие представления о природе бытия, каковы основные потребности человека, степень их реализации и методы их удовлетворения. В зависимости от способа получения ответов на эти вопросы вычленяются два основных стиля, два типа культуры: чувственная, или сенсативная, и умозрительная, или рассудочная. Существуют и смешанные типы культур, среди них Сорокин выделя-

ет «идеалистический» тип с интуитивным способом получения ответов на вышеуказанные четыре вопроса.

В каждый исторический момент господствует одна из суперсистем, хотя на периферии ее ценностного ядра можно обнаружить как осколки предыдущей, так и ростки новой суперсистемы. Каждая суперсистема относительна, ее ценности лишь частично объясняют бытие, а имманентное человеческой природе развитие познания ведет к динамике суперсистем, к их флуктуации, в основе чего лежит принцип лимита. Кульминация развития одной из них означает достижение предела ее познавательных возможностей, и дальнейшее существование суперсистемы лишь увеличивает относительность ее истин и ценностей. Одновременно расширяется поиск новых ценностей, так что в целом развитие общества представляет собой непрерывную флуктуацию от сенсативных к умозрительным суперсистемам с относительно короткими периодами баланса между ними в виде идеальных ценностных суперсистем. Кризис современного общества с его сенсативным типом культуры, по Сорокину, — это один из этапов флуктуации, который будет преодолен с наступлением господства умозрительной суперсистемы.

Практически все последующее творчество Сорокина так или иначе строилось вокруг темы кризиса современной культуры и общества. Он настойчиво указывал на происходящую деградацию и неизбежность мировой катастрофы при сохранении старых норм взаимоотношений между людьми, пытался подсказать способы преодоления кризиса и последующей «моральной реконструкции человечества». К работам этого плана относятся несколько его книг, ключевые из которых — «Кризис нашего века», где в популярной форме были изложены основные положения его теории социально-культурной динамики, а также «Общество, культура, личность», являющаяся обобщающим трудом интегральной социологии Сорокина. Нельзя не отметить и ряд его работ по истории социологии, в первую очередь книгу «Социологические теории сегодня», написанную в 1963 г.

Последние два десятилетия жизни Сорокин посвятил работе созданного им Гарвардского исследовательского центра по созидательному альтруизму. Исследования энергии любви, сущности и возможности исключительного поведения, которые ранее попадали в сферу интересов исключительно религии и этики, не получили широкой поддержки со стороны многих его коллег в США и исследовательских институтов. Тем не менее все результаты работ центра были опубликованы и оказали определенное воздействие на общественную мысль 1950-х гг.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Сорокин П.А.* Дальняя дорога: Автобиография. М., 1992.
2. *Сорокин П.А.* Система социологии. М., 1993. Т. 1, 2.
3. *Сорокин П.А.* Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
4. *Голосенко И.А.* Питирим Сорокин: судьба и труды. Сыктывкар, 1991.



---

Раздел II

ОБЩАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ТЕОРИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ  
СОЦИОЛОГИИ ВТОРОЙ  
ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

---

История теоретической социологии

Стабилизационное сознание и социологическая теория в век кризиса

---

# ТЕОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ТОЛКОТТА ПАРСОНСА

## I. ХАРАКТЕР, ЗАДАЧИ И ИСТОЧНИКИ ТЕОРИИ

*Толкотт Парсонс* (1902–1979) еще при жизни стал классиком американской (и мировой) теоретической социологии, даже если судить только по числу критических откликов и контрпостроений, отправлявшихся от его работ. Он учился в США, Англии и Германии (в т. ч. в Лондонской школе экономики и Гейдельбергском университете, где написал диссертацию о понятии капитализма в немецкой общественно-научной литературе, в основном у В. Зомбарта и М. Вебера), отличаясь в молодости редкой разнонаправленностью интересов: от медицины, физиологии и биологии до психологии, экономики и общей социологии. Все это впоследствии так или иначе отразилось в синтезирующих устремлениях его «общей теории действия». Академическая карьера Парсонса была связана в основном с Гарвардским университетом, где он преподавал с 1927 г. и считался главой так называемой гарвардской школы теоретиков в обществоведении.

Критики Парсонса и многие историки социологии, особенно в 1950–1970-х гг., воспринимали его в двух отдельных планах: как создателя одной из теорий социального действия, продолжателя веберовской традиции, и как типичного функционалиста, автора самой развернутой структурно-функциональной теории социальных систем. При таком раздельном взгляде Парсонс-теоретик казался сплошь противоречивым: с одной стороны, в ранней книге «Структура социального действия» (1937) — методологическим индивидуалистом (номиналистом), идеалистом и волюнтаристом, недооценивающим объективные социальные ограничения на степень свободы человеческого действия; с другой, после второй большой книги «Социальная система» (1951), — антииндивидуалистом, типичным продолжателем традиций позитивистского (континентского) органицизма или дюркгеймианского методологического «реализма» (по-другому — «эссенциализма», т. е. представления общества самостоятельной реальной сущностью, развивающейся по своим законам, независимым от законов индивидуальных действий).

Однако сам Парсонс в позднем автобиографическом очерке, в своей интеллектуальной автобиографии [5] отстаивал цельность и последовательность своего теоретического развития на протяжении более чем сорока лет. Незадолго до смерти Парсонса целостный подход к его теориям восторжествовал (большую роль в этом сыграла статья 1978 г. Джеффри Александера [12] «Формальный и содержательный волюнтаризм в трудах Толкотта Парсонса»). Парсонсу поверили, что за полвека работы над

теорией действия он до конца сохранял постоянство и непрерывность своих гносеологических и методологических предпосылок, в свете которых надо пытаться понять и кажущиеся нарушения преемственности и логики понятий в разновременных трудах. Анализ понимания Парсонсом смысла и задач теории в общественных науках, анализ его ранних решений по центральному для западной социальной философии проблемам действия, порядка, рациональности, формальной и реальной свободы позволил глубже и вернее понять и его концепцию социальных систем как пробный вариант все той же теории действия. Здесь мы следуем этой уже оправдавшей себя традиции [6; 7; 8].

Значительная часть обильной критики Парсонса (рассмотрение которой не входит в задачу данной работы) порождалась непониманием или неприятием самой его концепции теории. Парсонс считал ограниченным и эмпирическое толкование теории (как множества суждений о конкретной области социологического исследования, которые или уже проверены, или допускают эмпирическую проверку), и чрезмерно строгое употребление термина «теория» исключительно для обозначения логической дедуктивной системы с явными, формально установленными аксиоматическими посылками с последующим выведением из них логических следствий и проверкой последних известными фактами. Парсонс больше интересовался стадия теоретической деятельности, предшествующая формулировке эмпирической теории, т. е. какого-то содержательного знания о причинных, функциональных, логико-символических и пр. отношениях между социальными явлениями. Построение такой теории требует предварительной систематизации языка науки, упорядочения понятий, в которых могут быть сформулированы положения содержательной теории. Заготовкой на все случаи жизни, сравнением, приспособлением и распространением понятийных схем на многообразные ситуации, изучаемые разными общественными науками, дабы сделать их аналитические языки взаимопонятными и сопоставимыми, и занимался Парсонс в первую очередь.

Его теория действия задумывалась как некая универсальная система координат, «система отнесения» (frame of reference), т. е. как предельно общая система категорий, в которых одновременно «приобретает смысл» эмпирическая научная работа во всех родственных дисциплинах: социальной антропологии, социологии, экономике и др. В качестве системы отнесения теория действия не претендует на открытие содержательных эмпирических закономерностей, но в общем виде указывает, что такое социальное действие (тем помогая выделить из бесконечности опыта черты, интересующие именно социологию, и отбросить все не относящееся к делу, вроде физико-химических процессов, сопровождающих человеческое действие), какие понятия нужны для его изучения и объяснения, какова вообще природа человеческой деятельности, взаимодействия, институциональной организации и т. п.

В старом неокантианском теоретико-познавательном споре о первенстве «генерализирующих» либо «индивидуализирующих» понятий в постижении социокультурной реальности позиция Парсонса ясна: научная теория и составляющие ее понятия — «генерализирующие», общие, и смысловую или причинную связь одного индивидуального события с

другим можно определить только в отнесении к общим понятиям и универсальным законам. Наиболее удачное до своих формулировок обоснование неизбежности применения общих понятий в науках о культуре Парсонс приписывал М. Веберу. Веберовские «идеальные типы» — несомненно обобщающие понятия, но все же, по мнению Парсонса, Вебер остановился на полпути к подлинно абстрактной и систематической общей теории действия. «Идеальные типы» соотносятся с конкретной реальностью как гипотетические конструкции. Они дают обобщенные формулы воображаемых конкретных, исторически особенных явлений. Например, хотя идеальный тип целерационального действия выстраивает схему не реального, а логически чистого протекания рационального социального действия, но оно, по Веберу, «объективно возможно», т. е. тип все же имеет в виду если не реально-конкретное, то гипотетически-конкретное действие. Тип как аналитическая конструкция функционирует в качестве меры конкретных явлений действительности. Так, расстояние между идеальным объективно возможным рациональным действием и реальным субъективно рациональным действием дает меру рациональности последнего.

По мнению Парсонса, такой «идеальный тип» представляет собой сложное понятие, в котором сведен вместе ряд переменных элементов в каком-то фиксированном конкретном отношении друг к другу. Тем самым остаются нерассмотренными другие логически возможные вариации в сочетании этих переменных и сохраняется опасность абсолютизации лишь одного описания (теории) социальной реальности. Это не значит, что веберовский «идеальный тип» дает ложное знание. Просто он ограничивает наши познавательные возможности.

Дабы преодолеть эту ограниченность, надо повысить аналитичность общих понятий, к каковым принадлежит и идеальный тип. Его можно разложить на аналитические переменные элементы, т. е. на общие понятия, которые относятся не к конкретным воображаемым явлениям, но к абстрактным аспектам таких явлений. Это позволит создать в обществоведении высокоподвижную систему общих понятий, в чем-то приближающуюся к образцу классической механики, где такие понятия, как масса, движение и др. тоже ведь описывают не конкретные законченные события, но отвлеченные воображаемые аспекты конкретных событий. Парсонс называет эту свою гносеологическую позицию «аналитическим реализмом», потому что надеется на возможность установления «прямых» и «реалистичных» отношений между аналитическими элементами и абстрактными аспектами конкретных явлений. Он противопоставляет ее, во-первых, эмпиризму и, во-вторых, позиции, что научные понятия в их отношении к реальности суть лишь «полезные фикции» и никак не отражают реальных отношений: «В противовес всем этим несостоятельным взглядам можно выдвинуть теоретико-познавательную позицию, которая, как мне кажется, пронизывает данное исследование, — аналитический реализм. В противоположность фикционистской точке зрения утверждается, что по меньшей мере некоторые из общих понятий науки не фиктивны, но адекватно „схватывают“ аспекты объективного внешнего мира. Это справедливо для понятий, называемых здесь аналитическими элементами. Следовательно, занятая нами позиция, в теоретико-познавательном смысле, —

реалистическая. В то же время она избегает нежелательных последствий эмпирицистского реализма. Указанные понятия соответствуют не конкретным явлениям, но элементам в них, которые аналитически отделимы от других элементов. Нет оснований полагать, будто ценность любого одного из таких элементов или даже всех, включенных в одну логически связную систему, полностью исчерпывается описанием какой-либо конкретной вещи или события. Поэтому надо охарактеризовать термин реализм эпитетом „аналитический”» [24, 730].

Аналитический реализм применительно к теории как целокупности понятий должен предохранять теоретика от преждевременной закрытости теории, от «эмпирицистской» подмены ею, как якобы адекватным отражением, всего многообразия реальности и, следовательно, от превращения теории в независимую от действительности сущность, ибо «логически закрытая система теории становится, в эмпирицистской интерпретации, и эмпирически закрытой системой» [ibid., 476]. Ни от какой теории нельзя требовать полного описания или объяснения даже небольшого фрагмента реальности. Теория дает *не* картину действительности, а точку зрения на нее и должна отбирать из всего космоса человеческой деятельности не конкретную часть, а какой-то абстрактный аспект в качестве предмета изучения. В большинстве случаев Парсонс подразумевает под теорией «логическую систему абстрактных утверждений, абсолютно лишенных прямого эмпирического содержания» [6, 773]. Для эмпирической верификации таких утверждений потребуется «конкретизация — перевод понятий на более низкие уровни...» [3, 773].

Наиболее абстрактную точку зрения на мир событий вокруг человека обеспечивает «общая и аналитическая» теория действия. Она мыслима и как рамка, внутри которой возможна дифференциация по единственному основанию предметов обществоведческих дисциплин. Человеческие действия не существуют независимо друг от друга и тем или иным способом всегда могут быть организованы в системы. Действия, организованные вокруг личности отдельного человека, образуют «личностную систему». Это аналитическое извлечение из общей системы действия обычно осуществляет психология. Действия, организованные вокруг взаимоотношений между двумя или более индивидами, дают «социальную систему» действия. Социология — лишь одна из изучающих ее дисциплин и берет в качестве своего предмета некий особый аспект рассмотрения этой социальной системы, но не всю систему как целое. Во второй «главной» книге «Социальная система» (1951) Парсонс так определяет предмет социологии: «Для нас социологическая теория есть *тот аспект теории социальных систем, который занимается феноменами институционализации образцов ценностной ориентации в социальной системе*, условиями этой институционализации и изменений в образцах, условиями подчинения им и отклонения от какой-то совокупности таких образцов, а также мотивационными процессами, поскольку они участвуют во всем этом. В качестве мотивационных процессы эти не могут быть процессами рационального действия в экономическом смысле...» [23, 552]. Как видно даже отсюда, социологическую точку зрения на социальное действие Парсонс противопоставлял экономической, а источник основных не чисто экономических влияний на ход действия усматривал в институционализации ценностей — много-

сложном процессе, место и смысл которого уясняется только по мере развертывания системы парсонсовских понятий.

Парсонс называл свою теорию действия «волюнтаристской», но этот эпитет не следует понимать как методологическую установку на объяснение человеческого действия преимущественным влиянием фактора «свободной воли». Один из исследователей Парсонса причину выбора им термина «волюнтаризм» видит в отталкивании от господствовавшего в США 1920-х гг. бихевиоризма с его скепсисом относительно возможностей научного истолкования субъективных состояний сознания для понимания человеческого действия и в первом приближении сводит парсонсовский «волюнтаризм» к «далеко идущей претензии добиться синтеза на методологическом уровне, на уровне основ мышления, между прежде непримиримыми течениями мысли» [11, 33]. Под «методологическим уровнем» здесь имеются в виду базовые воззрения на действие в его отношении к обществу.

В самом деле, исходный замысел волюнтаристской теории действия Парсонса состоял в том, чтобы в критическом диалоге с основными социально-философскими традициями как посредствующими ступенями к собственной концепции социального действия вычленил и синтезировать в описании его свойств наиболее удачные решения: 1) индивидуалистских и утилитаристских подходов, унаследованных от эпохи Просвещения и пытавшихся учитывать субъективные и конкретные моменты в ориентации действующего лица; 2) «материалистических» подходов, отразивших в своих понятиях ограничения свободы действия материальной необходимостью, объективно-принудительным сверхиндивидуальным социальным порядком; 3) нормативистского идеализма в трактовке действия как следования нормам, как символически регулируемого и изнутри направляемого усвоенными индивидом социальными ценностями и нормами. Все эти традиции сопоставлялись и противопоставлялись одна другой по двум основным, в принципе независимым, методологическим измерениям.

Первое — это антитеза «объективизм против субъективизма», где спор идет о теоретическом выборе факторов, лежащих в основе действия. Воплощениями этой антитезы выступают у Парсонса условный «позитивизм», подчеркивающий роль объективного физического окружения «действителя» (астор), и условный «идеализм», выдвигающий на первый план субъективные ориентации, источник которых в самом действителе. Под другим названием данная антитеза появляется у Парсонса как проблема «мотивации» — проблема выбора в качестве одного из столпов теории действия либо идеально свободной внутренней, либо внешней (безразлично — идеалистической или материалистической) мотивации. Более конкретно эта же проблема выбора ставится как «проблема рациональности» (действия). Она требует решения, исходить ли при построении социологической теории из того, что социальное действие рационально в инструментальном, прагматическом значении (то есть руководствуется исключительно «техническими» соображениями чистой эффективности, которым подчинены внутренние, моральные компоненты действия), или следует учитывать также «нерациональные», идеально-нормативные моменты действия. Применительно к анализу действия в схеме «цели — средства» вопрос состоит в том, какого рода отношения средств к целям

почитать рациональными или нерациональными, в частности, насколько рациональной можно считать саму идеально-нормативную регуляцию выбора средств.

Второе измерение — это оценка степени тяготения той или иной методологической традиции либо к социальному номинализму, либо к социальному реализму. Здесь речь идет о выборе основополагающей точки зрения на отношение между индивидом и обществом: следует ли в изучении общества опираться на действия отдельных индивидов или институциональных структур, которые управляют индивидуальными действиями. Самые ясные противоположные решения этой «дилеммы» представляют «старый индивидуализм» и концепция «социального организма» [24, 74]. На более содержательном теоретическом уровне та же дилемма предстает как «проблема порядка», заставляющая выбрать способ понятийного перехода от отдельных действий к организованным социальным системам. Например, «порядок» можно толковать как результат переговоров, символического взаимодействия между индивидами, либо как прямой результат коллективной детерминации, взятой в качестве самостоятельной реальности (вроде «коллективного сознания» Дюркгейма), и т. д.

Противоположные решения, обозначающие границы каждого из двух измерений, могут разнообразно сочетаться между собой, характеризуя методологические установки любой теории. Так, какую-то концепцию коллективного порядка можно анализировать далее в свете решения первой проблемы (рациональности действия) и в зависимости от понимания рациональности истолковать этот порядок либо как внешне, либо как внутренне обусловленный.

Парсонс принял очень своеобразную стратегию выработки собственной теории. Огромная «Структура социального действия» производит впечатление труда по истории общественной мысли из-за множества имен и названий доктрин, но это прежде всего поисковая теоретическая работа. В своей «интеллектуальной автобиографии» [5, 256–257] Парсонс уподобил процесс «построения теории социальных систем» развитию теории в обычном праве, где «система казусов» внутренне не противостоит «систематизации» и даже может стать ее средством. Себя самого он сравнил с «компетентным апелляционным судьей по обычному праву», который, исходя из определенной концептуальной схемы (хотя и не строго определенной в своих послылках, но все же обладавшей известной цельностью), вел разведку множества магистральных и побочных эмпирико-теоретических проблем, «нечаянно натываясь» в этом процессе на «интеллектуально значительные фигуры и влияния», чьи «дела» приходилось рассматривать, руководствуясь принятой теоретической ориентацией. Процедура такого рода, по мнению Парсонса, не мешает проявлениям эмпирической интуиции и обеспечивает постепенное расширение, пересмотр и обобщение теоретической схемы. Анализ вышеупомянутых основных социально-философских традиций по двум фундаментальным методологическим измерениям выявил внутреннюю неустойчивость каждой из них по отношению к собственным предпосылкам и тяготение к некоей общей точке схождения («конвергенцию»), найти и описать которую призвана была «волютаристская теория действия».



Парсонс начал свой критический анализ «позитивистской теории действия» с утилитаризма [24, 87–125]. Утилитаризм поддается толкованию и в качестве теории действия, потому что говорит нечто о субъективной ориентации индивидов, и в качестве разновидности позитивизма, потому что видит индивидуального действующего чем-то вроде ученого, который руководствуется лишь объективно воспринимаемыми, «позитивными» (в противоположность «спекулятивным») фактами. Позитивная наука скрыто или явно мыслится здесь «единственно возможным познавательным отношением» человека к внешнему («не-эго») миру, единственным рациональным способом ориентации действующего в своем окружении через знание объективных отношений между явлениями и, по Конту, единственным источником новой системы позитивной морали.

Утилитаристская теория действия — это «индивидуалистско-позитивистская» модель, одна из нескольких возможных позитивистских теорий действия. Иногда вместо нее Парсонс обсуждает обобщенную идеальную модель общества, созданную усилиями не только утилитаристов, но и классиков политэкономии и других представителей номиналистско-индивидуалистской традиции Просвещения, — модель общества управляемых атомарных индивидов, наделенных равными правами и действующих на свободном конкурентном рынке, «рационально» выбирая самые эффективные линии поведения, которые максимизировали бы их выгоды во взаимоотношениях с другими людьми. Это полемическое обсуждение «природы экономической рациональности и эгоистического интереса» служило ступенью к выяснению формальной структуры социального действия и первым приближением к «проблеме социального порядка». Его нельзя просто предполагать в «природе вещей»: даже такой порядок, каким человеческие общества пользовались до сих пор, проблематичен.

С точки зрения решения проблемы порядка индивидуалистско-позитивистская теория действия, по Парсонсу, — крайне шаткая мысленная конструкция. «Рациональное» (в узком смысле «эффективности», или «технической рациональности») преследование эгоистических интересов каждым делает очень сомнительной возможность хоть какого-то порядка в совместном проживании людей. Лучшее всего таким предположением отвечала бы гоббсовская абстракция «естественного состояния» как «войны всех против всех», ибо техническая рациональность подразумевает использование всех средств, ведущих к успеху, а утилитаристская позиция не позволяет даже как следует поставить вопрос о пределах их допустимости, не говоря уже об ответе на него. Строго утилитаристские предположения должны приводить к хаосу, поскольку при утилитаристских дискретных и изолированных индивидах, самовольно принимающих свое удовольствие или неудовольствие за критерий правильности действия, для большинства оказывается недоступным достижение собственных индивидуальных целей, ради которых и начинались действия, т. е. невозможен никакой «нормативный порядок». Крайне неустойчивым был бы при таких условиях и зависимый от нормативного «фактический порядок», каковым термином Парсонс обозначает статистическую повторяемость социальных действий. (Здесь уместно сразу предупредить, что общий термин «социальный порядок» у Парсонса утверждает всего лишь неслучайность социального взаимодействия людей, а вовсе не гораздо более сильную по-

сылку о контовском «всеобщем согласии» или «равновесии», в чем его много раз обвиняли критики, уличая в консерватизме.)

Однако наш опыт не подтверждает существования где-либо полного нормативного хаоса. Даже в реальных войнах, которыми так богата история человечества, сражались не изолированные индивиды, а организованные социальные системы. Отсюда возникает так называемая гоббсовская проблема порядка: как люди вообще способны сотрудничать друг с другом? Почему в обществе не наблюдается хроническое состояние войны всех против всех и почему насилие и обман, будучи довольно распространенными, все-таки не переходят в общее правило?

Исторически известны решения самого Гоббса [24, 89–94], постулировавшего «общественно-договорной» отказ людей, руководствующихся принципом «реальности» и стремящихся к удовлетворению коренной человеческой страсти к самосохранению и безопасности, от индивидуальной автономии в пользу абсолютного суверена, который принудительно поддерживал бы порядок; и Локка [Ibid., 95–102], прибегшего к постулату предсуществующего «естественного совпадения интересов» мелких собственников, что дало толчок построениям английских экономистов. В обоих решениях свобода индивидов произвольно урезана в сравнении с исходными предпосылками. Эту упорядоченную свободу и, следовательно, субъективный характер действия спасают, в сущности, уловки: то, что цели, в отличие от средств, остаются вне норм «сциентистской» или «технической» рациональности и подчиняются законам случайности, выведенным за пределы научного анализа. Парсонс задает себе вопрос: «Как можно решить гоббсовскую проблему порядка, не используя такую уязвимую метафизическую подпорку как доктрина „естественного совпадения интересов“?» [Ibid., 102].

В рамках широко понимаемой позитивистской традиции были попытки убрать эту подпорку, но повышение логической последовательности каждый раз достигалось ценой конфликта с определяющим принципом теории действия — учетом субъективной ориентации действующих лиц. Парсонс же безусловно хотел сохранить как плодотворную черту утилитаристской (или «индивидуалистско-позитивистской») традиции ее акцент на способности людей делать выбор и взвешивать альтернативные линии поведения. Более того, можно говорить о глубокой симпатии Парсонса к традиционным идеологическим ценностям «буржуазного либерализма» и, отсюда, об интересе ко всем построениям (не только экономического толка), где исходный пункт теоретического анализа — свободный индивид, общество — постоянно возобновляемый результат усилий индивидов, свободно преследующих свои цели сообразно личному определению, и социальное действие, соответственно, определяется личной инициативой по преимуществу.

Но утилитаристская теория действия неизбежно впадала в самопротиворечие, если пыталась последовательно распространить строго позитивно-научные критерии и на выбор целей. Такой ход мысли Парсонс называет «радикально-рационалистическим позитивизмом». Можно ли здесь говорить о подлинно индивидуальном выборе? Если субъективная ориентация действующего лица целиком определена позитивно-научным знанием, то не сводится ли всякая «субъективность» к «объективности»

позитивной науки? Эти вопросы относятся к поискам решения обобщенной Парсонсом «дилеммы утилитаризма»: либо признание активного, полностью свободного и независимого от других (и потому случайного и ставящего под сомнение возможность социального порядка) выбора людьми целей действия; либо сведение выбора цели к одному из многих элементов или условий ситуации (среды), детерминирующей действие с физической необходимостью.

По второму пути идет «радикально-антиинтеллектуалистический позитивизм», который учитывает повседневный опыт в том, что люди далеко не всегда выбирают наилучшие из известных средств для достижения своих целей. Существование такой «слабой рациональности», по сути, приписывается «случайностям невежества и ошибок». Поскольку их причины нелогично искать в субъективности действующих лиц (в силу ее предварительного отождествления с научной рациональностью), то эти причины ищут в объективных условиях их ситуаций: внешних (среда, климат, почвы и т. п.) и внутренних (наследственность, инстинкты, страсти и пр.). К этому типу решений принадлежит и выдвижение на первое место «инструментального» (то есть опять же принимающего в расчет исключительно «технические» соображения чистой эффективности с подчинением им внутренних моральных компонентов действия) политического контроля над действием со стороны государства и т. п. В «радикально-антиинтеллектуалистическом позитивизме» превозносится внешняя и принудительная (по отношению к действующим индивидам) сила социальных фактов по типу причинно-следственных отношений между физическими явлениями.

Парсонса не устраивает в таком подходе, во-первых, игнорирование сложного символического функционирования человеческого сознания, символических сигналов и механизмов регуляции действия, скрытых в нашем языке, традиционных ценностях, даже в экономических ценовых выражениях результатов деятельности, и, во-вторых, перспектива бесконечной редукции: сначала сведения групп к причинным отношениям между их членами, потом, по той же логике, индивидов — к физиологическим процессам, и т. д. вплоть до причинно-следственных связей между физическими элементарными частицами.

Способ решить или обойти утилитаристскую дилемму Парсонс увидел в признании существования «предельных ценностей», т. е. неких объединяющих («интегрированных») целей общества, пусть не сознаваемых на индивидуальном уровне, но тем не менее упорядочивающих свободу выбора разнообразных целей деятельности соответственно разнородным интересам и предпочтениям людей.

Отдельные прорывы за пределы позитивизма к «волюнтаристской теории действия», отдающей должное как «активным», так и «пассивным» моментам человеческого действия, Парсонс находит у позитивистов же (в смысле приверженности к объективистскому подходу), из которых особо выделяет английского экономиста Альфреда Маршалла, В. Парето и Э. Дюркгейма. У Маршалла, понимавшего действие как «рациональное преследование собственного интереса» и экономику как «теорию полезности», Парсонс обнаружил идею неких «активизмов», которая не вместилась ни в утилитаристскую, ни в обе радикально-позитивистские схемы.

Это нечто вроде самодостаточных целей в себе, типа императивов «быть энергичным», «быть инициативным, изобретательным» и т. п. По сути, их можно также считать непосредственными проявлениями ценностей, в которых скрыта общественная оценка действий. По мнению Парсонса, использование в объяснениях экономического действия наряду с традиционными ортодоксально-экономическими факторами этих ценностей свидетельствовало о неосознанном скольжении Маршалла от экономики как «науки о богатстве» к экономике как «части науки о человеке».

Парето [24, 178 и сл.], одно время казавшийся Парсонсу «незначительной» фигурой, заинтересовал его скрытой в концепции «логических» и «нелогических» действий постановкой проблемы рационального познания иррациональных сил и поступков. Позже это нашло продолжение в интересе Парсонса к фрейдовской программе «рационального понимания бессознательного» и к его учению о соотношении «Я» и «принципа реальности» с «Оно» в инстинктивных потребностях, руководимых «принципом удовольствия». Здесь Парсонс находил, как и у Парето, своеобразную постановку вопроса о роли рациональных и нерациональных сил в детерминации действия. Для Парсонса важно, что Парето не считает нелогическое действие какой-то случайной категорией, но, напротив, — делает логическое изучение нелогического поведения главной целью своей социологии. Парсонс решительно не соглашался с преобладавшей тогда трактовкой концепции «остатков» у Парето как разновидности психологической «теории инстинктов». «Остатки» — это аналитическая категория, предназначенная в первую очередь для социолога, а не для психолога. Вслед за Парето Парсонс видит «остатки» некими общими корнями типов поведения и социального выражения чувств. Более точное выражение для них — «нормативные остатки». Все «ненаучные» теории (которые в отличие от просто «ненаучных» теорий основаны не на ошибках или незнании, а «трансцендируют» уровень науки и не могут быть проверены по ее критериям) имеют опорой одно и то же чувство, что вот то-то и то-то очень желательно. Конкретный вид «остатков», посредничающий между этим чувством и порождаемой им рассудочной «ненаучной» (у Парето «нелогической») деятельностью, выступает в роли «конечных целей», целей-в-себе, иначе называемых «ценностями».

У Парсонса крепло убеждение, что важнейшее значение в человеческом действии имеют «нормативные факторы, аналитически независимые и от обычных экономических интересов, и от интересов политической власти». Здесь, по его собственному свидетельству [5, 259], «завершающим вкладом» оказались соображения Э. Дюркгейма о нормативных элементах в структуре и регуляции систем договорных отношений. Парсонс выделял у Дюркгейма идею нормативного контроля, внутренне усвоенного (интернализированного) «морального долга» в его отличии от насильственного принуждения, трактовку моральных норм и других институтов секулярного общества по образцу феноменов религиозной жизни. Этот акцент в дальнейших построениях Парсонса был так силен, что зачастую у него больше ничего не видели и обвиняли в чисто нормативистском подходе к социальному действию, не оставляющем места самостоятельному выбору и индивидуальной ответственности. Такой нормативизм классический представлен у Конта (линию которого продолжал Дюркгейм со своим

«коллективным сознанием») в концепции «всеобщего согласия», своеобразного «морально-политического единства» людей относительно ценностей, норм и целей во всякой «здоровой» социальной общности. В таких построениях игнорировались принципиальные различия между функционированием микропорядков (семьи, общины и т. д.) и макропорядков вплоть до общества как целого.

Нормативизм Парсонса (о месте этого нормативизма в контексте иных теорий действия см. [2, гл. 2]) гораздо сложнее по замыслу и подразумевает не единство конкретных совместных целей, а напротив — их разнообразие в условиях саморазвивающегося «нормативного порядка», предполагающего взаимосвязь и иерархию целей. Но несмотря на постоянные передвижки в этой иерархии, она все же относительно стабильна (отражая долговременные ценности конкретного общества) и ограничивает произвол выбора целей в большинстве социальных действий. Людей, даже если они мнят себя абсолютно свободными и независимыми, всегда связывает «нормативное символическое взаимопроникновение», основанное на осознанном или бессознательном усвоении каких-то общих символов, обязательно входящих в определенное множество культурных традиций, организованных в неслучайном порядке. Но центральная роль «нормативной интернализации», внутреннего усвоения, в первую очередь норм морали, устанавливающих границы дозволенного в индивидуальных действиях, «ни в малейшей степени не отрицает важной роли ситуативных и других ненормативных элементов». Волонтаристская система действия только «рассматривает их во взаимозависимости с нормативными» [24, 82]. То есть в парсонсовском «волонтаризме» индивидуальное выражение свободной воли мыслится опосредованным нормативным символизмом — силой социальной, но совсем другой природы, чем материальное принуждение в радикально-позитивистских подходах.

Уроки Дюркгейма Парсонс видел в теоретическом преодолении номиналистских предубеждений, будто человеческая свобода не должна содержать никаких ограничений. Роль ограничителя исполняют те самые субъективные идеальные элементы, которые интернализированы («овнутренены») индивидом и тем обеспечивают ему и связь с обществом, и относительную внутреннюю автономию от материальных ситуативных ограничений. Неограниченный же «волонтаризм» индивидуалистских направлений старой и новой социологии [Ibid., 87–125] основан на непонимании теоретической роли понятия «индивид». Их позиция — пример «эмпирицистского» смешения «конкретной» и «аналитической» систем отнесения. «Конкретного *индивида*», т. е. живое лицо, можно, конечно, трактовать в некотором условном смысле как свободно и автономно принимающего решения. Но такой взгляд будет поверхностно эмпирическим. Если же на этого индивида посмотреть «аналитически», с точки зрения «аналитического реализма», то станет ясно, что он есть поле пересечения различных социальных сил, из которых особенно важны символические нормативные элементы. Поскольку эти элементы интернализированы индивидом, постольку они неосвязаемы в эмпирическом смысле. По-видимости, «дискретный» и «автономный» индивид на деле «взаимопроницаем» с другими благодаря общим символическим нормам, «общим кодексам», по Дюркгейму, которые логически предшествуют любым «социальным контрактам» [Ibid.,

311]. То, что кажется совершенно свободной деятельностью или свободно выбранными отношениями, зависит от применения действующими внутренними нормативными стандартами культурного происхождения, от высших ценностей культуры. Последующее восхождение от «аналитического индивида» (которым оперирует та часть парсонсовских построений, которую Александр выделил в теорию «формального волюнтаризма») к «конкретному индивиду» (с которым имеет дело теория «содержательного, или реального, волюнтаризма») помогает глубже понять реальные человеческие действия [12, 180 и сл.]. В поле зрения Парсонса была и дюркгеймовская «аномия» как одна из человеческих проблем индустриальной цивилизации.

При обсуждении своих источников Парсонс усматривает в известных ему теориях действия не только движение «от позитивизма к волюнтаризму», но и встречное движение «от идеализма к волюнтаризму». Идеалистический субъективизм, исключая объяснения действия внешние условия, может выступать как в облачении методологического индивидуализма (о чем преимущественно шла речь выше), так и в форме «коллективного субъективизма», толкующего конкретное действие как выражение коллективного сознания, народного духа и пр. Образец преодоления идеализма путем, противоположным дюркгеймовскому, Парсонс видел в творчестве М. Вебера, хотя в его изображении оба мыслителя с разных сторон двигались к методологической точке схождения, именуемой «волюнтаризмом». Первоначально Парсонс заинтересовался творчеством Вебера как всего лишь более удачной и тонкой по сравнению с американским «институционализмом» в экономической мысли формой преодоления одностороннего рационализма неоклассических экономических теорий. Позднее веберовство стало для него наиболее совершенным образцом исторического мышления в категориях действия. Начиная с гейдельбергской диссертации о капитализме, Парсонс всеми своими трудами способствовал оживлению и распространению веберовских социологических идей в мире, в том числе и в самой Германии.

В методологическом плане Парсонсу казалось, что Вебер в своей исторической социологии преодолел и субъективистскую односторонность идеализма, и объективистскую односторонность позитивизма. В знаменитой веберовской работе «Протестантская этика и дух капитализма» историческое исследование материальных успехов капитализма и их объективного влияния на формы социального действия и порядка, а также исследование смыслового и духовного «избирательного сродства» между кальвинистской этикой и духом капитализма совмещены с попыткой, где это возможно, нащупать причинные связи между двумя рядами явлений, так что определенные ценности кальвинистской этики предстают «стимуляторами» капиталистического развития. На этой базе, с учетом прорывов к «волюнтаризму» со стороны позитивистов, Парсонс думал построить отвлеченную понятийную схему взаимоотношений между объективными и субъективными факторами действия, пригодную для работы, даже если исследователь, ею пользующийся, не обладает сравнимой с Вебером тонкостью исторической интуиции.

Все же, по-видимому, Парсонса не устраивал релятивизм Вебера, а именно его убеждение в неустранимости «вечной борьбы богов», т. е. не

поддающихся научному обоснованию несовместимых и несоизмеримых друг с другом ценностей, определяющих цели и «практические позиции» в жизнедеятельности людей [1, 540–543]. Этот веберовский «политеизм» означал произвольность выбора целей-ценностей и ту же, что и у либеральных экономистов, хаотичную неустойчивость социального порядка. Парсонс же изначально тяготел к своеобразному «нормативному идеализму», скрыто или явно подразумевая в качестве наивысшей системы координат для своей «общей системы действия» некую «конечную реальность» положения человека в мироздании, в описание которой входили и метафизические абсолюты — «предельные ценности» (см.: [21; 2, 125]).

В «Структуре социального действия» в итоге анализа исторически устоявшихся течений мысли были намечены *лишь* подходы и принципы объединения прежде казавшихся несовместимыми позиций для построения будущей собственной «системы отнесения» и так называемой категориальной системы (которая представляла бы собой естественную разработку первой — систему понятий, синтезированных из аналитических элементов системы отнесения путем их наименования, классификации и пр.). Среди этих принципов больше всего хлопот доставило Парсонсу притязание на «волютаристский синтез» социально-номиналистской и социально-реалистской моделей мышления, т. е. на принципиально новое решение «проблемы порядка». Поисками такого решения объясняются многие повороты (в том числе — к функционализму) на парсонсовском пути к «систематической концептуализации» действия, который в связи с этим поддается разбиению на несколько этапов.

## 2. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЙСТВИЯ

Первым шагом Парсонса в построении искомой волютаристской системы понятий было определение «конечной единицы анализа», с которой следовало бы его начинать. Первоначально он называл этот конечный элемент «единичным актом» (unit act): «Базовую единицу можно назвать „единичным актом“». Точно так же, как единицы классической механической системы — частицы — можно определить только через их свойства: массу, скорость, положение в пространстве, направление движения и т. д., так и единицы систем действия также имеют определенные свойства, без которых нельзя представить себе эти единицы „существующими“» [24, 43].

Понятие «единичного акта» неотрывно от понятия «системы действия». Единичные акты не существуют по отдельности — так или иначе они всегда связаны с другими актами. Парсонс изначально не мыслит в категориях противоположности между «теорией действия» и «теорией систем». Его теория действия, по определению, системная. «Система действия» обозначает не только взаимосвязь элементов действия, но и связь действий между собой. Модель элементов «единичного акта» как простейшей системы действия должна отражать известную определенность в отношениях между действующей единицей и ситуацией, предсказуемость человеческих действий и возможность достижения хотя бы некоторых их целей.

Все конкретные явления, поддающиеся разложению на «единичные акты», принадлежат к области действия. Единичный акт — крайний предел дробления действия, после чего исчезают его специфические характеристики и теория действия как «система отнесения (или координат)» уступает место в теоретических построениях другой системе координат, например психологической. Парсонс различает основные «логические» характеристики «единичного акта» [Ibid., 44], без которых нет и «действия» как особого вида реальности. 1. Существование какого-то агента, «действителя», «актера». 2. Наличие целей (или представлений о будущем состоянии «событий»), на достижение которых направлено действие. 3. Существование «ситуации» действия, основные тенденции развития которой более или менее отличаются от состояния событий (цели), на какое ориентировано действие. Ситуация, в свою очередь, разложима на два элемента: а) «средства», что подразумевает владение определенными составляющими ситуации с точки зрения достижения целей, и б) «условия действия», характеризующие его зависимость от объективных обстоятельств, когда степень свободы в ориентации действия на конкретные цели ограничена субъективно неуправляемыми (неконтролируемыми) составляющими ситуации. 4. Наличие субъективной «нормативной ориентации», когда связь целей и средств не случайна, но сложилась под влиянием институционализированных и внутренне усвоенных ценностных стандартов.

Способ «концептуального снятия» антитезы между индивидуальным и социальным здесь прост: по определению, как индивидуальные ориентации, так и институциональные структуры являются системами действия, поскольку в качестве «конкретных» явлений они слагаются из «единичных актов». Индивид и общество — просто два полюса, два различных уровня систем действия, которые можно выкраивать из тотальности опыта на основе разнокачественных связей между действиями в них. Каждая система действия приобретает свои особые «уровневые» характеристики, новоявленные, так называемые эмерджентные качества (emergent properties), как результат взаимозависимости «единичных актов»: «Элементарные акты, объединяясь, образуют все более сложные конкретные системы действия, которые органичны в том смысле, что имеют структурно и аналитически важные эмерджентные качества...» [24, 743]. «Единичный», или «атомистический» анализ не улавливает этих качеств. Пример эмерджентного качества — экономическая рациональность, поскольку она предполагает рациональный расчет многих возможных курсов действий как самого действующего, так и других людей. Свойство «экономической рациональности» невыразимо в изолированном акте, определенном в категориях цели, средства, объективного условия и нормы. По достижении определенных степеней сложности, когда можно уже говорить об известном «социальном порядке», Парсонс попросту надеялся на обнаружение в научном арсенале подходящих «подручных» средств описания сложных фактов — средств, выходящих за пределы первичной схемы [Ibid.]. Но ясного и развернутого ответа на вопрос, как все-таки связаны друг с другом единичные акты и как «концептуально представить» эту связанность, Парсонс в «Структуре социального действия» так и не дал, признав к концу книги, что «любая атомистическая система, имеющая дело лишь со свойствами, узнаваемыми в единичном акте... неизбежно



будет неадекватно трактовать эти элементы и будет неопределенной в применении к сложным системам» [24, 748–749].

Почти пятнадцатью годами позже, заново и подробнее развивая похожую схему в «Социальной системе», Парсонс говорит как об основной единице анализа уже о «единице действия» (unit of action). По его словам в примечании, это вызвано необходимостью «продвинуть анализ на еще более элементарный уровень, в особенности чтобы найти подходящее место для многих из проблем мотивации, анализируемых в категориях современной психологии». Парсонс уверяет, что при этом «никаких принципиальных изменений не сделано» и что «единичный акт из „Структуры социального действия“ — это частный случай единицы действия...» [23, 9]. Последняя тоже выступает в роли простейшей системы действия — первой ступени в построении аналитической теории действия, применимой к конкретным системам любой сложности. Единицу действия формируют динамические отношения в комплексе «действительность — ситуация»: действие дифференцируется и по ориентации действующего, и по объективным свойствам ситуации, на которую он ориентирован. Адриансен справедливо комментирует, что в таком случае «линия разделения между субъектом и объектом преуказана уже в конечной единице анализа» [11, 61].

Ориентация действующего дифференцирована по двум аналитическим направлениям: мотивационному и ценностному [27, 58–60; 23, 12–14].

Мотивационная ориентация относится к «энергии», употребляемой на удовлетворение конкретных потребностей. «Мотивация» — это культурный аналог понятию «природной» энергии. Познавательная (когнитивная) составляющая мотивации нацеливает на удовлетворение потребности в знании ситуации и ее объектов в их отношениях друг к другу. Катектическая (термин из психоанализа) составляющая мотивационной ориентации проявляется в силе психоэнергетического заряда, направленного на достижение цели, в положительной либо в отрицательной установке по отношению к некоторому объекту, в эмоциональной тяге к предпочтительному удовлетворению данной потребности. Оценочный модус мотивационной ориентации имеет в виду энергию, затрачиваемую на выбор единственного курса действия из многих объективно возможных, дабы оптимизировать удовлетворение потребностей. Как говорит Парсонс: «Оценка имеет дело с проблемой организации элементов системы действия в условиях фундаментального выбора типа: нельзя съесть пирог и сохранить его целым» [23, 13]. Попросту это означает, что действующий не может одновременно направлять свою мотивационную энергию по слишком большому числу путей и должен сделать выбор. Оценочная ориентация ответственна за координацию и системный характер действия.

Ценностная ориентация «относится к тем аспектам ориентации действующего, которые обязывают его соблюдать определенные нормы, стандарты, критерии выбора всякий раз, когда он оказывается в неопределенной ситуации, позволяющей (и требующей) сделать выбор» [27, 59]. Познавательная ценностная ориентация опирается на познавательные нормы (cognitive standards) логики, правильного наблюдения и т. п., по которым оценивается общезначимость познавательных суждений. Эти

нормы могут очень сильно расходиться в разных культурах. Аналогично, оценка эмоциональной значимости объекта для удовлетворения потребности («катексис», по Парсонсу) предполагает существование некоторых норм, по которым осуществляется оценка. Эти оценочные (appreciative) стандарты формируют правила, по которым действователи решают, какие из уже дифференцированных и классифицированных объектов существеннее других для достижения целей. Каждое действие имеет и познавательный, и катектический аспекты. Моральная ценностная ориентация осуществляет их синтез и дает опорные стандарты для оценочных проявлений мотивационной ориентации. Под «моральными нормами (или стандартами)» Парсонс имеет в виду те критерии, которые образуют как бы «высший апелляционный суд» и по которым действователь выносит окончательное решение о способе «организации» своих действий и об их направлении. Моральные нормы объединяют («интегрируют») действия данного субъекта в достаточно цельную и стабильную систему действия.

Парсонс поясняет и связь между мотивационным и моральным аспектами привязанности к ценностям: «Верность общепринятым ценностям означает, с точки зрения мотивации, что действователи имеют общие „чувства“<sup>1</sup> в поддержку ценностных образцов. Это можно истолковать в том смысле, что следование соответствующим коллективным ожиданиям рассматривается как „благо“ относительно независимо от любого инструментального „преимущества“, получаемого от такого следования, например в избегании негативных санкций. Кроме того, эта верность совместным ценностям, хотя и может удовлетворять непосредственные потребности действователя, всегда имеет также и „моральный“ аспект в том, что до некоторой степени определяет „границы ответственности“ действователя в более широкой, т. е. социальной, системе действия, в которой он участвует. Очевидно, что особым средоточием ответственности является коллектив, который сформирован какой-то конкретной совместной ценностной ориентацией» [23, 41–42]. Совместное признание общих ценностных образцов, порождая, по Парсонсу, чувство ответственности за исполнение некоторых обязанностей, затем создает и солидарность между всеми, взаимно ориентированными на общие ценности.

Второе (наряду с ориентацией) измерение аналитической дифференциации действия — это ситуация [27, 57–58; 23, 4–5], которая состоит из объектов ориентации, традиционно классифицируемых, в качестве первого шага, на «социальные» и «несоциальные». «Социальным объектом» является, например, действователь как таковой. В свою очередь, «им может быть любой другой действователь (alter); действователь, взятый как точка отсчета для самого себя (ego); или коллектив, рассматриваемый для целей анализа ориентации как некоторая единица. Вещные объекты — это эмпирические сущности, которые не взаимодействуют с „эго“ (Я) или не „реагируют“ на него. Они суть средства и условия его действия. Культурные объекты — это символические элементы культурной традиции, идеи или верования, экспрессивные символы или ценностные образцы, учитываемые постольку, поскольку эго толкует их как ситуационные объекты

<sup>1</sup> Чувство, по Парсонсу, предполагает культурно организованное выражение и потому «включает интернализацию культурных образцов».

и не „интернализует” как структурообразующие элементы своей личности» [23, 4]. «Действие» здесь трактуется как процесс в системе действительности — ситуация, которой обладает мотивационной значимостью для индивидуального действителя или, при коллективном действителе, для составляющих его индивидов. Коренное свойство действия определяется тем, что оно не состоит только из ad hoc «реакций» на конкретные ситуационные «стимулы», но что реагирующий действительный развивает целую систему «ожиданий», относящихся к различным объектам ситуации. Эти ожидания и объекты возможно «структурировать» только в связи с «потребностными предрасположенностями» (need-dispositions) действителя и с вероятностями его удовлетворенности либо неудовлетворенности, зависящими от различных альтернатив действия, которые он может предпринять. В случае взаимодействия с социальными объектами добавляется еще одно усложнение. Часть ожиданий «Я» (ego) состоит из предполагаемых вероятных реакций «другого» (alter) на возможные действия «Я», — реакций, предвосхищаемых заранее и потому влияющих на собственные решения («выбор») «Я» как участника взаимодействия. Свойство участников процесса взаимодействия быть одновременно и действующими лицами, и объектами ориентации как на самого себя, так и на другого Парсонс называет «двойной контингентностью» [23, 36 и сл.]. Это исходный пункт в постановке «проблемы порядка».

Парсонс и дальше развивал многолинейную классификацию социальных объектов по разнообразным критериям, среди которых преобладали парные оппозиции, например, «качество против исполнения» [23, 88–89], «общее против особенного» и др. Так, первая из названных оппозиций подразделяет социальные объекты на те, которые могут быть важными для действителя, поскольку обладают некоторыми самодовлеющими качествами, и на те, которые важны просто потому, что помогают исполнять определенные виды деятельности. «Исполнение всегда соотносится с целью; тем самым критерии исполнения ограничены в их прямой применимости областью отношений средств и обстоятельств лишь к заданной цели и по таким показателям как эффективность, продуктивность, экономия. Таким образом, все они внутренне ограничены сферой инструментальных ориентаций» [23, 95]. Качественные критерии — всегда «универсалистские». Дальняя цель подобных классификаций — рассортировать «объекты как средоточия ролевых ожиданий» разных действителей согласно «модальностям» их отношения к различным видам объектов.

Несоциальные объекты делятся на две категории: вещные (природоподобные) и культурные. Как видно из ранее приведенной цитаты, общее между ними то, что, будучи объектами ориентации, сами они не проявляют никакой «ориентации», или «реакции», на действителя. Различие же между ними в том, что культурные объекты (идеи, констелляции идей, законы и пр.) в какой-то момент могут быть «интернализваны» и стать частью ориентации действителя. Эта возможность интернализации не применима к вещным объектам: они могут рассматриваться как объекты ориентации, но не как проявления самой ориентации. Поскольку культурные объекты могут быть и частью ориентации, и частью ситуации, то граница между этими аналитическими составляющими двуединого комплекса «действительность–ситуация» условна и подвижна.

Ведущая роль в организации и координации элементов действия и какого-то ряда действий в «систему действия» приписывалась выше «оценочному модусу мотивационной ориентации». Этот модус предполагает необходимость определиться в ориентации на ситуацию, выбрать «образец» (pattern) отношения к объективному миру и через это выбрать определенный путь действия из множества объективно возможных. Отсюда вытекает, что в описание структуры системы действия должны обязательно входить подобные «образцы» ориентации на ситуацию, построенные на культурно обусловленных классификациях как объектов ситуации, так и субъективных компонентов ориентации. Достаточно развитая базовая схема такого описания сложилась только к 1951 г. и впервые изложена в коллективном труде [27]. Это схема так называемых переменных образцов ориентации (pattern variables), в русских переводах из Парсонса обычно именуемая схемой «типовых (стандартных) переменных действия». Данная схема получена, в сущности, расширением на новые сферы и аналитическим разложением на компоненты известной веберовской типологии социального действия вкпе с систематическим анализом морального этоса и ориентации человеческой деятельности, подразумеваемых в социологических дихотомических типологиях вида «Gemeinschaft — Gesellschaft» («традиционное общество — современное общество») и т. п., но взятых не как полярные противоположности, исторически вытекающие друг друга, а как ряд сосуществующих свойств. Типовые переменные структурируют проблемы выбора, встающие перед действующим, и классифицируют возможные пути их решения. Схема сохраняет исходную двухосность (по субъективной ориентации и по объективной ситуации) при дальнейшей дифференциации системы действия. Структура последней в итоге определяется этими типовыми образцами «ориентации на ситуацию», обобщенными моделями отношения к объективному миру.

Типовые переменные — это опять же парные, дихотомические категории, характеризующие возможные альтернативы выбора в ориентации действия. Первоначальная схема такова [27, 76–98 и 183–189]: 1. Аффективность — нейтральность (страсть или бесстрашие при осуществлении действия). Проблема выбора: непосредственная импульсивно-неконтролируемая реакция на ситуацию и прямое удовлетворение потребностей или не прямое, обдуманное, дисциплинированное и расчетливое действие. 2. Специфичность — диффузность (особенное или общее). Узкая («специфическая») направленность действия или общая, расплывчатая, «диффузная». Выбор: специализированный интерес к объекту, ориентация на избранные его свойства или на объект и ситуацию в целом. Пример такой антитезы — профессиональное или любовное отношение к одному и тому же лицу, скажем, как к пациенту или как к любимому человеку. 3. Ориентация на себя или на коллектив. Проблема выбора: достижение собственных интересов или интересов коллектива. 4. Универсализм или партикуляризм. Выбор: важность объекта (для действующего) вытекает или из его принадлежности к определенному классу объектов, или из особого отношения действующего к данному объекту. Та же проблема выбора на языке норм действия: следовать ли безличным нормам права, всеобщим, абстрактным, «общечеловеческим» правилам поведения или предпочитать им конкретные (личные, племенные и т. п.) отношения, вытекающие из

конкретной ситуации. Например, если чиновник обходится со своим родственником как с гражданином, подлежащим всеобщей воинской обязанности, то это универсалистское отношение между действителем и объектом; если же он изменяет служебному долгу ради родства, личной приязни и т. п., то это партикуляристское отношение. 5. Качество или исполнение (сперва вслед за антропологом Р. Линтоном было: прирожденное или достигнутое). Выбор: относиться ли к объекту как к комплексу врожденных, внутренне присущих ему «качеств», таких, как, например, пол, или ценить его за благоприобретенные социальные свойства или деяния (достижения). Пример первой ориентации — феодальный принцип формирования власти и привилегий по «благородству происхождения», второй — современная ориентация на профессионализм и компетентность.

По замыслу, первые три типа переменных должны описывать действие преимущественно со стороны ориентации действующего, остальные — со стороны ситуационной компоненты действия. Но на практике границы нечеткие: так, раньше дихотомия «особенное или общее» рассматривалась как модальная характеристика объектов, а тождественная ей «специфичность — диффузность» в данной схеме типовых переменных трактуется как модус ориентации. Вообще же с типовыми переменными первоначально связывались надежды систематизировать основные альтернативы, существующие и в персональных решениях, и в нормативных требованиях к поведению со стороны социальной ситуации, и в ценностно-культурных ориентациях, и в вариантах действия как целого. Позже, в период «Социальной системы», преобладала тенденция рассматривать эти переменные как ценностные ориентации, которые ограничивают произвольность норм социальной системы и решений личностной системы. Тем самым «переменные образцы» отношений между действующим агентом и объектом в двух «настоящих» (то есть поддающихся эмпирической интерпретации в виде реальных «референтов») системах действия — личностной и социальной — были превращены в отражения господствующих образцов ценностных ориентаций в соответствующей культуре.

Переход от анализа дискретных единичных актов или единиц действия к большим системам действия Парсонс надеялся осуществить через промежуточный анализ формирования (институционализации) прототипических образцов взаимодействия в свете типовых переменных. Однако еще в «Структуре социального действия» он констатировал, что любая «атомистическая» система, оперирующая лишь свойствами единичного акта или другой подобной единицы действия, не сможет адекватно истолковать эти системные свойства из себя самой, и ее отношение и применимость к сложным системам будут неясными [24, 748–749]. Требуются какие-то «вторичные» описательные схемы и средства анализа. В поисках достаточно развитого языка системного описания социальной реальности, восполняющего анализ элементарных систем действия, Парсонс после публикации «Структуры социального действия» обратился к функциональному анализу: «Структуру социальных систем нельзя прямо вывести из системы координат „действительность–ситуация“». Требуется функциональный анализ осложнений, вносимых взаимодействием множества субъектов действий» [16, 229]. Для нужд функционального анализа понадобилось очередное упрощение базовой аналитической единицы

систем действия — практически она сузилась до двуединого статусно-ролевого аспекта действия. И типовые переменные стали здесь первичными «структурообразующими» мотивационными схемами, применяемыми в основном к статусным взаимодействиям и ролевому поведению индивидов и групп.

### 3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ТЕОРИИ ДЕЙСТВИЯ

Ранее уже говорилось о сложности замысла Парсонса, о связи его интереса к идее действия с проблемой индивидуализма и о стремлении понять этот последний также и как часть проблемы порядка. Первым шагом к этому и было представление о человеческом действии как изнутри и извне самоорганизующейся системе, вырабатывающей определенные ограничения на свободу действия. Парсонс сознавал и двуплановость «рациональности», ее причастность к проблеме порядка и несводимость к чисто субъективному. Ведь еще английские экономисты установили неиндивидуальный, по сути институциональный характер рациональности в рыночном взаимодействии. Это была рациональность спонтанного обмена, которую «незримая рука», по Адаму Смиту, выстраивала из столкновения коллективных интересов, через преодоление множества индивидуальных рациональных расчетов наилучшего соотношения или приспособления средств к целям. Действующему лицу в этих процессах, какому-нибудь индивидуальному предпринимателю (как, впрочем, и коллективному «действителю» — государству) не под силу заботиться о разумном движении целого, которое происходит самопроизвольно. Но принимая индивидуальные рациональные решения, об этом целом все же можно судить по некоторым «константам» в разнообразной массе действий, в т. ч. по существующим общественным выражениям ценностно-символических их элементов. Так, цены, складывающиеся в ходе рыночного взаимодействия, — это, по сути, показатели человеческих ценностных предпочтений, это объективная система классификации видов социальных действий с точки зрения их значимости для «порядка», который отводит индивидуальной рациональности и индивидуальному действию роль лишь одного из элементов целого.

Но формальный динамический анализ подобных комплексов сложнейших взаимозависимых процессов, не теряющий логической связи с исходными посылками теории действия, приходилось осуществлять, имевшимися средствами социологического структурно-функционального метода, который сам Парсонс в очерке 1945 г. признавал «бедным» и «примитивным» [16, 216]. Даже применение этого метода было возможным благодаря очень сильным упрощениям. Поскольку далеко не все интуитивно необходимые переменные удавалось одновременно связать в «логически полной системе динамических обобщений» (идеал Парсонса), то приходилось довольствоваться извлечением из тотальности общественных явлений ограниченного ряда регулярно воспроизводящихся процессов в качестве опорных «констант». Более или менее регулярные процессы действия, исполняющие роль этих относительных констант, образуют условную «структуру» системы действия. «Процесс» и «структура» у

Парсонса — не абсолютные противоположности, а соотносительные понятия. Структура — отправной пункт для динамического анализа, — аналитическая, гипотетическая конструкция, описывающая некий инвариант, по которому изучаемый комплекс отношений между субъектами действия (коллективными и индивидуальными) можно узнать и проследить во всех преобразованиях.

Структурные константы, однако, не обеспечивают внешней независимой от системы действия точки отсчета (вроде неподвижной звезды по отношению к Солнечной системе). Они — часть самой системы и вступают в различные отношения с ее не вошедшими в данную структуру элементами. Связь структуры с остающимися вне ее переменными элементами системы, динамический анализ последней обеспечивается понятием «функции», функционального отношения. Функция должна быть логически необходимым отношением между целью и выбором способа и средств действия. Этот выбор, движимый бессознательными желаниями и осознанными рациональными убеждениями действующего, мыслится подчиненным институционально-нормативным ограничениям, а не утилитаристскому принципу максимизации полезности, неспособному объяснить существование минимального социального порядка. Применительно к идее упорядоченной системы функцию можно истолковать и как действие, необходимое для поддержания некоторых внешних и внутренних условий интегрированности и эффективности данной системы. «Динамический анализ» очень узко направлен и сводится к анализу функциональных отношений между структурообразующими мотивационными процессами и рядом характеристик системы как целого, названных Парсонсом «функциональными проблемами». Через них определяется значение и последствия мотивационных процессов, как ближайших причин действия, для системы в целом. Реализация этой задачи и будет «структурно-функциональным анализом» системы действия. В каждой аналитической системе действия найдутся свои иерархически соподчиненные и горизонтально связанные подсистемы. Для любой подсистемы источником ее целей выступают функциональные потребности системы более высокого уровня. Уход анализа в бесконечность иерархии все более глобальных систем и целей обрывается постулатом существования «предельных ценностей».

В истории социологии структурно-функциональный анализ как метод чаще всего ассоциируется с органицизмом, с контовским холизмом, дюркгеймовским социологизмом и т. п. Неудивительно, что у Парсонса продекларированный «динамический мотивационный анализ» нередко соскальзывает в привычную статическую логику анатомо-морфологического анализа систем-организмов. Именно с такой трактовкой парсоновского структурного функционализма обычно победоносно расправляются критики, начиная с анализа соотношения понятий «структуры» и «функции». Э. Гидденс, например, указывает, что понятие «структуры» как некоторых постоянных регулярностей, которые воспроизводятся в человеческом действии или взаимодействии, не вносит ничего нового по сравнению с идеей «системы», ибо регулярная повторяемость образцов и норм действия как раз и говорит о системной взаимозависимости, неслучайной связи их частей и элементов. Если «функционирующая структура» — полный синоним понятия «функционирующей системы», то разные понятия вообще

не нужны. В таком контексте многие системники предпочитают говорить не о структурах, а о «подсистемах». Один из бесчисленных критиков функционализма, Э. Гидденс, справедливо, видимо, оспаривает саму возможность трактовать структуру в «морфологическом» понимании и функцию как отдельные, «независимо наблюдаемые» феномены, которые затем, соединенные вместе, превращаются в «систему»: «Что имеет смысл при рассмотрении мертвого тела, наблюдаемого независимо от его “функционалирования”, или незаведенных часов... не имеет смысла в применении к человеческому обществу, которое только и существует в „функционалировании”» [14, 114]. Смысл, который все же можно усмотреть в парсонсовской постановке вопроса, сводится к тому, что «структура» схватывает лежащие на поверхности, более или менее легко устанавливаемые социальные отношения (например, официальную, или «формальную», организацию социальных институтов внутри «глобального общества»), тогда как «функция» выступает в роли эвристического стимулятора, направляющего внимание исследователя вглубь, под поверхность «структурных» явлений, на поиски скрытых, прежде незамеченных отношений между ними, поиски обратных связей и побочных эффектов как для более обширного целого, именуемого «системой», так и для ее частей.

По отношению к Парсонсу эта критика не вполне попадает в цель, ибо даже в период наибольшего увлечения функционалистским языком, он не упускал из виду перспективу теории действия. С первых шагов разработки структурно-функциональной версии теории действия одним из важнейших средств описания структуры действия стала схема типовых переменных. После того как действитель «решил» указанные в них проблемы выбора, можно говорить о некоем определившемся отношении между действителем и объектом, ориентацией и ситуацией. Когда выбранные образцы ориентации достаточно устойчивы, они обеспечивают структурную основу для динамического анализа. Ориентации действителей или групп действителей на ситуацию рассматриваются с точки зрения их функционального значения для системы. В оценке функциональности действия со стороны системы уточняющую роль играют универсальные «функциональные системные проблемы»<sup>1</sup> — первоначально всего две: проблема «распределения» (задач, ресурсов, ценностных объектов и т. д.) и проблема «интеграции» (возможной координации разных частей системы). Как «функции» вышеупомянутые ориентации подразделяются на «механизмы» — процессы, стабилизирующие систему действия, и «тенденции» — процессы, нарушающие равновесие системы и ведущие к изменениям. В разработке идеи равновесия Парсонс ориентировался не на механику, как, например, Спенсер, а на биологию и физиологию, в частности на понятие «гомеостаза» К. Бернара—У. Кеннона, обогащенное кибернетической концепцией обратной связи. Подобно тому как организм способен поддерживать устойчивость своей внутренней среды вопреки возмущающим воздействиям внешней среды, так и система действия способна «гасить» внешние возмущения (пока они держатся в известных пределах) и поддерживать или восстанавливать старое равновесие. Толь-

<sup>1</sup> Синонимы: «функциональные потребности», «функциональные императивы», «функциональные требования или предпосылки».



ко после какого-то теоретического решения проблемы равновесия на структурном и функционально-динамическом уровнях можно будет поставить «проблему теории изменения» социальных систем как «логически завершающую» [23, 480–481].

На этих основополагающих принципах Парсонс развернул в своем опусе «Социальная система» [23] огромную «категориальную систему», которую обычно и называют его структурно-функциональной теорией социальных систем. Надо помнить, однако, что последняя для Парсонса — лишь одна из подсистем общей системы действия. Как уже говорилось, в случае «социальной системы» — действия организованы вокруг взаимодействия между двумя и более индивидуальными действующими. Процесс взаимодействия — «система в научном смысле и подлежит тому же порядку теоретического анализа, что был успешно применен к другим типам систем в других науках» [23, 3]. «Реальность», охватываемая «теорией социальной системы», наряду с «реальностью», с которой имеет дело «теория личностной системы действия», — это аналитическая абстракция (извлечение) из реальности социального действия. Точка зрения «социальной системы» теоретически и «аналитически» независима от предлагаемых другими подсистемами действия. Вопрос об «эмпирической независимости» пока не стоит. Парсонс все время намерен говорить об аналитической дифференциации между подсистемами действия и об аналитических отношениях между ними.

Проблема этих отношений сформулирована по-функционалистски и очень узко: каким должно быть при стабильной социальной системе содержание отношений между нею и другими подсистемами действия («личностной» и «культурной» системами)? Или иначе: каковы функциональные условия или требования социальной системы к другим подсистемам? Вопрос об «отношениях» ставится несмотря на то, что сам Парсонс предупреждал о псевдореальной природе культурной подсистемы: «Ни системы ценностной ориентации, ни системы культуры в целом не являются системами действия в том же смысле, что и личностные и социальные системы, ибо первым в отличие от вторых нельзя прямо приписать ни мотивации, ни действия» [27, 76]. Статус отдельной подсистемы действия все же придан «культурной системе» за то, что в ней представлена некая организованная выборка необходимых элементов действия. Из всех этих оговорок надо, видимо, вывести правило, что не следует говорить о реальном взаимодействии между парсонсовскими подсистемами, хотя авторское изложение то и дело сбивает читателя на этот путь толкования. Плод его анализа — абстрактные схемы, «пустые ячейки», которые организуют восприятие эмпирического опыта, но не заменяют его.

Вообще, в обсуждении проблемы функциональных требований социальной системы Парсонс балансирует на опасной черте. Применительно к системам сам термин «потребности» порождает ложные ассоциации, ибо в точном смысле слова потребности способны испытывать люди, но никак не абстрактные системы. При абстрактной, аналитической формулировке этих потребностей существует постоянная опасность впасть в схоластические тавтологии. Собственно в этом очень часто и обвиняют Парсонса, когда пишут, что его перечни основных функциональных потребностей, годных для всех обществ, вроде «интеграции» и др., — это

немногим больше чем тавтологические переформулировки того, что уже значат слова «общество» и «система». Более того, попытка толковать упомянутые формулировки на слишком конкретном уровне грозит подменной результатов, которые вправе давать только эмпирические исследования. Парсонс все же решается предпринять что-то вроде кантовской «дедукции чистых рассудочных понятий» для социологии и вывести функциональные императивы как ряд минимальных условий для существования социальной системы — вывести независимо и до соединения с сырыми данными социального опыта. Недаром под конец карьеры он уверял: «...Моя позиция совершенно определенно принадлежит к кантианской традиции» [15, 5].

*Итак*, каждая из названных подсистем подразумевает другую, и поэтому «пределы изменчивости любой из них ограничены ее совместимостью с минимально необходимыми условиями функционирования каждой из двух других» [23, 27]. Отсюда прочие «априорные» следствия: 1) социальная система не может быть структурирована таким образом, чтобы она оказалась радикально несовместимой с условиями функционирования составляющих ее индивидуальных действующих как биологических организмов и как личностей, а также с условиями относительно устойчивой интеграции культурной системы; 2) в свою очередь, социальная система зависит на обоих фронтах от минимального «реквизита поддержки» со стороны каждой из других систем. Но формулировки функциональных условий для социальной системы, «дедукцированные» из ее отношений к другим системам, обычно оказываются бедными по содержанию и, самое большее, лишь разъясняют с разных сторон основной исходный принцип этих отношений. Так, функциональное значение культурной системы для социальной сводится к «общесоциологической» банальности, что «социальная система в подлинном смысле невозможна без языка и без минимума прочих форм культуры, таких как эмпирическое знание, необходимое чтобы справиться с ситуационными затруднениями, и как достаточно цельные образцы символического выражения чувств („экспрессивного символизма”) и ценностной ориентации» [23, 34]. Парсонс полагал, что, отправляясь от этого наиболее общего и формального уровня анализа функциональных потребностей, удастся шаг за шагом ввести в теорию действия «спецификации» на других ее уровнях.

Одновременно исходная и окончательная, обобщенная характеристика отношений между подсистемами действия в «Социальной системе», к тому же указывающая на теоретическую неполноту этой книги и перспективу дальнейшей работы, такова: «...Социальная система есть только один из трех аспектов структурирования полностью конкретной системы социального действия. Другие два — это личностные системы индивидуальных действующих и культурная система, встроенная в их действие. Каждый из трех аспектов следует рассматривать как независимый центр организации элементов системы действия в том смысле, что ни один из них теоретически несводим к категориям другого или к какой-то комбинации категорий из двух других. Каждый необходим двум остальным, ибо без личностей и культуры не было бы социальной системы и т. д., согласно возможным логическим комбинациям. Но эти взаимозависимость и взаимопроникновение очень отличаются от сводимости (редуцируемости),

которая означала бы, что важные системные свойства и процессы одного класса могут быть теоретически выведены из нашего теоретического же знания об одном или обоих из прочих двух классов. Система понятий теории действия — общая для всех трех классов, и этот факт делает возможными определенные „преобразования” между ними. Но на уровне теории, опробуемой здесь, они не составляют единой системы, однако это могло бы осуществиться на каком-то ином теоретическом уровне» [23, 6]. Смысл термина «взаимопроникновение» поясняется, например, утверждением Парсонса, что система социальных отношений, в которую включен действователь, имеет не просто ситуационное значение, но является составной частью самой личности [23, 17].

В анализе отношений между тремя названными системами (или подсистемами — если брать их в контексте «всеобщей системы действия»), рассматриваемыми с точки зрения особой «теории социальной системы», Парсонс изменяет старую единицу анализа, сужая ее. Прежняя единица — описанная ранее «единица действия», отражавшая ориентацию действователя на ситуацию, — превращается в «роль»: «Для большинства аналитических целей наиболее существенная единица социальных структур — не лицо, а роль. Роль есть тот организованный сектор ориентации действователя, который предназначает и определяет его участие в процессе взаимодействия» [27, 23]. В «Социальной системе» Парсонс говорит о связке «статус—роль», где статус выражает «позиционный аспект», т. е. обозначает позицию, место рассматриваемой действующей единицы в социальной системе по отношению к другим. Роль же выражает «процессуальный аспект», то, что «действователь исполняет в отношениях с другими и в контексте функционального значения этого для социальной системы» [23, 25]. Параллельно понятию роли в социальной системе Парсонс выделяет еще один аспект ориентации — «потребностную предрасположенность» (need-disposition), которую он считает симметричной «роли» единицей анализа для личностной системы. Такая же единица для культурной системы — «нормативный образец», но относительно последнего остается неясным, насколько допустимо толковать его как аспект ориентации.

Новые единицы существенно изменяют базу дифференциации действий и структурирования социальной системы. Последняя больше не состоит ни из элементарных действий (как в случае «единичного акта», взятого конечной единицей анализа), ни преимущественно из ориентации (как в случае «единицы действия»), но строится из ролей. Структура социальной системы оказывается в основном структурой ролей. Роли или ролевые образцы («паттерны» — patterns) — это относительно постоянные каналы ориентации между действователем и социальным объектом. С точки зрения первого их называют «ролями», с точки зрения второго — «ролевыми ожиданиями».

В этом контексте известная нам схема структурообразующих переменных дает классификацию той части ориентации действователя на ситуацию, которая относится только к его ролевым взаимодействиям с другими агентами. Как сказано, эту классификацию можно анализировать на разных уровнях. На уровне личностной системы типовые переменные классифицируют аспекты ориентации, называемые потребностными предрасполо-

женностями (или потребностями-установками); на уровне социальной системы — ролевые образцы и ролевые ожидания; на уровне культурной системы — нормативные образцы (ценности). Будучи примененной к ролям, схема типовых переменных не претерпевает существенных изменений. Так, например, в паре «исполнение (достигнутое) — качество (приписанное по природе)» вторая переменная характеризует тот аналитический элемент ролевой структуры, который создается устойчивым ожиданием, что «исполнитель роли» будет связывать значимость для себя социального объекта, «другого», с его природными качествами (женщина, ребенок, красивый, безобразный и т. д.), а не с его действиями и достижениями.

Типовые переменные помогают описать ролевые структуры как результат достаточно постоянного отношения между ориентацией и ситуацией. Исходные элементарные классификации в результате многочисленных сочетаний и скрещений разных переменных между собой могут сильно усложняться. К примеру, первоначальное членение мира объектов (включая и действующих) соответственно измерению «универсализм — партикуляризм» может быть «специфицировано» далее применительно к «качествам» действующих: пол, возраст, раса, личные способности и пр. При этом роль по рождению рассматривается как «статус». Но одной классификации ролей мало для полного описания структуры социальной системы. Необходимо еще решить проблемы размещения (распределения) и интеграции. «Если задана ролевая структура, — пишет Парсонс, — следует анализировать процессы распределения „движимых“ элементов между статусами и ролями. Этот процесс распределения важных объектов внутри системы ролей назовем размещением (аллокацией). Мы будем учитывать три контекста проблемы размещения: 1) размещение персонала, т. е. действующих между ролями; 2) размещение средств; 3) размещение вознаграждений» [23, 114].

Размещение индивидов в ролевой структуре начинается с момента рождения, сначала по качественным («аскриптивным», прирожденным) признакам: приучение новорожденного к принятой в данной культуре «половой роли», принятие в родственную группу и т. д. В большинстве обществ (так называемых традиционных) «прирожденные» критерии сохраняют ведущее значение на всю жизнь действующателя. В условно «современных» обществах (особенно западных) важнее «достижительные» критерии, но из-за роста конкуренции за обладание ресурсами резко обостряется «проблема интеграции». Проблема распределения скудных ресурсов и средств имеет прямое отношение к распределению прав и обязанностей между ролями и гнездами ролей, а значит — к проблеме «власти» [23, 121]. И как распределение средств является источником структуры власти, так и распределение вознаграждений ведет к «ранговому порядку», к «социальной стратификации» (расслоению) внутри социальной системы. Парсонс считает «вознаграждением» любой объект, который ценится не только за его инструментальную полезность, но и за его экспрессивное или символическое значение [23, 78–79].

Опуская дальнейшие подробности, воспроизведем, вслед за Адриансенсом, краткую сводку парсонсовской «структурной парадигмы», систематического перечня главных пунктов описания социальной системы [11, 80; 23, 137]:

1. Описание действующих как социальных объектов, т. е. как объектов ориентации. Здесь первостепенную важность имеет определение их ролей, причем роли могут относиться и к индивидуальным, и к коллективным действующим объектам.
2. Описание и классификация типов ролевых ожиданий и их распределения в социальной системе (также при соблюдении различия между индивидуальными и коллективными субъектами действия).
3. Описание путей распределения инструментальных средств среди системных ролей. Организация системы власти.
4. Описание путей распределения по ролям в системе «экспрессивных вознаграждений». Организация системы вознаграждений, социальная стратификация.
5. Описание участия в структуре иных, чем ценностные ориентации, культурных элементов (проблема «роли идей», «систем верований», «систем экспрессивного символизма» и т. п.).
6. Описание интегративных структур и регулятивных институтов, которые могут направить распределение средств и вознаграждений по «правильным» каналам. Нормы и санкции. Описание ролей, вносящих «позитивный вклад» в достижение коллективных целей (роли неформального лидерства, административные, представительские и т. д.).

Однако это «структурное описание» еще не обеспечивает нужного приближения к эмпирической структурной дифференциации и варибельности обществ, а с тем не дает и подлинного динамизма анализа. Кроме описания логически возможных комбинаций из «значений» разных структурных переменных (ценностных ориентации, ролевых ожиданий и т. д.), необходимо выяснить, все ли из этих сочетаний возможны на практике, и как-то соотнести с уже известными науке «эмпирическими группировками» из структурных компонентов социальных систем. Такие операции Парсонс называет «структурным анализом» и видит два пути его осуществления [23, 151–153].

Первый — это применение развитой им обширной классификационной схемы (для оценки ее пригодности) к избранным эмпирическим единообразиям, которые достаточно хорошо установлены в социологии. Идея состоит в том, что в определенных ключевых секторах социальной структуры, вероятно, не обнаружится эмпирически наблюдаемых структур, покрывающих весь диапазон теоретически возможных (по законам логических перестановок и сочетаний) комбинаций структурных элементов. Этим выясняются «запрещенные их сочетания». Реальные же структуры образуют определенные «гнезда», эмпирические группировки. Из таких группировок Парсонс дальше рассматривает: 1) системы родства, контроля сексуальных отношений и социализации, 2) организацию инструментальных «достигаемых» ролей и стратификацию, 3) отношения между властью и принципом территориальности, 4) отношение высокой степени интеграции ценностных ориентаций к познавательным ориентациям и определенным проблемам «личного примирения с религией» (последнее, безусловно, веберовская проблематика).

Второй путь — использование позитивных теоретических результатов предыдущего описания. Комбинации типовых структурообразующих переменных (отражающие возможности варьирования в базисных цен-

ностных ориентациях) используются как отправной пункт для развития пробной, предварительной классификации типов социальной системы. Далее в чисто логические производные такой классификации можно вносить модификации, которые обоснованы тем, что мы знаем об эмпирической взаимозависимости образцов ценностной ориентации и других компонентов социальной системы из общепризнанных «единообразий». Результаты, полученные двумя путями, взаимно проверяют друг друга.

К примеру, феномен «родства» — это универсальное социальное явление, строящееся вокруг ряда прирожденных (аскриптивных) характеристик: пола, возраста, биологических кровных отношений и т. п. И «родственные единицы» в любом обществе, несмотря на ряд вариаций, принадлежат к определенному типу структуры, который охватывает лишь малую часть из всех мыслимых структурных возможностей. «Родственная единица» описывается как структура, в которой преобладают диффузная ориентация и партикуляризм. Надо объяснить здесь некоторые устойчивые связи, например причину, по которой в «родственных единицах» не проявляется тип ориентации, характерный для индустриальных организаций.

Ограниченность диапазона фактически наблюдаемых структур по сравнению с теоретически возможным Парсонс объясняет тем, что общества подчиняются определенным «функциональным необходимым». Они делятся на два класса: 1) «универсальные императивы», условиям которых должна удовлетворять любая социальная система устойчивого и долговременного характера, и 2) «императивы совместимости», ограничивающие область сосуществования структурных элементов в одном и том же обществе так, что если имеется один структурный элемент, положим, индустриальный класс профессиональных ролей, то тип системы родства, который сопутствует ему, должен попасть в определенные заранее предполагаемые пределы [23, 167]. Как правило, структурные элементы, между которыми обнаруживается несовместимость, — это роли и ценностные стандарты, на которых они основаны.

Структурный анализ как мысленный эксперимент приобретает черты реальности, если удастся связать его результаты с мотивационными процессами. Парсонса интересуют процесс «обучения социальным ролевым ожиданиям» и «механизмы социализации мотивации» [23, Ch. VI]. Мотивационный анализ — это «динамический» анализ. Точка отсчета для всякого такого анализа — это «стабилизированный или уравновешенный процесс взаимодействия». Проецируя теоретическую, неэмпирическую идею равновесия на социальную систему, получим, что она может быть стабильной, только когда достигают максимума интеграция между образцами ролевых ожиданий, их взаимность и дополнительность. Парсонс называет такое состояние систем взаимодействий полной «институциональной интеграцией». «Несомненно, — пишет он, — это противоречит здравому смыслу общественных наук, но тем не менее допустим, что сохранение взаимодополнительности ролевых ожиданий, однажды установившейся, не составляет проблемы, другими словами, что „тенденция” к сохранению процесса взаимодействия есть *первый закон<sup>1</sup> социального*

<sup>1</sup> Имеется в виду аналогия с «первым законом механики» Ньютона — законом инерции.

*процесса*. Ясно, что это допущение, но, конечно, не будет теоретических возражений против таких допущений, если они служат обобщению и организации нашего знания» [23, 205].

Цель данного теоретического допущения — отчетливее увидеть то, что ему противоречит. Парсонс, разумеется, не считает, будто конкретные социальные системы полностью институционализированы и стабилизированы. В действительности такого равновесия не существует. Полная гармония взаимных ожиданий — это такой же идеальный предел, как «машина без трения» в механике. Конкретные системы варьируют между двумя крайностями «институциональной интеграции», ее полярными антитезами: гармонией полной институционализации (и в смысле общезначимости образцов ценностной ориентации, и в смысле мотивационной ориентации, или готовности к исполнению соответствующих ожиданий) и аномией, полным крушением нормативного порядка, отсутствием упорядоченного процесса взаимодействия [23, 39]. Эти предельные понятия, однако, не описывают никакой конкретной социальной системы. Степень институциональной интеграции, так же как степень аномии, есть вопрос эмпирический, на который нельзя ответить на основании лишь теоретических допущений.

Процесс, который гипотетически приводит к модели сбалансированной и стабильной социальной системы, — это «процесс институционализации», идеально удавшийся во всех своих звеньях. Это тот процесс, категориями которого Парсонс надеялся связать концептуализацию «большой» социальной системы с базовыми методологическими посылками теории действия. Поэтому желательнее отчетливее представить составляющие этого процесса как некоторую сводку прежде сказанного: 1. Различно ориентированные действующие лица попадают в ситуации, где они должны взаимодействовать. 2. Способ ориентации действующих лиц отражает структуру их потребностей и то, как эта структура изменилась под влиянием интернализации культурных образцов. 3. Через процессы взаимодействия, включая вхождение путем обучения в «прирожденные», предопределенные роли, последующие «ролевые договоры» и «ролевые обмены», устанавливаются нормы, по которым действующие лица приспособляют свои ориентации друг к другу. 4. Но пределы этого нормативного приспособления одновременно определяются общими культурными образцами. 5. Установившиеся нормы регулируют последующее взаимодействие, придавая ему стабильность.

Как только появляются относительно стабильные образцы взаимодействия между субъектами, занимающими различные статусные позиции, т. е. как только взаимодействия «институционализируются», с этого момента можно говорить о существовании «социальной системы». Этим термином обозначается любая организованная, будь то микро- или макроформа взаимодействия. Идеальный структурный результат институционализации выражает прежде описанная полная «институциональная интеграция».

Чисто теоретическая модель социальной системы, достигшей такой интеграции, — это отправной пункт для концептуальной разработки динамического аспекта теории социальных систем. Относительно этого пункта определяются общие тенденции, возмущающие социальную си-

стему, а затем функции и механизмы, выражающие мотивационные динамические моменты действия, уравнивающие эти возмущения.

Первая возмущающая тенденция — это постоянный приток нового «персонала», не обладающего автоматически собственными ролевыми ориентациями. Гомеостатические механизмы, которые нейтрализуют эту тенденцию и восстанавливают равновесие, Парсонс называет «механизмами социализации» [23, 205–208]. Их можно описать как механизмы, которые «интегрируют» личностные системы в социальную систему. Механизмы социализации — это все средства и процессы, через которые культурные образцы (язык, ценности, верования, разные символические явления) усваиваются действующими, тем самым определяя «потребностную структуру», «потребностные предрасположенности» личностной системы, «взаимопроницаемой» с социальной. Благодаря социализации действующие «приохочиваются» вкладывать мотивационную энергию в социальные роли (и потому подчиняются нормам) и приобретают межличностные навыки и умения, необходимые для исполнения ролей.

Второй класс возмущающих тенденций — это независимые изменения в окружении социальной системы, которые могут дать толчок процессам «отклоняющегося (девиантного) поведения». В конкретных социальных системах структура личности никогда не проявляет идеального параллелизма структуре социальной системы, так что распространение отклоняющегося поведения сверх какой-то нормы — явная угроза «равновесию». Мотивационные коллективные процессы, способные уменьшить и сдерживать отклонения, Парсонс называет «механизмами социального контроля» [23, 206 и сл.]. Они включают: институционализацию ролевых ожиданий, межличностные санкции и жесты, ритуальные виды деятельности, вовлечение части действующих в особые институциональные комплексы ролей, которые обязывают применять силу и принуждение, и т. д. Вместе взятые, механизмы социализации и социального контроля рассматриваются как вносящие наибольший вклад в решение проблемы интеграции социальной системы.

Парсонсовская разработка потенциальных «направлений девиантной ориентации» [23, 256–267], а точнее мотивационных процессов девиации и противодействующих им процессов социального контроля основана на вероятных расхождениях между «потребностными предрасположенностями» (потребностями-установками) индивидуальных действующих и ролевыми ожиданиями, опирающимися на ценностные стандарты. Однако трактовка «генезиса девиантной мотивации» тоже априорная, т. е. *понятия* о мотивационных механизмах девиантного поведения, призванных прорвать «порочный круг» (выражение самого Парсонса) взаимодополнительных ожиданий во взаимодействии разных субъектов, прямо выведены из теоретической конструкции реально несуществующей полностью устойчивой социальной системы.

В структурировании социальных систем особенно важны «лазейки» в системе социального контроля. Тенденции девиантного поведения, с которыми не совладали контрольные механизмы социальной системы, составляют, по мысли Парсонса, один из главных источников изменения в ее структуре. Проблемам теории изменения социальных систем посвящена глава XI «Социальной системы».



Парсонсовское «концептуальное конструирование» и спецификация классификаций продолжаются и дальше в этой книге, принимая трудно-обозримые размеры. Но основные тенденции данного «структурно-функционального» этапа теоретизирования уже можно понять. Во-первых, заметно постепенное смещение в сторону психологической «мотивационной ориентации» вместо первоначально задуманного уравновешенного представления двойной «субъектно-объектной» (ценностной и ситуационной) ориентации. Во-вторых, не выдерживается необходимое для «общей теории» сквозное единство ее строительных принципов: отдельные подсистемы действия начинают дифференцироваться по различным критериям, и под влиянием биолого-гомеостатической модели (родственной «органическим» моделям XIX в., несмотря на все усилия Парсонса уйти от них) найденная в итоге внутренняя структура этих подсистем оказывается важнее их отношений с другими подсистемами, выводящих на уровень «общей теории действия». В-третьих, не выдерживаются исходные принципы «аналитического реализма»: вместо того чтобы быть аналитическими аспектами действия, подсистемы начинают выступать в роли как бы реальных систем, исполняющих друг для друга конкретные функции. Особенно мало похожа на бесплотное аналитическое измерение социальная система, которая перестает быть только сетью каркасов действий и абстрактных отношений, как намечалось в исходном варианте «системы отнесения», и тяготеет к превращению в ограниченную группу, объединение индивидуальных действующих по образцу каких-то эмпирических групп в реальном социальном мире. Социальная система выглядит автономной по отношению к своей окружающей среде, что подчеркнuto тем значением, которое придается процессам самосохранения и предохранения этой системы от угрожающих ей нарушений и девиаций. Это производит такое впечатление, словно одной теории социальной системы вполне достаточно для объяснения социального действия, так что эта по замыслу лишь «вспомогательная описательная схема», аспект «общей теории действия», делает ненужной и саму эту теорию и прочие науки о действии. Многие трудности в понимании книги «Социальная система» объяснимы возникающей путаницей, когда вдруг заходит речь о реальном взаимодействии того, что прежде именовалось «аналитическими измерениями» действия.

Не получилось на этом этапе и убедительного преодоления в единой системе понятий («системе отнесения») противоречий между построениями «от индивида» и «от общества в целом», т. е., выражаясь по-гегелевски, не получилось диалектического «снятия» антитезы «номинализм—реализм». Связь между двумя этими точками зрения, включенными в теорию, выражена понятием «функции», которое призвано согласовывать субъективные и индивидуальные способы ориентации (мотивации) с объективными требованиями и характеристиками системы. Но в трактовке этой связи Парсонс прибегает либо к осужденной им ранее у Локка уловке «предустановленной гармонии», когда процессы социализации, взятые в категориях мотивации индивида, объявляются тождественными процессам распределения индивидов по ролям с точки зрения функциональной значимости для социальной системы [23, 207] — и тогда критики Парсонса говорят о его «концепции сверхсоциализированного человека», о совершенной и утопической гармо-

нии между индивидом и обществом в его теории (Д. Ронг, Р. Дарендорф и др.); либо он допускает параллельное сосуществование и развитие двух различных теоретических точек зрения, когда теория личностной системы связана, в основном, с субъективными или мотивационными факторами, а теория социальной системы опирается на объективные или ситуационные факторы — и тогда критики говорят о необъяснимых «теоретических метаморфозах от социального бихевиоризма к макрофункционализму» и обратно (Дон Мартиндейл, Дж. Хоманс и др.).

Относительную неудачу Парсонса в «снятии» спора между социологическим номинализмом и реализмом подтверждает и то, что как до него, так и после сохраняется разделение на микро- и макросоциологию. Существование связи между микропроцессами (психологической мотивации, элементарного приспособительного взаимодействия и др.) и макропроцессами (роста величины системы, социальной дифференциации, интеграции и т. п.) в принципе не оспаривает ни одна школа теоретической социологии. Но «понимание» этой связи остается на уровне метафор, а не общепризнанной системы понятий. На практике при анализе макропроцессов глобальной организации и институциональной структуры общества, составляющих их отдельных индивидов, индивидуальные акты и микровзаимодействия чаще всего «выносятся за скобки» анализа, так что разрыв между двумя уровнями теоретизирования сохраняется. Быть может, он вообще непреодолим, поскольку крупные исторические формы целиком несводимы ни к каким индивидуальным действиям.

Что касается Парсонса, то его теоретические затруднения в этой области обобщил Адриансенс словосочетанием «концептуальная дилемма»: «Пока понятийная система отнесения не способна ясно отличить субъективный аспект от объективного и отчетливо показать отношения между этими двумя аспектами, теория остается в силках концептуальной дилеммы: либо должны быть две взаимодополнительные теории, так что каждая опора волюнтаристской мысленной схемы может быть отнесена к отдельной теории, либо будет общая теория, которая, по необходимости, усиливает одну из двух точек зрения за счет другой» [11, 97]. Этот автор яснее других аналитиков парсонсовских теорий показал трудности сочетания в единой теории всех четырех притязаний (всеобщности, аналитического характера теории, синтеза субъективных и объективных факторов, равно как и диалектических отношений между индивидом и обществом), из которых исходит «волюнтаристская теория действия», и неизбежность распада ее «структурно-функциональной версии» на отдельные несовместимые между собой фрагменты. Эта версия, по Адриансенсу, образует нечто вроде «федерации» четырех дополнительных друг к другу точек зрения, по отдельности реализуемых разными течениями в социологическом теоретизировании: индивидуалистическими теориями обмена, символическим интеракционизмом, франкфуртским неомарксистским идеализмом и др. [11, 101–102]. И хотя «Социальную систему» очень часто считают главной книгой Парсонса, она во многом затемняет и мешает понять логику развития его теории действия. С этой целью полезно изучать его позднейшие работы.

Парсонс, верный идее «общей теории действия», продолжал поиски такой понятийной «системы отнесения», в которой «ориентация» и «си-

туация» больше не функционировали бы как отдельные каналы ввода в теорию действия, но были бы объединены в единой всеобъемлющей точке зрения. Таковую Парсонс нашел в возвращении и более строгом проведении идеи «символизма действия», намеченной еще в «Структуре социального действия» (1937). С разработкой «теории символизма применительно к действию» [25] связан наиболее зрелый этап создания его теории действия и социальной системы, который будет рассмотрен ниже.

#### 4. СИМВОЛИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ЧЕТЫРЕХФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА

В структурно-функциональной версии теория строилась не вокруг самого действия в его целостности и неделимости, а в основном вокруг ориентации субъекта действия на ситуацию. Поиски синтеза субъективного и объективного в детерминации человеческого действия выражались в разработке комплексов понятий, соответственно, вокруг «ориентации» и «ситуации». Но объективный момент, воплощенный в ситуации, далеко выходил за пределы действия как такового, к макропроцессам и структурным свойствам социальной системы, которые не всегда удавалось логически убедительно связать с индивидуальными и индивидуальными взаимодействиями. К тому же категории этого структурного анализа были заимствованы, пусть внешним образом, из «функционалистской» традиции, в общем чуждой теоретизированию в понятиях действия. Новое переутверждение в качестве базовой единицы анализа действия как символического явления требовало выявлять символические отражения субъективного и объективного в одном и том же неделимом социальном действии, оставаясь строго в его понятийных рамках. Отныне, по определению, элементарное понятие действия предполагало одновременное сосуществование двух аналитически различных и независимых «функциональных» моментов: поддержание некоего неизменного стандарта ориентации; и определение значения одного или более объектов ситуации [9, 33]. Отсюда каждое действие символично в «экспрессивном смысле» как выражение мотивации или ориентации действующего. Одновременно то же самое действие символично и в «когнитивном смысле», выступая как ситуационный объект (или объект интерпретации), который приобретает значение и для того же, и для других действующих и должен быть так или иначе истолкован. Действие оказывается символическим посредником между двумя полюсами (ориентацией и ситуацией) прежней системы отнесения, тяготевшей к обособлению систем понятий вокруг этих полюсов. Действие можно также рассматривать и как процесс, происходящий между двумя структурными частями единой системы «действующий — ситуация». (Напомним, что парсонсовское понятие «действующий» (actor) расширено и определяет не только индивидов в ролях, но и другие типы действующих единиц: коллективы, «поведенческие организмы», культурные системы и пр.)

Преодоление обособленности теоретизирования в двух полярных перспективах началось с переосмысления старой классификационной схемы стандартных структурообразующих переменных (см.: [9, 36–40; 3]). Эти переменные со времен «Социальной системы» делились на две группы,

характеризующие два класса компонентов системы действия: ориентации субъектов и модальности объектов ситуации. «Ориентационный комплекс» стандартных переменных характеризует отношение субъектов действия к ситуации со стороны их «заинтересованности» в одном из ее объектов или в категории объектов как стабильном источнике «потребительской удовлетворенности» («консуммация»). «Модальностный комплекс» характеризует это же отношение со стороны самой ситуации не как «единого целого» для ориентации «действующих систем», но как состоящей из ряда объектов, подлежащих познавательной оценке с целью их адекватного выбора для достижения той же удовлетворенности. Таким образом, ориентация определяет «потребительское» отношение действующего (как действующей системы) к объектам его ситуации и описывается понятиями двух «установочных» переменных: диффузность — специфичность и аффективность — нейтральность. Модальность имеет в виду «инструментальное» (то есть оцениваемое как средство достижения цели) значение объекта (или объектов) ситуации для действующего и «концептуализирована» тоже двумя переменными «объектной категоризации»: качество — исполнение и универсализм — партикуляризм. Пятая стандартная переменная «ориентация на себя — ориентация на коллектив» теперь выпадает как не принадлежащая к этому уровню анализа [9, 36–37; 3, 641].

Поскольку в символическом действии вновь была сделана ставка на объединение перспектив ориентации и ситуации, то встал вопрос о возможных точках схождения стандартных переменных из двух рядов, разделенных между этими перспективами. В «структурированной» (организованной) системе действия отношение между ориентациями действующего и модальностями объектов ситуации не может быть случайным [3, 641]. И в «Рабочих тетрадах...» [25] впервые было установлено это неслучайное отношение между «рядом ориентации» и «рядом модальностей» путем спаривания функционально соответственных стандартных переменных на каждой стороне. Если взять, например, переменную «аффективность», сформулированную с точки зрения ориентации действующего и означающую его установку на свободное, активное и прямое удовлетворение *своих* потребностей, то ее эквивалентом при рассмотрении того же действия (как следствия данной установки) с «объективной», или «ситуационной», *точки зрения* будет переменная «исполнение». На уровне символизма действия обе переменные отражают один и тот же момент действия — его прямую ориентацию на удовлетворение потребности или на достижение цели. Действие, понятое как «экспрессивный» символ (аффективность), объективно представляет собой событие, подлежащее интерпретации с точки зрения его значения для достижения (исполнения) цели, и в этом смысле есть «когнитивный» (познавательный) символ. Один и тот же действующий субъект может использовать обе точки зрения, и в этом выражается «фундаментальная двойственность» человеческого действия.

Аналогично переменные «аффективная нейтральность» и «качество» отражают в действии — первая в экспрессивном, вторая в когнитивном смысле — момент непрямого удовлетворения потребности. Ибо если «нейтральность» указывает на присутствие субъективной наклонности действовать, которая до поры до времени не преобразуется в прямое действие, то «качество» говорит о той же установке действующего в све-

те познавательной оценки им объектов, и прежде всего в том смысле, что сам действитель как объект приобретает значение не через свои прямые и воспринимаемые действия, а через «объективные» качества.

В результате на уровне действия или системы действия комбинация стандартных переменных дает новую переменную, заданную в пределах от прямого удовлетворяющего потребность или достигающего цели действия (комбинация аффективности и исполнения) до непрямого удовлетворяющего потребность или непрямого «инструментального» действия (комбинация нейтральности и качества). Это новое измерение действия Парсонс первоначально считал просто «дополнительной стандартной переменной», но вскоре стал называть его «*инструментально-консумматорной осью дифференциации*» систем действия [9, 37–38]. «Консуммацию» (приблизительно: ориентацию на самодостаточную «потребительскую» удовлетворенность, в том числе полученную в результате достижения цели) Парсонс определял как заинтересованность действителя в установлении и сохранении такого отношения к объекту, которое он не имеет побуждения изменять. Психологически, это выражается в том, что действитель имеет «потребность» в таком самодовлеющем отношении, которая может быть «удовлетворена» самим фактом его установления и стабильности. Альтернативой этой потребности в «консумматорном отношении» (суть которого в предпочтении достижения цели безотносительно к всякому расчету средств) является «потребность» в посторонней помощи (средствах) для достижения такого отношения к объекту. Тем самым, наряду с «консумматорным», учитывается «инструментальное» основание ориентации в объектном мире. И одно из опорных положений парсонсовской теории, отражающих изначальную двойственность действия, таково, что консумматорные и инструментальные объектные интересы не могут быть максимизированы в одно и то же время. «Инструментальное» и «консумматорное» измерения ориентации *аналитически независимы* [3, 646; 20, 199].

Само это различие разных оснований ориентации агентов действия по отношению к объектам подразумевает, что этих агентов следует представлять как дифференцированные системы со специфическими способами организации независимых аналитических компонентов. В этой связи становится важным то, на что сделан главный упор: то ли на отношение действующей системы к ее окружению, то ли на ее собственные внутренние свойства и равновесие. Ситуация, или объектный мир, организована отлично от действующей системы. Отсюда следует, что при *прямой* ориентации на ситуацию особенности дифференциации среди объектов и их свойств приобретают выдающееся значение. В то же время там, где преобладают внутренние «потребности» действующей системы, значение этих особенностей убывает и ориентация на объекты становится более расплывчатой («диффузной») [3, 647].

В свете этих соображений Парсонс рассматривает внутренние отношения между стандартными переменными «партикуляризм–диффузность» и «специфичность–универсализм» с целью получить новую переменную, крайние значения которой указывали бы соответственно либо на внутреннюю среду системы, либо на отношение этой системы к ее внешней среде [25, 61–62; 5, 199 и сл.]. «Партикуляризм» — это переменная из «ситуаци-

онного» комплекса, которая приписывает значимость объекта факту его принадлежности к той же системе отношений, к которой принадлежит сам действитель. «Диффузность» говорит не о «модальностях» ситуации, а о природе ориентации действителя по отношению к объекту. Это ориентация общего характера, где интерес действующего сосредоточен на объекте в целом, а не на конкретных элементах этого целого. Но обе переменные (партикуляризм и диффузность) функционально указывают на один и тот же «внутренний» аспект системы действия, который Парсонс иногда называл «внутренней средой» действия. Напротив, обе переменные из другой пары — «специфичность» (мотивационная ориентация на конкретные характеристики объекта) и «универсализм» (как указание на то, что значимость объекта для действителя частично независима от их отношений между собой) — с разных (субъективной и объективной) сторон обозначают одно и то же «внешнее» отношение системы действия к ее окружению. Комбинация этих двух только что рассмотренных пар дает второе новое обобщающее «измерение», или вторую «ось дифференциации» на основании различия *внешнего* и *внутреннего* в системах действия.

Отныне термин «стандартные (типовые) переменные» отступает в работах Парсонса на второй план, ибо это выражение обозначало разные образцы отношения действующих агентов к объектному миру и потому соответствовало устарелой «системе отнесения», где еще сохранялось противопоставление действия и ситуации и «ситуационное» выходило за рамки понятий «системы действия». Теперь новые дополнительные переменные характеризуют строго аналитические, абстрактные измерения, по которым может быть дифференцирована любая система действия. Парсонс предпочитает именовать их «осями дифференциации» [9, 38] и подчеркивает, что в сравнении с прежней системой понятий эти оси вынуждают ставить при анализе системы действия совершенно одинаковое ударение на внутренний и внешний аспекты действия. Это вытекает из «основного постулата» теории действия, в соответствии с которым состояния действующих систем и состояния ситуационного объектного мира, в котором они действуют, изменяются независимо [20, 201; 3, 649].

Если полученные две независимые оси дифференциации скомбинировать перекрестно, то впредь мы сможем различать четыре универсальные характеристики действия, часто именуемые также «четырьмя основными функциональными потребностями системы действия», или «четырёхфункциональной парадигмой» (табл. 1).

Таблица 1

#### Четырёхфункциональная парадигма

	ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ	КОНСУММАТОРНОСТЬ
Внешнее	Адаптация — А	Целедостижение — G
Внутреннее	Латентность — L	Интеграция — I

Здесь «адаптация» (или «функциональная подсистема адаптации») обозначает «инструментальный и внешний» срез действия, отражающий возможности «манипулирования» свойствами его внешней среды. «Целедостижение» соотносится с тем аналитическим аспектом действия (внешнего и консумматорного), который направлен на удовлетворение по-

требностей или на достижение целей в объектном мире. «Интеграция» обозначает «внутренние и консумматорные» моменты действия, ответственные за координацию элементов системы действия. «Латентность» (имеющая также более длинное название «поддержание культурного образца и управление напряжением» — «pattern-maintenance and tension management») своим «инструментальным и внутренним» характером выделяет те моменты действия, которые обеспечивают общезначимое «определение ситуации» и классификацию типов ориентации по отношению к объектам. При этом «латентность» имеет в виду некий общекультурный и общесистемный стандарт, образец (pattern), символический код, благодаря которому действие реализуется в соответствующих формах, но который именно в силу своего общезначимого для всех, надындивидуального характера оказывается также источником напряжения. Парсонс потому и использует слово «латентность» (скрытое состояние чего-либо), чтобы подчеркнуть фундаментальное значение той повсюду разлитой культурной «материи», которая настолько общепринята и «сама собой разумеется», что и не замечается и не обсуждается, но фактически является условием возможности любых «переговоров» и взаимных «пониманий» в данной культуре. Культурный аспект действия, общезначимый «символ», исполняет в человеческом действии «внутреннюю» функцию, подобную функции «гена» в человеческом организме.

Схема «четырёхфункциональной парадигмы» — это зерно, из которого вырастает обновленная система понятий парсонсовской теории действия. Но термин «функция» в составе этого выражения вводит в заблуждение, поскольку имеет мало общего с обычным употреблением его в функционализме для обозначения либо гомеостатической взаимосвязи социальных элементов (ролей, культурных образцов, норм, институтов и т. д.) между собой и целым, либо конкретного процесса адаптации к существующим условиям некоторого социального факта с точки зрения общества или индивида. У Парсонса слово «функция» здесь равнозначно обороту «аналитический аспект системы действия», а «четырёхфункциональная парадигма» соответственно означает минимальный набор аналитических измерений, без которого нельзя осмысленно говорить о «системе действия». Эта парадигма играет роль универсальных методологических предпосылок, направляющих теоретическую деятельность и содержательные исследования социального мира, но не предопределяющих заранее его устройство. Поскольку «каждую единицу системы действия можно посредством изменения уровня системы соотнесения саму представить как систему», анализ любого из аспектов этой единицы в категориях указанных «четырёх возможных комбинаций элементарных компонентов действия» и на «любом заданном уровне в пределах макроскопически-микроскопического или системно-подсистемного диапазона является делом эмпирической постановки проблемы и не имеет онтологического значения» [9, 38]. В поздних работах вместо навязывающего нежелательные ассоциации термина «четырёхфункциональная парадигма» Парсонс предпочитает говорить о «парадигме взаимообмена» между подсистемами действия, поскольку вопрос о функциях, исполняемых отдельными частями общей системы действия, отступает на второй план, а на первый выходит проблема способов и принципов организации аналитических компонентов, между кото-

рыми существуют отношения взаимного обмена, в отдельных подсистемах и в работающих системах действия.

Рассматриваемая парадигма дает единообразную простую основу для дифференциации действия на уже известные нам подсистемы и для более последовательного их определения. Выше было показано, как с «латентностью» соотносится *культурная подсистема* действия, являющаяся средоточием часто скрытых ценностных ориентаций и предпосылок. Аналогично *социальная подсистема* (или, при самостоятельном рассмотрении, социальная система) абстрагирует из тотальности действия компоненты, способствующие координации и интеграции человеческого взаимодействия. В таком понимании социальная (под)система — не конкретная группа, не реально наблюдаемая вещь или событие, а лишь аналитический аспект (функция) действия вообще. В тотальности действия она осуществляет «функцию» интеграции (сложное, многосоставное понятие, объединяющее ряд взаимосвязанных процессов), это и есть определение социальной системы. По той же логике с *личностной подсистемой* соотнесено в тотальности действия все связанное с «функцией целедостижения», ибо в конечном счете движущая сила всякого действия — это мотивационная энергия (даваемая потребностью) и ориентация индивидуальных действующих субъектов, и ее источник надо искать внутри личности. Целедостижение — это такая деятельность, которая, будучи удовлетворяющей потребности и консумматорной, в то же время учитывает отношения между системами действия и окружающей средой и тем самым имеет внешнюю направленность. Личностная подсистема собирает потребности и целеориентационные компоненты действия.

На внешние отношения между конкретной системой действия и ее окружающей средой указывает и «адаптационное» подмножество компонентов действия, которое Парсонс назвал *бихевиоральной (поведенческой) подсистемой* (первоначально — «подсистема поведенческого организма» [4, 786]). Но эта подсистема сосредоточивает в себе те «инструментальные» комбинации компонентов действия, которые обеспечивают биофизиологическую базу действия и определяют соответствующие «механизмы» приспособления действующей системы к своей среде. До введения четырехчастной парадигмы у Парсонса не было этой подсистемы. Он всегда противопоставлял свою идею «действия» понятию «поведения» в бихевиоризме. Теперь же он, выражаясь по-гегелевски, «снял» это противостояние, сделав бихевиористский подход к поведению «аналитическим моментом» в концептуальной схеме общей системы действия в полном соответствии с логикой четырехфункциональной парадигмы.

Итак, базовую аналитическую дифференциацию системы действия можно представить в табличной форме (табл. 2):

Таблица 2

Базовая общая система действия				
	ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ		КОНСУММАТОРНОСТЬ	
Внешнее	Бихевиоральная (под)система	A	G	Личностная (под)система
Внутреннее	Культурная (под)система	L	I	Социальная (под)система



Каждая из указанных аналитических подсистем составляет предмет определенной аналитической дисциплины (или группы дисциплин), и все эти дисциплины, хотя бы на уровне формальных классификаций, способна объединить парсонсовская теория действия. Так, бихевиористская психология с относящимися к ней элементами биологии, физиологии и неврологии годится для изучения «бихевиоральной системы» и ее компонентов (генетической конституции, предрасполагающей к определенному типу поведения, работы органов чувств и т. п.). Психология, понятая по образцу фрейдистской традиции как анализ структуры личности, может считать своим предметом личностную подсистему. Комплекс «социальных наук» (экономика, социология, политология и культурология) с разных сторон изучает «социальную (под)систему» как в микродинамических процессах взаимодействия (включая процессы взаимного истолкования, приспособления и столкновения поведений), институционализации (структурирования взаимодействий) и пр., так и в макродинамических процессах структурной и функциональной дифференциации и интеграции (включая процессы координации социальных элементов, процессы «ценностного обобщения» или символической унификации, конфликта в разных видах и др.). Для «культурной подсистемы» трудно указать определенный круг дисциплин, ее изучающих. Это самая «философичная» область, где сильнее всего проявляется символизм действия, и главное здесь — через истолкование смысла действия и взаимодействия и уяснение оснований, на которые она опирается, выйти к иным, глубинным и скрытым, слоям социального бытия. Здесь социология не чуждается путей философии культуры и культурологии.

Из сказанного в последнем абзаце ясно, что приписываемой Парсонсу многими критиками абсолютной несовместимости его теории социальных систем с идеями бихевиоризма и символического интеракционизма для него самого не существует.

Универсальный инструмент «четырехфункциональной парадигмы» Парсонс применяет для анализа каждой из вышеописанных первичных подсистем, получая в итоге особые теории действия «второго уровня» («первый уровень» составляет теория общей системы действия, сводящаяся к формулировке и классификации отношений обмена между указанными подсистемами). Сам термин «теория действия» становится общей этикеткой для всех теорий, относящихся к различным системным уровням. Из теорий второго уровня наиболее разработана Парсонсом теория социальной системы.

## 5. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЕЙСТВИЯ

Особый самодостаточный тип социальной системы представляет собой «общество» [4, 792 и сл.]. С помощью все тех же осей дифференциации можно расчленить на внутренние подсистемы и эту наиболее всеобъемлющую систему взаимодействия. Здесь, как и в общей системе действия, снова можно различить четыре условные «функции»: 1) функция адаптации абстрагирует процессы действия, производящие средства для достижения общих *социетальных* (рассматриваемых в масштабах всего общества) целей; 2) целедостижение охватывает процессы прямого регулиро-

вания и управления в сфере социального взаимодействия; 3) интегративная функция в социальной системе имеет в виду процессы координации всех элементов, исполняющих какую-либо роль в социальном действии; 4) к сфере «латентности» относятся ценностно-культурные и мотивационные нормы и стандарты (типа восходящих к веберовскому «духу капитализма» морального «институционализованного индивидуализма», «индивидуалистического активизма» и т. п.), фундирующие социальное действие. Все эти «функции» на уровне «общества» как системы действия получают у Парсонса специальные названия, вызывающие многочисленные ассоциации с традиционными, до него существовавшими теоретическими разделениями в общественных науках: адаптивная функция — «экономия» (или социетальная экономическая подсистема); целедостижительная — «полития» (социетальная политическая подсистема); интегративная — «социетальная общность» (это парсонсовское «аналитическое» понятие «societal community» [8, 25–28] очень близко к теннисовскому «идеально-типическому» понятию «Gemeinschaft»); функциональная подсистема «латентности» получает название «фидуциарная система»<sup>1</sup> (то есть по смыслу этого юридического термина: абстрагированная система отношений, держащихся на общественном доверии, общей вере).

Хотя термин «экономия», по Парсонсу, относится не к «экономике» как конкретной реальности в виде системы деловых предприятий, домохозяйств, банков и т. д., но к «аналитическим компонентам» хозяйственной деятельности, исполняющим «функцию адаптации» для общества как системы, он полагает возможным сделать этот аналитический аспект социального действия предметом экономической науки («экономики»). Тем самым Парсонс получил и новые возможности «синтезировать», встраивать в контекст теории социальных систем многие понятия и подходы экономических теорий, в частности, анализировать изучаемые социологией обменные отношения (вплоть до межкультурных «обменов» ценностями) по модели «приход–расход», «затраты–выпуск» (или, на языке кибернетики, «вход–выход»). Первый набросок такого анализа межсистемных отношений «экономии» с тремя другими абстрактно определенными на основе четверной парадигмы (под)системами был дан в его совместной с Н. Смелзером работе под тем же названием [28], как у известного труда М. Вебера «Хозяйство и общество». В дальнейшем развитии и обобщении этих идей особо важны статьи [18; 22].

Согласно экономистам, «затраты» (входные факторы) экономической А-подсистемы — это производительные силы: земля, труд, капитал, организация и др. Проблема в том, как связать эти производительные факторы со вкладами в «экономия» со стороны других подсистем. Вкладом фидуциарной L-подсистемы можно считать производство, контроль и регуляцию ценностных обязательств [19], предпочтений и привязанностей партнеров во взаимодействии, т. е. вовлечение их в культуру, сотворение некоего общего «духа», «этоса», готовности и мотивационного заряда к действию. Применительно к нуждам «экономии» это можно истолковать как устойчивую готовность действующих к предложению своего труда. Признание и усвоение ими трудовых ценностей с последующим вовлече-

<sup>1</sup> Понятие впервые появилось в работе [26, 89].

нием их носителей в экономические цели общества — это часть процессов социализации, в очень существенной мере протекающих в лоне семьи. Поэтому значительную долю процессов в «аналитической» L-подсистеме можно отождествить с процессами в «конкретной» системе семьи.

Социетальная политическая G-подсистема («полития», отличаемая от конкретной «политики») абстрагирует те стороны процессов взаимодействия, которые мобилизуют способность действующих систем (индивидуальных и коллективных) эффективно добиваться своих целей даже вопреки сопротивлению любой природы [18, 298]. Отсюда вклад «политии» в «экономии» следует искать среди факторов, повышающих «эффективность» последней. Ключевым понятием политического анализа является понятие власти. Власть есть средство (в том числе силовое) управления и приобретения контроля над факторами эффективности. Всякое коллективное действие есть политическая функция. В политической сфере можно подыскать эквивалентные соответствия входным (затратным) факторам «экономии». Очевидно, что «земля», например, — не просто фактор производства, не просто физический ресурс, но в значительной мере «ценностное обязательство» передавать, вовлекать в экономическое производство или, шире, в «эффективное коллективное действие» любые ее ресурсы, необходимые обществу, независимо от экономической цены или платы за ту властную ячейку, которая контролирует направление их использования. Парсонс расширяет понятие «земли» по сравнению с распространенным его употреблением в экономической науке. У него «земля» не укладывается полностью в экономическую схему «спроса и предложения». Она символ множества объективно существующих материальных и духовных условий, в том числе живых, работающих культурно-ценностных образцов, в рамках которых протекает экономический процесс. Политической параллелью «труду» служит необходимость или «нужда» в мобилизации и коллективном действии определенной части народа, ответственной за выбор руководства данного «коллектива» (простейший случай — избирательные объединения, группы поддержки и т. п.). Параллелью «капиталу» служит способность контролировать некоторую часть производительности экономической системы для целей коллектива (в достаточно развитой экономике благодаря финансовым ресурсам в его распоряжении, накапливаемым посредством налогообложения, поступления доходов или дарений). Наконец, параллелью «организации» является легитимация власти, которая приобретает авторитет и под влиянием которой принимаются коллективные решения [18, 302–303].

Интегративная I-подсистема социальной системы действия («социетальное сообщество») специализируется на «выпуске продукта», который Парсонс называет дюркгеймовским термином «солидарность» [Ibid., 326–332]. «Солидарность» соотносится не с «властью», неизбежно придающей всем системам, где она преобладает, иерархический характер, резко контрастирующий с «линейно-количественным характером функционирования в обществе экономического богатства и денежных активов, а с более широким культурным „влиянием“» [17], которое чаще всего толкуется как «средство», связующее властный аспект социального контроля со структурой норм в обществе. «Солидарность есть принцип, в силу которого обязательное следование нормам, в свою очередь основанным на ценностях, связано с формированием коллективов, которые способны к эффек-

тивному коллективному действию. Если в экономическом направлении „проблема” эффективного действия состоит в борьбе со скудостью доступных ресурсов, включая попытки облегчить их движение, то в интегративном направлении она сводится к решению, упорядочивающему конкурирующие притязания, — с одной стороны, чтобы получить выгоды (или минимизировать потери), вытекающие из членств в коллективах, с другой — чтобы повлиять на процессы, которыми оперирует коллективное действие. Это явно подразумевает некоторую институционализацию подчинения единоличного интереса коллективному в случае их конфликта, действительного или потенциального, и, следовательно, оправдание единоличных интересов, поскольку они совместимы с более обширным коллективным интересом. Тогда социальная система обладает солидарностью соразмерно тому, насколько ее члены преданы общим интересам, через которые можно „интегрировать” дискретные единоличные интересы, а также определить основание и осуществить оправдание конфликтных решений и субординации. Солидарность определяет не способы осуществления этих общих интересов какой-то эффективной силой, но стандарты, которыми такая сила должна руководствоваться, и права разных составных элементов на свой голос в истолковании этих стандартов» [18, 327–328]. Солидарность как продукт «социетального сообщества» создает для экономики саму возможность координированной «организации», способной комбинировать факторы производства в работающей целое.

По тому же типу строится и дифференциация по «социетальным» подсистемам (согласно логике четверной парадигмы) «продуктов», или «выпускных результатов (выхода)» экономики, которые она может предложить для обмена с другими подсистемами. В традиции экономических теорий четырем производительным факторам соответствуют так называемые доли дохода: труду — зарплата, капиталу — проценты на капитал, организации — прибыль, земле или сырью — рента. Проблема нахождения «политических» соответствий этим долям дохода решается при условии «монетарной», а не «реальной» их трактовки. Экономика производит средства, благодаря которым могут быть осуществлены цели данной системы взаимодействия вообще (задаваемые преимущественно в политической сфере). В этом смысле от традиционной экономической теории, где «товары» (блага) и «услуги» рассматриваются нераздельно в качестве «выпуска» (или «выхода») экономики, Парсонс разносит их по разным подсистемам. «Товары» (а точнее права собственности на обладание физическими объектами) как первичная продукция экономики соотносены с частным (семейным) домохозяйством, а поскольку семья занимает самое важное место в фидуциарной подсистеме, то последняя преимущественно и «получает» товарные блага в обмен за предлагаемое ею ценностно-мотивационное обеспечение труда. «Услуги» же (по Парсонсу, «обязательство исполнителей ролей перед „работодателем” или контрактующим агентом, в том числе нанимающей организацией») логичнее связывать не с домохозяйством, а с «политией»<sup>1</sup>. Парсонс нетрадиционно толкует «услугу» в экономическом смысле как реальное подобие

<sup>1</sup> «Услуги» для домохозяйства следует рассматривать как частный случай, где роли потребителя и производителя-работодателя неотделимы друг от друга [18, 303].

монетарной доли дохода (процента) от использования (вложения) капитала. Услуга — это «пункт, в котором экономическая полезность человеческого фактора сочетается с его потенциальным вкладом в эффективное коллективное действие. Поскольку в принципе потребитель услуг — пользующийся ими коллектив, то именно эффективность для достижения коллективных целей, а не способность удовлетворять „желания“ индивидов, есть решающий момент, от которого зависит полезность данной услуги» [18, 304]. Поэтому услуга рассматривается как категория власти, создающей «благоприятную возможность для эффективности» коллективной деятельности. И услугу как результат («выход») экономического процесса, «утилизуемый в политическом контексте», по Парсонсу, необходимо отличать от «труда» как фактора производства в традиционном смысле. Точно так же и «капитал» допустимо толковать как одну из форм этой «возможности для эффективности», создаваемой *законодательной обязательностью* (входящей в понятие «власти») договоров о ссуде финансовых ресурсов, идущих на коллективную организацию, благодаря которой получатель финансов может действовать более эффективно.

Ответ на вопрос, что и какую долю от экономической производительности получает обратно «социетальное сообщество» (интегративная подсистема), строится на том, что результаты экономического процесса имеют множество символических смысловых толкований и последствий во всех сферах общественной деятельности. Массу проблем для поддержания интеграции общества порождает, например, распределение экономических благ; для символического обозначения определенного образа жизни и классовой сплоченности используется известная комбинация потребляемых товаров и услуг; и т. д., и т. п. Отсюда, главные «выходы экономии» в интегративную подсистему надо искать в тех новых комбинациях производимых продуктов, которые приобретают символическую значимость во внеэкономических контекстах.

Следует учесть еще, что в обществе современного типа со сложным разделением труда простой «бартероподобный» обмен (к примеру, конкретного вида труда на производимые непосредственно им же продукты и товары, так что труд рыбака оплачивается рыбой, электрика — электромоторами и т. п.) в норме отсутствует, и используется универсальный промежуточный механизм денег, который регулирует целокупность экономических отношений обмена, всеобщий «рынок». Это намного усложняет рабочие модели взаимобмена между социетальными подсистемами по сравнению с вышеописанными исходными соображениями. По аналогии с «первичной моделью» функционирования денег как средства (посредника) обмена в экономике Парсонс анализирует и другие системы обмена («рынки») с точки зрения «затрат ресурсов» и «выпуска продукции» в политике, социетальном сообществе и фидуциарной системе. При этом во всех его последующих рассуждениях присутствуют два новаторских (относительно) момента: во-первых, деньги перестают традиционно трактоваться как уникальное явление и становятся членом обширной «семьи символических средств взаимобмена и коммуникации» (функционально подобны деньгам «язык», «власть», «влияние», «ценностные обязательства» и др. феномены); и во-вторых, «рынок» из экономического понятия превращается в универсальную социокультурную категорию.

## 6. СИМВОЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЗАИМООБМЕНА И КОММУНИКАЦИИ

Классическая политэкономия выделила три главные функции денег: универсальное средство обмена («всеобщий эквивалент»); мера ценности («полезности», «стоимости») товаров и услуг и тем самым инструмент их сравнения; средство накопления многих видов ценностей. Все эти свойства можно обобщить, по Парсонсу, в одной фундаментальной характеристике: деньги — «символический феномен, и потому его анализ требует системы координат, более близкой к лингвистике, чем к технологии, т. к. реальные свойства золота объясняют ценность денег по золотому стандарту не больше, чем реальные свойства звуков, символизированных в „книге“, объясняют оценку рассуждений, физически закрепленных в лингвистической форме» [18, 345–346]. Ценность денег зависит не от их действительных природных качеств, а от системы человеческих отношений, от множества явных и молчаливо подразумеваемых правил и соглашений, без которых деньги не будут стоить ничего.

Эти правила и соглашения составляют как бы объективный «институциональный порядок», базисные институты которого — собственность, уклад занятий и договор (контракт) [22, 97–98]. В их контексте деньги получают свойства и значение средства коммуникации, так же как слова приобретают коммуникативный смысл в определенном грамматическом и синтаксическом «коде». Парсонс часто прямо называет деньги (так же как и другие символические средства обмена) «специализированным языком», «обобщенным средством коммуникации», в символах которого люди выражают меру ценности вещей в рамках определенного «институционального кода» [17, 357]. Вне этих рамок деньги в принципе не должны работать. Так, они не рассчитаны на обслуживание отношений, где возможна купля-продажа дипломов и научных степеней. Эту узаконенную ограниченность сферы действия средств обмена и коммуникации Парсонс называет *специфичностью*. Еще одно необходимое качество этих средств — их *оборачиваемость* (циркуляция) между действующими. Количество денег символизирует известный объем прав собственности, которые вместе с деньгами могут передаваться от лица к лицу, от одной действующей системы к другой. Наконец, последняя характеристика денег, распространяемая и на прочие средства обмена-коммуникации, — *отсутствие у них свойства «нулевой суммы»*. Это означает, что при обороте данного средства одна из сторон не обязательно теряет точно такое же его количество, какое приобретает другая сторона, так что суммарный объем оборачиваемых средств не остается тем же. Пояснительной моделью здесь может служить кредитование через коммерческие банки. Вкладчики доверяют свои денежные накопления банкам не только с целью надежного сбережения, но и для последующих инвестиций и ссуд за проценты другим индивидам или институтам. При этом «одни и те же доллары начинают исполнять двойную службу, трактуемые как собственность и вкладчиками, сохраняющими на них свои права, и банкиром, который покупает права давать их взаймы, как если бы они были его собственностью. Во всяком случае при этом образуется соответствующая чистая прибавка к находящимся в обороте средствам, измеряемая

величиной новых банковских депозитов, созданных благодаря продаже ссуд» [18, 333].

Как средство (посредник) обмена, деньги — неотъемлемая часть «экономики» и в ее взаимообмене с другими социетальными подсистемами играют двойную роль: «контролера» на «входах» экономики и «посредника», в материале которого могут быть выражены продукты («выходы») экономики. Подобно деньгам, толкуемым как «обобщенная способность» (generalized capacity) в приобретении благ, можно вообразить также «обобщенные способности» в коллективной реализации «возможностей эффективности» (в «политии»), в реализации солидарности (в «социетальном сообществе») и во внедрении в жизнь всеобщих ценностных образцов (в «фидуциарной системе»). По образцу и подобию роли денег в «экономии» можно анализировать в качестве символического средства *власть* как интегральную часть «политии», контролирующую ее «входы» (факторы эффективности) и одновременно служащую средством выражения ее результатов («выходов»); *влияние* — как часть «социетального сообщества»; *ценностное обязательство* — как составляющую «фидуциарной системы». Все эти «символические средства» наделены вышеописанными свойствами денег.

Но чтобы расписать эти средства по разным подсистемам в согласии с логикой четверной парадигмы, прежде надо было дифференцировать понятие «власти», которое при традиционном «гоббсовском подходе» (в частности, у М. Вебера, чью идею власти Парсонс передает как любую способность действующей единицы в данной системе общественных отношений «получить то, что она хочет», независимо от наличия или отсутствия сопротивления) охватывает все вышеперечисленные формы «обобщенных способностей» добиваться любых целей. В своей «спецификации понятий», относящихся к «власти», Парсонс поставил задачу различить «принудительные» и «согласительные» аспекты властных систем, решить проблему баланса между их иерархическими и эгалитаристскими элементами, а также проблему «нулевой суммы» применительно к власти, т. е. установить, обязательно ли каждая система отношений содержит «постоянное количество власти», которое только перераспределяется, но не растет и не убывает [18, 297]. В уточненном определении прежде всего указана «специфическая обобщенная способность» власти как символического средства в отличие от других: «Власть... есть обобщенная способность гарантировать исполнение обязанностей единицами в системе коллективной организации, когда эти обязанности легитимированы опорой на коллективные цели и где на случай сопротивления имеется презумпция принуждения негативными санкциями соответственно ситуации, — какая бы сила фактически ни осуществляла это принуждение» [18, 308].

В данном определении Парсонс отличается почти от всех прочих теоретиков тем, что связывает власть не со всяким применением или угрозой силы, но только с применением ее в *легитимном* контексте и с исполнением ею обязанностей только в рамках *коллективной* деятельности. Как значение денег зависит от институционального контекста (собственности и др.), так и действительность власти как средства обмена, орудия коммуникации и мобилизации ресурсов для повышения «коллективной эффектив-

ности» зависит от ее легитимации в контексте «авторитета», выражающего «институционализацию нормативного порядка». Обычно в социологической литературе «авторитет» и обозначает легитимную форму, разновидность власти, которая без «авторитета» вырождается в «право сильного». У Парсонса «авторитет — это, по существу, институциональный код, внутри которого организовано и легитимировано использование власти» [18, 319], т. е. авторитет и власть — это как бы две самостоятельные сущности, и отношения между первым и второй подобны отношениям между «монетизированной собственностью» и деньгами. Как собственность есть институт, определяющий права владения материальными и духовными объектами, так и авторитет есть «некоторая совокупность прав», «коллективный аспект статуса в системе социальной организации», благодаря которому занимающий данную статусную позицию в состоянии «легитимно принимать решения, обязывающие не только его самого, но и... других членов коллектива» [18, 320]. Это подразумевает «право использовать власть в рамках статуса», хотя при развитом разделении труда носитель авторитета часто не может сам принудительно проводить в жизнь свои решения и должен полагаться на специализированные учреждения. Главное отличие авторитета от власти в том, что «авторитет не является обратным средством» [Ibid.]. Если занимающий официальный пост и может лишиться авторитета из-за отставки, то это не уничтожает авторитета учреждения (института).

На первый взгляд кажется, что в этом своем анализе Парсонс искусственно обходит нелегитимные формы власти и опять тяготеет к утопии совершенного общества «сверхсоциализированных индивидов», где принуждение почти излишне. Но такое впечатление ошибочно, ибо, как верно судит его комментатор: «В полном соответствии с замыслом волюнтаристского синтеза Парсонс пытается связать две стороны власти — институциональную легитимацию и принуждение. Он видит в принуждении сущностную, „реальную” основу власти, так что когда в процессе мобилизации эффективности прибегают к насилию в его чистейшей (физической) форме — власть не может больше считаться „символическим” средством обмена. Принуждение — „предельный случай” власти как такого средства. Власть можно рассматривать как *символическое* средство, только когда ее реальная основа вплетена в сложную сеть институциональных (или символических) правил и соглашений» [11, 131]. Точно так же и деньги перестали бы действовать как символическое средство обмена (держащегося, по сути, на общих «культурных ожиданиях» универсальной конвертируемости денег в блага), если бы общество по каким-то причинам вернулось к измерению ценности денег в реальной и «натуральной» стоимости их металлического эквивалента или металла, из которого они сделаны. Признак всякого действительно символического средства — способность порождать нечто вроде «прибавочной социокультурной значимости (ценности)», превышающей значимые последствия действий, получаемых при использовании только «реально-натуральных» свойств этого средства (для случая «авторитетной власти», которой часто достаточно лишь «намека» на действия, можно говорить о «прибавочной эффективности» подчинения ей по сравнению с подчинением, достигаемым голым насилием).



Итак, если вспомнить, что во всяком взаимодействии (в том числе и в процессах обмена и коммуникации) участвуют две стороны (по типу абстрактной диады «ego — alter»), то обладатель власти (ego) «обменивает» свои гарантии исполнения определенных действий на «нечто реально ценное для коллективной эффективности», а именно на подчинение, на согласие исполнять некоторые обязанности. При этом исполнитель обязанностей (alter) не получает «ничего кроме множества ожиданий, что в иных случаях и обстоятельствах он может рассчитывать на исполнение определенных обязанностей известной частью других единиц системы. Тем самым в системах власти легитимация — это фактор, подобный фактору уверенности во взаимной приемлемости и стабильности денежной единицы в монетарных системах» [18, 309].

И как относительна эта стабильность, сотрясаемая инфляциями и дефляциями, так и легитимность или степень институционализации власти не следует считать раз и навсегда достигнутой константой, но следует рассматривать как переменную. Анализ колебаний «количества власти» как обратного средства Парсонс включает в так называемую проблему нулевой суммы для случая власти [18, 337–345]. Эти колебания моделируются по образцу нарушений равновесия в экономическом кругообороте производства и потребления, прихода и расхода, сопровождаемых несоответствиями между количеством денег и производительностью (феномены инфляции и дефляции). По мнению Парсонса, большинство политологов, бессознательно придерживаясь устарелой «количественной теории денег» и модели экономического кругооборота в стабильных условиях, считают власть количественно фиксированным, постоянным явлением, так что если *A* вместе с должностью теряет власть, а *B* приобретает, то общая сумма ее в системе остается той же [18, 333]. Но по аналогии с функцией коммерческих банков, с процессами кредитования и инвестирования в денежной системе можно помыслить приращение власти в политической системе без ее убыли в каком-либо другом месте этой же системы.

Роль своеобразного «банка власти» играет «институт политического лидерства». В демократических избирательных системах политическую поддержку лидерам, выраженную в результатах выборов, следует рассматривать как своего рода инвестирование или как кредит, выданный власти, так что в случае успеха избранный лидер оказывается в положении, подобном положению банкира. «Вложения» во власть тоже могут быть отозваны, если не в любое время, то на следующих выборах (аналог режима времени в работе банков). И вместо простого исполнения требований непосредственной группы поддержки лидер обычно вынужден пускаться в новые смелые предприятия, «использовать влияние», например, воспользоваться «престижем» учреждения, чтобы получить дополнительную подпитку власти. В итоге «расход» (результаты на «выходе») власти в виде политических решений может значительно превысить ее «приход» (поступление на «входе») через каналы политической поддержки [18, 339]. При несоответствии между увеличением количества властных акций и ростом политической эффективности (воплощенной в новых социально значимых обязанностях) Парсонс говорит об «инфляции власти». При повышении общественного «спроса» за использование отпущенного ко-

личества «властного кредита» заходит речь о «дефляции власти». Такая дефляция представляет собой процесс исчерпания или отзыва «кредита доверия», выданного политическим лидерам. В ситуации дефляции они почти утрачивают свободу принятия решений.

Еще одно обобщенное символическое средство обмена и коммуникации — «влияние» — отличается от «власти» тем, что это средство убеждения людей вести себя определенным образом не потому, что они обязаны это делать под условной угрозой наложения негативных санкций или даже наказания в случае прямого неповиновения, а потому, что они уверовали в благотворность таких действий, «с одной стороны, независимо от случайных или иначе навязанных изменений в своей ситуации, и с другой — по некоторым позитивным соображениям» [17, 367]. Но при этом надо понять, что прямая форма убеждения «другого» в одной конкретной ситуации не может считаться «влиянием». Чтобы иметь право называться «обобщенным средством», влияние должно быть «свободным оборотным средством», обслуживающим самые разные ситуации без ограничения строго определенным контекстом социальных отношений. «Естественная основа» этого средства — солидарность типа *Gemeinschaft* — размытая, диффузная сплоченность, в обществе современного типа особенно характерная для семьи. В таком сложном дифференцированном обществе «влияние» перерастает эти «первичные» отношения солидарности и становится как бы «рыночной» разменной монетой, действительной, однако только в определенных институциональных отношениях. Тот «институциональный код», который придает влиянию его символическое значение, состоит в основном из множества установок и мнений, благодаря которым люди способны ощутить себя «мы» (ассоциацией, партией) и «держаться вместе» по отношению ко всем, отличающимся от них.

По Парсонсу, институт, исполняющий для «влияния» роль, аналогичную роли собственности и договора для «денег», — это право свободного объединения в ассоциации. «Добровольную ассоциацию» можно рассматривать как «банк влияния», в который ее члены «вкладывают» (инвестируют) свои доли влияния, которое концентрируется в руках лидеров ассоциации, повышая их «репутацию». В результате эта верхушка может распоряжаться накопленными «депозитами» влияния без консультаций с рядовыми членами и увеличивать «количество влияния» в обороте, нарушая принцип «нулевой суммы».

Последнее из главных символических средств взаимообмена и коммуникации — «ценностное обязательство», корни которого уходят в «фидуциарную L-подсистему» [19]. Ввиду того что она — средоточие общекультурных ценностей, возникает проблема, как отличить ценность — общекультурный образец от ценностного обязательства как средства. Общекультурный ценностный образец (типа «индивидуалистического активизма» и т. п.) в принципе стратегичен и не имеет непосредственного практического значения, пока не переведен на язык конкретных ситуаций. И на путях этой «спецификации» стратегических ценностей, выражающих, говоря по-веберовски, «дух» или «интерес» целой эпохи, ищет Парсонс отличительный признак «ценностного обязательства» (привязанности) как средства, определяя его в первом приближении как «обобщенную способность внедрять ценности в жизнь» [19, 456]. Это «обобщенное и

символическое средство» потому, что оставляет известную степень свободы каждому действователю составить свой собственный общий ценностный образец. Свобода и символизм развиваются постепенно, и естественной противоположностью ценностям обязательствам, обладающим этими свойствами, является фундаментализм и ценностный абсолютизм, где нет свободы во внедрении ценностных образцов. Из этой «реальной основы» (аналога «натуральной стоимости» денег) развивается символическое ценностное отношение к миру. Общественные системы, дифференцированные настолько слабо, что точно и жестко предписывали бы всем способ конкретизации и практической реализации ценностей, отходят в прошлое. В сложном обществе современного типа, с одной стороны, идет процесс «ценностного обобщения (генерализации)», т. е. развития абстрактных и высокообобщенных «культурных кодов», систем символов (ценностей, символов веры, абстрактных правовых и типовых правил поведения, лингвистических кодов и пр.), а с другой стороны, и процесс конкретизации («спецификации») этих абстрактно-всеобщих ценностей, обставленный непредсказуемым множеством разнообразных «индивидуализированных» претензий и требований, которые делают неизбежным постоянное приспособление ценностей к ситуации.

Если ценностные обязательства — «оборотное средство», то это значит, что некоторые лица или институты могут накапливать, сосредоточивать его у себя в больших количествах, чем другие. Тем самым эти лица и институты в состоянии сыграть роль моральных лидеров общества, от «морального авторитета» которых в наибольшей степени зависит, какими будут легитимные формы внедрения ценностей в жизнь. Лидеры могут быть как хранителями определенных ценностных привязанностей, так и новаторами, расширяющими объем ценностных обязательств, последствием чего может стать реорганизация всей системы ценностной институционализации. Одним из самых значительных социологических достижений в осмыслении этого процесса созидания ценностных обязательств Парсонс считал веберовское описание «харизматического лидерства» [19, 467–469].

«Харизматический прорыв» вовсе не означает полного переворота в общей ценностной модели, но лишь добавку к существующим возможностям внедрения ценностей в жизнь. Если бы «банк харизматических обязательств» стал единственным источником ценностей, он быстро «обанкротился» бы (как и другие банки в подобных условиях массового наплыва требований), и харизматическое лидерство не могло бы быть достаточно длительным. Увеличение в обороте неисполняемых ценностных обязательств ведет к их «инфляции». В случае харизматического лидерства об инфляции можно формально судить по тому, насколько новые обязательства воплотились в институциональные процедуры и каналы внедрения. Там, где совершилась веберовская «рутинизация харизмы», об инфляции говорить не стоит. Когда же обещания не исполняются и не находят путей рутинизации в существующих институтах, этот инфляционный процесс может вызвать обратную реакцию и перейти в «дефляцию», благодаря традиционалистским и фундаменталистским контрдвижениям, до предела сужающим степени свободы в понимании и практическом внедрении ценностей.

## 7. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СРЕДСТВАМИ ВЗАИМООБМЕНА И ПОДСИСТЕМАМИ ДЕЙСТВИЯ

После того как выяснились парсонсовская логика анализа и характеристики четырех главных символических средств социального сообщения (коммуникации), можно дать схему их кругооборота во взаимодействии между социетальными подсистемами (рис. 1).



Рис. 1. Парадигма взаимодействия применительно к его средствам

Предполагается, что в этом взаимодействии каждое символическое средство обслуживает и контролирует определенные ресурсы на входе и продукты на выходе подсистем: деньги контролируют производительность, приобретение товаров и труда (за зарплату) и т. п.; власть контролирует политические решения, «благоприятные возможности для коллективной эффективности» и пр. Но все эти посредники не полностью независимы в своей сфере и обнаруживают в отношениях друг с другом определенную иерархию. Процессы, контролируемые «средствами высшего порядка», способны влиять и вмешиваться в кругообороты, обслуживаемые средством низшего порядка. Верховную направляющую функцию (в смысле глубины информационного обобщения) исполняет «ценностное обязательство», за ним следуют посредники «влияние», «власть» и «деньги».

Концепция «иерархии информационного контроля обобщенных символических средств обмена» продолжает более раннюю (конца 1950-х гг.) идею «кибернетической иерархии информационного контроля» (см.: [4, 793–794]), существующей между внутренними аналитическими подсистемами общей системы действия: культурной, социальной, личностной и организмической (бихевиоральной). Мы уже знаем, что каждая из этих подсистем объединяет факторы и отношения, преимущественно «исполняющие» (условно говоря) одну из четырех «первичных функций» (A, G, I, L) в более широкой системе. Так, «поведенческий организм» считается подсистемой, наиболее важной для решения адаптивных проблем, по-

скольку он опосредует отношения систем действия с «физико-органической средой» и через него к ресурсам этой среды получают доступ другие подсистемы действия; «личность» как принимающая решения подсистема считается главной в решении проблем целедостижения; и т. д. Иерархия информационного контроля состоит в том, что «культура» (L-подсистема) информационно регулирует «социальную систему» (I-подсистему), последняя информационно регулирует личность (G-подсистему), а личностные факторы информационно регулируют организменные составляющие поведения (A-подсистему). К примеру, культурные образцы ценностных ориентаций ограничивают размах колебаний и расхождений норм в социальной системе; в свою очередь, эти нормы, переведенные в ожидания исполняющих в ней роли действующих, исключают некоторые виды мотивов и процессов принятия решений в личностных подсистемах; и наконец, ограничения мотивов в последних могут влиять на биохимические процессы в поведении организма. Обратным этому *информационному* порядку, в каком компоненты подсистем контролируют друг друга, является порядок, в каком они *энергетически* обуславливают друг друга: организм обеспечивает энергию, необходимую для действия на уровне личностной системы, та — для социальной системы, а социальная организация — для культуры.

Если взять за точку отсчета «социальную систему», то описанные иерархические отношения между нею и другими подсистемами действия как ее «внутренними средами» (то есть остающимися в рамках самого действия), а также ее отношения с «внешними средами» действия можно наглядно представить на рис. 2 (см.: [4, 827]).



Рис. 2. Подсистемы действия и их среды

В этой схеме осталось непоясненным лишь понятие «высшей реальности», входящей наряду с физико-органическими факторами во внешнюю среду для систем действия. По существу, это особый мир традиционных ценностей и смыслов (иногда называемый «телической системой»), неписаных моральных норм, всеобщих абстрактных императивов поведения,

составляющих одно из «условий человеческого существования» [15], формирующих лицо данной культуры или цивилизации и движущих их, но не поддающихся рационально-опытному обоснованию, не имеющих обычных признаков рационального знания.

Парсонс по-кантиански толкует факторы «высшей реальности» не как «факты» экзистенциально-моральной проблематики, а как «трансцендентальное нормативное условие упорядочивания таких фактов» [15, 370–371], условие возможности формирования эмпирического социального порядка. Ввиду невыразимой сложности данной реальности как своеобразного путеводителя по жизни, помогающего отдельной части ориентироваться внутри трансцендентно огромного целого, внутри космоса человеческой культуры и очеловеченной природы, возможны лишь символические отношения с этой реальностью, и в частности, отношения систем действия с нею опосредованы символично-религиозными компонентами культурной системы, прочной религиозной традицией. Однако это не означает, что «высшая реальность» находится вне нашего мира. Она — неотъемлемая его характеристика, только настолько сложная, что никакая отдельная часть этого мира не в состоянии выразить ее в виде определенного законченного свода рационально ясных принципов и рекомендаций. Образы-символы «высшей реальности» остаются вечно действительными, но недостижимыми и невыразимыми в форме научных понятий.

Наивысшее положение ценностных структур в иерархии контроля часто давало повод критиковать всю теорию действия Парсонса как разновидность ценностных объяснений социальной действительности. Но парсонсовское определение «кибернетическая» применительно к иерархии контроля как раз и означает, что, хотя ценности контролируют (направляют) процесс взаимодействия, они его не детерминируют (не обуславливают) по типу причинной зависимости. Ценности действуют как некий код, очень абстрактная программа с большими степенями свободы, в пределах которой осуществляются конкретные взаимодействия. Но ценности детерминируют, предопределяют конкретный облик общества не больше, чем свод грамматических правил определяет содержание конкретного сообщения. Ценности лишь «информируют» о необходимости включать энергию действия, но количество и место приложения этой энергии зависят от множества «объективных условий», тоже поддающихся упорядочению по шкале, обратной информационной иерархии.

В сущности, и информационная, и обуславливающая иерархии отношений, будь то средств обмена или любых других явлений, независимо от системного уровня, на котором они рассматриваются, изначально определены у Парсонса постоянными иерархическими отношениями друг к другу «первичных функций» (исполняющих, напомним, роль универсальных аналитических «измерений дифференциации» для всех составляющих действия): L, I, G, A — таков всюду «информационный порядок» иерархии; последовательность A, G, I, L-функций предопределяет иерархические отношения детерминирующих факторов. Так, на уровне подсистем «социетальной системы» важнейшим детерминирующим необходимым условием оказывается «экономия», которая занимает подчиненное положение

оперативного фактора в иерархии информационного контроля. Напротив, важнейший вид информационного контроля над необходимыми условиями осуществляет «фидуциарная система», элементы которой, однако, явно не обуславливают основные структурные преобразования в социальной системе.

После разъяснения (далеко не исчерпывающего) иерархии информационного контроля среди символических посредников мы, не вдаваясь в дальнейшие подробности, приведем в качестве своеобразного итога всего обсуждения обновленной теории социальной системы сводную схему взаимобмена между «социетальными подсистемами», основанную на двух (для ясности упрощенных) схемах из ключевой работы Парсонса «О понятии политической власти» [18, 348–350]. Первая схема дает лишь общую форму (в виде названий действующих рынков обмена) этого социетального взаимобмена без всяких детализаций (рис. 3).

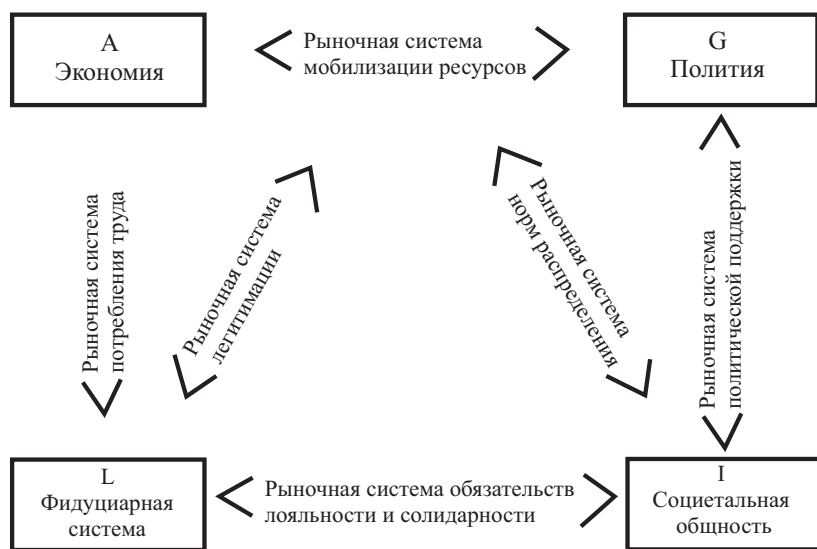
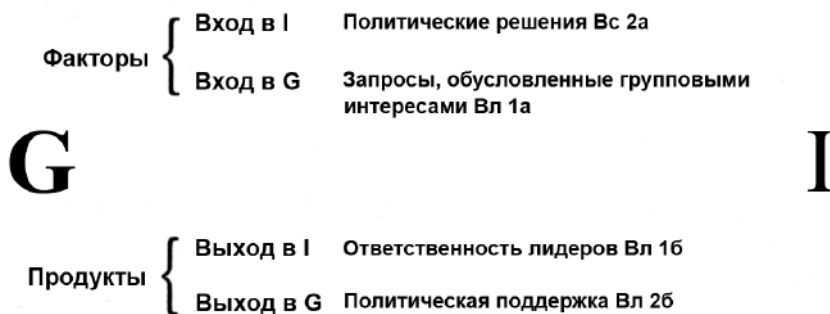


Рис. 3. Рамки системы социетального взаимобмена

Хотя на этой схеме не указаны конкретные категории обмена, она наглядно показывает, почему Парсонс считает экономическую или политическую теорию частью теории социальных систем. По словам комментатора: «В принципе экономическая теория интересуется только тремя из шести логически возможных рынков или систем взаимобмена. Теория социальных систем должна быть применима ко всем этим рынкам» [11, 126]. Системы обмена, или рынки, можно также изучать с точки зрения политической подсистемы, фидуциарной и т. д., получая специализации, соответствующие логике четверной парадигмы. Так как категории взаимобмена между «экономией» и другими подсистемами достаточно обсуждались выше, а также из-за невозможности прокомментировать вслед за Парсонсом каждую строку его обширной схемы, поясним для примера содержание лишь одной из его систем взаимобмена — системы G–I, или «рынка политической поддержки» (рис. 4).



*Рис. 4. Категории социального взаимодействия для системы G–I*

На этой схеме каждый «двойной» (то есть опосредованный промежуточным обменным отношением между условно «монетаризованными» средствами) взаимобмен состоит из одного входного (факторного) и одного выходного (продуктного) обмена. «Вход» означает поступление в указанную подсистему некоторой категории ресурсов (первичных «факторов») от другого члена пары. «Выход» означает передачу той или иной категории «продукта» от указанного источника к соответствующему месту назначения. «Факторы» и «продукты» различаются по аналогии с упоминавшимся раньше различием факторов производства и долей дохода в экономическом процессе: «продукты» — это нечто такое, к чему можно применить «логику добавленной стоимости». Цифры 1, 2 указывают порядок иерархического контроля с точки зрения обслуживающих данный рынок средств (Вс — власть, Вл — влияние); буквы *a, б* — порядок иерархического контроля среди процессов в системе взаимобмена, укладываемых в указанные категории.

Схема 4 изображает обмен между политической (G) и интегративной (I) подсистемами, вторая из которых включает, напомним, «добровольческо-ассоциационные» моменты групповой структуры и солидарности в связи с системой норм (юридических и неформальных), отличимых от ценностей. Факторный обмен здесь происходит между политическими решениями как «мобилизованным ресурсом поддержания солидарности» и запросами (целевыми требованиями) групп по интересам как одним из «факторов эффективности». Можно сказать и так, что групповые интересы «определяют ситуацию» для принятия политических решений, хотя это никоим образом не означает, будто обусловленные этими интересами запросы неизменно пребывают в своей первоначальной форме. На самом деле они, как и другие факторы, видоизменяются в ходе политического процесса. Соответственно, политические решения помогают созданию солидарности тем, что устанавливают обязательства для участия в коллективном действии, на которые в известных пределах могут рассчитывать «заинтересованные стороны» [18, 352].

Нижняя половина схемы изображает обмен лидерской ответственности как продукта политической подсистемы (выраженного в форме «влияния», а не «власти») на политическую поддержку (усиливающую власть) как продукт добровольных ассоциаций, относящихся к интегративной



подсистеме. Для случая правительства как лидера источником политической «прибыли» является электорат как ассоциация. Здесь, конечно, надо учитывать, что единицы, включаемые в категории этого взаимообмена при анализе конкретных случаев, как правило, не остаются одними и теми же: так, предлагать цену за поддержку могут партийные лидеры, тогда как определенные политические решения принимают административные чиновники. Такое «расщепление» (в разной степени) характерно для любой высокодифференцированной системы.

Если сравнить изображенную на рис. 4 систему взаимообмена G—I с описанной в предыдущем параграфе системой A—G, то основным отличием первой от второй будет факт, что в G—I власть обменивается не на деньги, а на влияние. И если по отношению к деньгам власть была «контролирующим» средством, то по отношению к влиянию — контролируемым.

По такому же типу описаны Парсонсом и другие системы взаимообмена, в совокупности представляющие каркас «социетальной системы», т. е. общества. Но надо помнить, что пространный список «категорий взаимообмена» получен сведением воедино в основном готовых теоретических идей и результатов разного происхождения и из разных общественных наук при помощи несколько искусственной подгонки под единый «экономический» язык и логику четырехфункциональной парадигмы. Разумеется, сами группировки этих категорий отражают некоторые давно установленные объективные *связи* явлений в обществах рыночного типа, но все парсонсовские схемы — это не конечная цель, не законченная теория общества, а лишь начало будущей работы, предварительные и вспомогательные контуры, которые предстоит заполнять (возможно, видоизменяя их) конкретным исследованием. Полезность и смысл таких категорий подтверждается, уясняется и уточняется не из формальных определений, а из конкретного анализа их употребления применительно к явлениям общественной жизни. Аналитическая «формализованная парадигма главных структурных компонентов и категорий, обозначающих процессы и отношения общества как социальной системы» [18, 347], постоянно должна проверяться на совместимость с эталонными «эмпирическими объектами» и, более того, на способность освещать новые области эмпирических проблем.

Возможности использования подобной формальной категоризации для первичной поисковой ориентировки в эмпирическом мире доказуемы существованием по меньшей мере двух пунктов соотнесения: во-первых, на достаточно высоком уровне дифференциации общества экономическая, политическая и интегративная подсистемы становятся эмпирически различимыми по главенствующей функции своих структурных единиц. Например, нетрудно заметить важные структурные различия между частной деловой фирмой, административным правительственным учреждением и судебным учреждением. Во-вторых, каждая такая единица включена во множественные взаимообменные отношения с другими единицами, связанные и с ее функциональными потребностями в ресурсных поступлениях, обусловленными ее ситуацией, и условиями ее «вложений» в другие единицы согласно ее месту в разделении труда (то есть с условиями распределения своей «продукции»). Такой порядок дифференциации требует «двойных» взаимообменов между единицами разных категорий, напри-

мер, между фирмами и домохозяйствами, фирмами и политическими учреждениями и т. д. Сложная ситуация двойного взаимобмена требует развития обобщенных символических средств вместо негибких предписанных взаимных ожиданий, бартера с очень ограниченными возможностями и т. п. Эти символические средства связи, обмена и общения между людьми не всегда даже ясны, трудно уловимы, и парсонсовская категоризация представляет собой грубую, далеко не законченную попытку их классификации и описания взаимного превращения их форм в социокультурном обороте.

## 8. СИМВОЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБМЕНА В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ДЕЙСТВИЯ

Основные усилия Парсонс направлял на разработку этой изложенной выше и наиболее важной для социологии части — «теории социальных систем», т. е. на построение разветвленной схемы категориальных обменных отношений для процессов между главными подсистемами «общества» как наиболее обширной социальной системы действия, вкуче с разработкой универсальной парадигмы соответствующих символических средств обмена. Другие теоретические системы (личности и т. д.) в рамках теории действия, в том числе и первый, наиболее абстрактный ее уровень — уровень теории общей системы действия — лишь намечены в свете символическо-обменной парадигмы. Теория общей системы действия занимается формулировками категорий базисных отношений между различными аналитическими срезами действия — отношений, также образующих шесть обменных систем (обозначенных на рис. 5 стрелками).

178

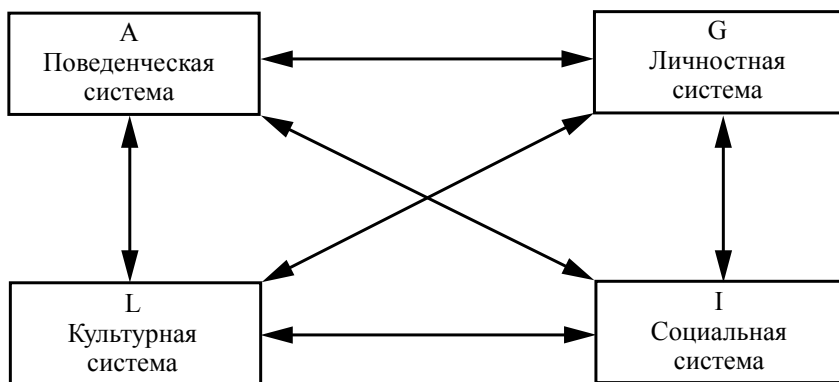


Рис. 5. Общая система действия

Логику рынка, примененную к социальной системе, Парсонс пытается распространить и на уровень общей системы действия. Это предполагает высокую степень свободы в обменных отношениях и, следовательно, символическость и обобщенность средств обмена, отсутствие у них самостоятельной прирожденной ценности и способность к количественным (инфляционным и дефляционным) колебаниям в обороте. При попытке выделить некие общие способности действующих единиц, могущие сыграть

роль обобщенных средств обмена, неожиданно выясняется простота исходных интуиций Парсонса, легших в основу и его четырехфункциональной парадигмы, и разросшихся на ее почве сложных классификаций. Оказывается, отправным пунктом для него послужила социально-бихевиористская схема «четырёх желаний» У. Томаса (1863–1947), постулирующая главные классы общечеловеческих потребностей: в безопасности, в новом жизненном опыте, в признании (например, статусном) со стороны группы и в эмоциональном (например, любовном) отклике от других людей (см.: [11, 145–149]).

Первые два желания Парсонс сводит к одной и той же базисной человеческой проблеме выбора способа реагирования на внешнюю среду: избрать ли путь рациональной манипуляции ею и тем попытаться вырваться из своей текущей ситуации, либо не рисковать и терпеть как можно дольше знакомые обстоятельства ради их относительной безопасности. В понятиях четырехфункциональной парадигмы это один и тот же «адаптационный» аспект действия, который охватывает процессы осознания своего внешнего окружения, распознавания в нем отдельных объектов и решения общих познавательных («когнитивных») проблем. «Обобщенную способность» действующей единицы, обычно индивида, эффективно мобилизовать ресурсы, необходимые для решения познавательных проблем, Парсонс называет «умственными способностями» (intelligence) и трактует их как символическое средство обмена или коммуникации [22, 105–106]. Как и все другие средства, оно опосредует, связывает материальную или органическую грань действия с культурной или символической «надстройкой» (суперструктурой). Для «умственных способностей» как коммуникативного средства материальный базис состоит из объективных условий или возможностей нервной системы и мозга человека. Культурная надстройка этого посредника образует некий «институциональный код», который дает возможность «тратить» умственные способности на познание в общем «независимо от любых частных особенностей знания» (цит. по: [22, 147]). Снова пуская в ход экономические аналогии, Парсонс говорит о «банковском институте умственных способностей», способном прирастить общее количество умственного богатства, циркулирующего в индивидуальных или коллективных системах действия. Современный университет — главный эмпирический «референтный» институт, осуществляющий эти «банковские» функции и операции по увеличению умственного богатства (см. [26]). Из-за слишком быстрой экспансии высшего образования в 1960–1970-е гг., за которой не поспевали соответствующие росту его объема и диверсификации увеличенное освоение ресурсов и финансирование, происходила инфляция ума и обесценение знания, поскольку на производство и распространение равноценного количества знания затрачивалось все больше умственных усилий. Как реакция на обесценение одного средства может последовать период дефляции, когда относительно возрастает символическая значимость других средств. В рассматриваемом случае вера в рационально-познавательные способы решения проблем часто сменяется настроениями в пользу нерациональных, «эмоциональных», «аффективных» видов деятельности в познании.

Подобным же образом обобщает Парсонс и другие «способности» (или функции) действующих единиц (соотносимые с «желаниями» Тома-

са) до ранга средств обмена в общей системе действия. «Желание признания», выражающееся в борьбе за свое положение в социальной группе, имеет истоком способность (побуждение) «достигать» чего-либо. Если это побуждение больше не ограничивается узкой направленностью на какие-то конкретные достижения и становится общекультурной «обобщенной способностью», то мы получаем новое символическое обменно-коммуникативное средство — «способность исполнения», доведения дела до конца. Эта способность, вездесущий дух активизма, не локальный, а как разменная монета проникающий во все уголки жизни и реализуемый тысячью способов, характерна для капиталистической ментальности и протестантской этики, описанных М. Вебером.

Последнее томасовское «желание отклика» Парсонс истолковывает как потребность во взаимности эмоциональных отношений и способность достигнуть согласования разнородных элементов системы действия и отношений взаимодействия. А это соответствует «интегративной функции» в схеме четырехфункциональной парадигмы, и обобщенным средством ее обслуживания является укорененная в обществе «эмоциональность». Что касается «способности», связанной с латентной «культурной подсистемой», то она соотносится не со схемой четырех желаний, а с другой идеей Томаса о решающем значении «определения ситуации» и в действии вообще, и в дифференциации фундаментальных желаний. (В этой связи наиболее известна так называемая теорема Томаса: «Если люди определяют ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям».) По Парсонсу, латентная подсистема отражает скрытую культурную подоснову действия, наиболее общие формы символизации, связующие его элементы. Иными словами, эта подсистема содержит *некий* общий символический код, который «специфицируется» в кодах других подсистем. Культурно обусловленное «определение ситуации» тоже можно истолковать как «обобщенную способность» и обратное средство, через обмен с другими обратными средствами общей системы действия налагающее печать символизма, свойственного данной культуре, на все моменты действия: биологические, психологические, интерактивные (социальные) и др.

Вся эта схема символических обменных средств в общей системе действия представляет собой лишь крайне абстрактный набросок, приглашающий к совместной работе ученых разных специальностей, занимающихся человеческим действием. Совершив огромный круг, Парсонс как бы вернулся к ранним интуициям «Структуры социального действия» (1937), но при этом динамизировал с помощью идеи символических средств обмена прежнюю статическую трактовку основных измерений действия.

## 9. ПАРСОНС В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

«Категориальная система» теории действия так и не была доведена до первоначально задуманной степени завершенности и одинаковой полноты во всех ее звеньях и на всех уровнях. Несмотря на это, притязания Парсонса на всеобщность своих теоретических схем таковы, что позволяют говорить о его близости к идущим из XIX в. идеям «единства науки», «унифицированной теоретической системы» и т. п. Как мы видели, эта

тенденция ко всеобщности даже покусается на преодоление существующих сегодня границ между различными общественными и — шире — гуманитарными науками. Универсальная методологическая машинерия «четырёхфункциональной парадигмы» и выросших из нее категорий, по замыслу, применима к очень большому классу «действующих» или даже «живых» систем, и эти «аналитические» категории проецируемы на любую эмпирически опознаваемую, «конкретную» систему действия, обрастая подробностями в зависимости от ее особенного содержания. Упорядоченность понятий в абстрактных теоретических схемах являет нам лишь «аналитическое преувеличение» упорядоченности мира. И первый шаг в конкретном объяснении какого-нибудь эмпирического события — это определение его места в данной общей схеме. Похоже, что эти парсонсовские схемы должны играть такую же эвристическую роль для ориентации в эмпирико-практическом мире, как известный из истории науки спенсеровский принцип дифференциации — интеграции или другие абстрактные принципы общей теории организации, общей теории систем или кибернетики.

Против предельной абстрактности таких теорий сказано многое, хотя поиск всеобщих принципов, преодолевающих границы специализаций, не прекращается в современной науке. И против парсонсовских классификаций возражают, демонстрируя, с одной стороны, их содержательную бедность, схоластичность, а с другой — все равно недостаточную степень общности, ибо всегда можно найти не вмещающиеся в них или даже противоречащие им эмпирические факты. Но такие возражения убивают всякое теоретическое знание, оперирующее логическими моделями, которые, чтобы стать удобным инструментом познания, просто обязаны быть беднее своих объектов. Более обоснованным выглядит упрек в чрезмерной «зацикленности» на внутренних проблемах «архитектоники» теории и в непрактичной сложности схем и классификаций, что затрудняет их использование в процессе познания в отрыве от парсонсовского контекста (см.: [10, 129–130]).

«Неисправимый теоретик» (по самохарактеристике в посвящении «Социальной системы») большей частью работал не напрямую с действительностью, а с ее многоликими отражениями в разноречивых «классических» теориях, пытаясь найти высшую, объединяющую их точку зрения и взаимопонятный язык. При этом частично не удалось избежать искусственного, натянутого «синтеза», может быть в принципе несоединимых понятий и непримиримых позиций. Но Парсонс дал если не настоящую теорию, то один из наиболее развитых, объединенных хотя бы ассоциативно и аналогово, словарей, предполагающих веру в необходимость интеграции микро- и макроуровней при анализе форм социального взаимодействия, включая психологические процессы мотивации и надындивидуальные инвариантные обобщения исторической макросоциологии. Все концептуальные схемы Парсонса представляют собой лишь подготовительные изыскания для будущей конкретной реализации интеграционной программы, невольно намечаемой его словарем. И этим словарем, точнее подходящими готовыми связками понятий (особенно по проблеме отношений личности и социальных институтов), там и сям извлекаемыми из теоретической системы Парсонса, активно пользуются для специальных

работ даже враждебные ему течения. Такова обычная участь всякого «великого систематизатора» наличного понятийного инвентаря науки.

Теперьшние адвокаты «постмодернистского» мышления видят причину длительного научного успеха Парсонса в его гегельянском умении изобразить чуть ли не все исторические ходы социологической мысли как ведущие к его категориальной системе и находящие в ней же завершение. Это, мол, работало, пока верили в «современность» (модерн) как некий идеал, единственный заветный «суперпроект», для реализации которого надо и возможно отыскать адекватные, объективно обоснованные пути. В постмодернистском мире случайности, несвязных, случайно приобретенных убеждений и верований, в мире рыночных плюрализмов, где «моральную сплоченность» или «ценностно-нормативный консенсус» с успехом заменяет гипнотическая торговая реклама, смешно искать гармонически целостные общества, культуры, личности и конструировать соответственные теоретические системы. Парсонс — это прошлое теоретической социологии.

Не говоря уж о том, что ударные характеристики «постсовременности» то и дело встречаются в описаниях «современной (капиталистической) цивилизации» чуть ли не с ее пеленок, а идеалы морального единства, согласия, всеобщей групповой сплоченности и т. п. часто определяются как «до-современные» или «племенные», такая критика исходит из статического представления о Парсонсе-теоретике как о «наивном моралисте», прямом наследнике Конта и Дюркгейма, в конечном счете сводящем все проблемы социальной интеграции к созиданию общих ценностей. Здесь проигнорирована эволюция Парсонса к динамической, сложно-фрагментарной, многоуровневой, рыночно-децентрализованной картине интеграции, составляющей лишь часть общей динамизации всей теории действия через переосмысление «четырёхфункциональной парадигмы» как «парадигмы взаимообмена», обслуживаемого обобщенными символическими средствами. Но правда, что при всем том Парсонс до конца придерживался классических взглядов на культуру как на систему, обладающую своим устойчивым «грамматическим» кодом, порождающим относительно постоянные связки стандартов поведения в самых разнообразных ситуациях сложной и неоднородной общественной жизни. Без таких интуиций вообще трудно рассуждать о культуре данного общества как о сколько-нибудь упорядочиваемой и познаваемой сумме ненаследственной информации или его биологически непередаваемой памяти, богатства которых можно усваивать, распространять и развивать лишь путем обучения и пр., т. е. только в процессе социального взаимодействия.

Символические средства обмена понадобились Парсонсу для более тонкой и гибкой реализации исходных методологических идей его ранней книги о систематическом и динамическом анализе меняющегося соотношения объективного и субъективного, материального и идеального в социально-исторически определенном действии. Связь объективного и субъективного запечатлена в самой структуре всех обобщенных средств обмена, в наличии у них прирожденного и набираемого со временем символического значения. В высокодифференцированном обществе конца XX — начала XXI в. прирожденные (вещественные или органические) характеристики средств обмена могут быть совершенно подавлены бо-

гатством их символических применений, обеспечиваемых целыми комплексами социальных институтов. И потому описание символического бытия этих средств неотделимо от анализа институционального контекста или кода, придающего им определенные значения в качестве средств обмена и коммуникации. Парсонс пытался понять условия принятия «символического» (и связанного с этим риска) вместо «реального» разными категориями действующих единиц.

Сдвиги и колебания в соотношении реального и символического в средствах обмена дают ключ к анализу структурных изменений в социокультурных системах и тем самым к динамизации теории действия. На такие изменения указывает прирост или убыль количества того или иного средства в данной системе. Структурное изменение всегда состоит из ряда переоценок одного средства обмена по отношению к другим средствам на одном и том же системном уровне. Так, по росту числа источников «влияния» в политической системе можно судить об ослаблении политического абсолютизма в пользу гражданского общества и т. д.

В настоящем издании почти не затронуты исторические экскурсы Парсонса, его эволюционные и конфликтологические идеи, как и наброски теории общественного развития. Предпочтение отдано «учебному изложению» и разъяснению формальных категорий и схем как средств описания систем действия разных уровней. Но это не значит, что «схематические упражнения» Парсонса не имеют отношения к исторической социологии и к спорам о направлении развития общественной жизни человечества. Правда, его научные модели, созданные, как и полагается, чтобы служить заменой различным социальным объектам только в процессе познания, а не в действительности, тяжелее познавательных моделей других классиков социологии поддаются использованию в практической жизни и борьбе. Трудно представить себе, чтобы идея четырехфункциональной парадигмы «овладела массами», сделала предмет веры и вызвала желание умирать за нее, что, как известно, стало проклятием многих идеально-типических построений Маркса. «Парсонсизм» в роли знамени общественного движения вряд ли возможен.

Тем не менее Парсонсу вполне можно приписать исходную интуицию Маркса насчет истории, которая не самостоятельная метафизическая сущность, а деятельность стремящихся к своим целям людей. Оба они расчленили эту деятельность на отдельные составляющие: подсистемы, роды, виды, отрасли (экономику, политику, науку и т. д., и т. п.) и изучали их. Но в отличие от Маркса, не любившего рассуждать об обществе вообще, Парсонс стремился создать как бы обобщенный методологический портрет всякой исторически развитой (дифференцированной) системы социального действия. И его схемы и парадигмы часто формулируют общие условия поддержания такой системы в развитом, «нормально» сложном и разнообразном рабочем состоянии и недопущения ее регрессивной дедифференциации и примитивизации. Простейшая четырехфункциональная парадигма взаимообмена уже содержит указания о необходимом минимуме материальных и духовных компонентов действия, а значит — и методические указания о том, что надо искать и чего нельзя забывать при анализе всякого исторически определенного и конкретного социального действия.

Совокупность абстрактных формул, в которых зафиксированы вышеупомянутые общие условия, Дж. Александер и другие комментаторы вслед за ним называют парсонсовской «теорией формального волюнтаризма» (см. [12; 13]). В ней учтены уроки нормативных теорий и этических спекуляций разных философских традиций, размышлявших о «внутренней» и «внешней» свободе человека. Социологическим обоснованием безусловных этических формул (типа христианской формулы абсолютной внутренней свободы: «Я научу вас Истине, и Истина сделает вас свободными»), их переводом из спекулятивного плана в эмпирический план исторической социологии ведает, согласно Александеру, потенциально содержащаяся в наследии Парсонса «теория реального (субстантивного) волюнтаризма», по существу — теория содержательной, социально-исторически определенной свободы, разбирающая условия, предпосылки и ограничения личной свободы в данном типе.

Для нужд этой теории переосмыслена позитивистская (спенсеровская по происхождению) эволюционная концепция дифференциации. В исторической социологии парсонсианцев она начинает исполнять роль своеобразной эвристической схемы исторического развития и «институционального обеспечения» свободы. Относительная свобода личности любого конкретного индивида зависит от разнообразия, богатства выбора, предоставляемого и обеспечиваемого общественными институтами, т. е. от степени дифференцированности общества, от четкости разделения в нем материальных, объективно-принудительных и духовно-символических, идеально-нормативных структур и условий действия. Личная и коллективная свобода имеет шанс на расширение по мере того, как институты во всех функциональных подсистемах четко отделяются друг от друга, развивают собственные ресурсы и независимые критерии действия. Условия «внутренней» свободы (совести, веры, моральных убеждений) и «внешней» свободы (правовой, политической, свободы экономической деятельности, личной неприкосновенности и т. п.) зависят от роста культурной, социальной и психологической дифференциаций. Так идет исторический рост дисциплинированной свободы («институционализированного индивидуализма», в терминологии Парсонса), проявляющийся в укреплении добровольных связей с обществом при возрастающем социальном раскрепощении человека.

Эти краткие сведения о существующих интерпретациях, так сказать, «философии истории» Парсонса свидетельствуют об оптимистичности его видения основного вектора мировой истории. Даже в таком обоюдостром порождении западной свободы, как дух рационального свободного исследования, Парсонс, в отличие от Вебера и Дюркгейма, видел прежде всего положительные стороны, а не опасности для фундаментальных традиций и ценностей общественной жизни, коллективного сознания и т. п.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Вебер М. Избранное. М., 2006.
2. Девятко И. Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. М., 2003.



3. *Парсонс Т.* Еще раз о стандартных переменных: ответ Роберту Дубину // Т. Парсонс. О структуре социального действия. М., 2000. С. 638–674.
4. *Парсонс Т.* Общества // Т. Парсонс. О социальных системах. М., 2002. С. 777–829.
5. *Парсонс Т.* О построении теории социальных систем: интеллектуальная автобиография // Т. Парсонс. Система современных обществ. М., 1997. С. 205–268.
6. *Парсонс Т.* О социальных системах / Под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Белановского. М., 2002.
7. *Парсонс Т.* О структуре социального действия / Под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Белановского. М., 2000.
8. *Парсонс Т.* Система современных обществ / Под ред. М.С. Ковалевой. М., 1997.
9. *Парсонс Т.* Точка зрения автора // Т. Парсонс. О социальных системах. М., 2002. С. 15–72.
10. *Тернер Дж.* Аналитическое теоретизирование // Тезис. 1994. Т. 2. № 4. С. 119–157.
11. *Adriaansens H.P.M.* Talcott Parsons and the conceptual dilemma. L., 1980.
12. *Alexander J.C.* Formal and substantive voluntarism in the work of Talcott Parsons // American Sociological Review. 1978. Vol. 43. № 2. P. 177–198.
13. *Alexander J.C.* The modern reconstruction of classical thought: Talcott Parsons. L., 1984.
14. *Giddens A.* Functionalism: après la lutte // A. Giddens. Studies in social and political theory. N.Y., 1977. P. 96–134.
15. *Parsons T.* Action theory and the human condition. N.Y., 1978.
16. *Parsons T.* Essays in sociological theory. N.Y., 1949.
17. *Parsons T.* On the concept of influence // Т. Parsons. Sociological theory and modern society. N.Y.;L., 1967. P. 355–382.
18. *Parsons T.* On the concept of political power // Ibid. P. 297–354.
19. *Parsons T.* On the concept of value-commitments // Т. Parsons. Politics and social structure. L., 1969. P. 439–472.
20. *Parsons T.* Pattern variables revisited: a response to Robert Dubin // Т. Parsons. Sociological theory and modern society. N.Y.;L., 1967. P. 192–219. (Русский перевод см. № 3 данного списка литературы.)
21. *Parsons T.* The place of ultimate values in sociological theory // Т. Parsons. The early essays / Ed. by Ch. Camic. Chicago; L., 1991. P. 231–258.
22. *Parsons T.* Social structure and the symbolic media of interchange // Approaches to the study of social structure / Ed. by P. Blau. N.Y., 1975. P. 94–120.
23. *Parsons T.* The social system. N. Y., 1964 (1st ed. 1951).
24. *Parsons T.* The structure of social action. Glencoe (Ill.), 1949 (1st ed. 1937).
25. *Parsons T.* The theory of symbolism in relation to action // Working papers in the theory of action / Ed. by R. Bales, T. Parsons, E. Shils. N.Y., 1953.
26. *Parsons T., Platt G.* The American university. Cambridge (Mass.), 1973.
27. *Parsons T., Shils E.* (eds.) Towards a general theory of action. N.Y., 1962 (1st ed. 1951).
28. *Parsons T., Smelser N.* Economy and society. N.Y.;L., 1956.

## Р.К. МЕРТОН И ЕГО ТЕОРИЯ «СРЕДНЕГО УРОВНЯ»

Роберт Кинг Мертон (1910–2003) — одна из ярких фигур американской социологии XX в. В его творчестве особенно заметно влияние европейской традиции социологического анализа, ранним и глубоким знакомством с которой Мертон в значительной мере обязан П. Сорокину, бывшему его учителем в Гарвардском университете в 1930-е гг.

Мертон внес значительный вклад в разработку парадигмы и методов структурно-функционального анализа. Ему принадлежат важные и, по мнению многих ученых, классические работы в таких традиционных областях социологического исследования, как социология отклоняющегося поведения, массовые коммуникации, межличностные и межгрупповые отношения. Мертона по праву считают одним из «отцов-основателей» сравнительно новых социологических субдисциплин — социологии науки и социологии медицины. Кроме того, Р. Мертон — автор многочисленных концептуальных и терминологических нововведений в самых разных областях. К числу изобретенных, «социологизированных» либо уточненных Мертоном понятий относятся «самоисполняющееся пророчество», «специфицированное незнание», «явная и латентная функции», «ювенократия», «социальная наблюдаемость и заметность», «устная публикация», «социальная дисфункция», «гемофилия и гетерофилия», «эпонимия», «социологическая амбивалентность» и многие другие.

### 1. МЕРТОНОВСКАЯ ПАРАДИГМА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Как уже говорилось, Мертон подверг критике каноническую версию функционализма. В этой версии главный акцент делался на идею общества как саморегулирующейся системы. В своих работах, и в первую очередь в статье «Явные и латентные функции» [6], Мертон не только показал трудности, к которым ведет некритическое принятие этой идеи и связанных с ней неявных допущений, но и попытался обосновать новую, более современную модель (или «парадигму») для процедуры функционального анализа.

В центре осуществленного Мертоном критического пересмотра более ранних версий функционализма оказываются три сомнительных постулата (или гипотезы).

Первый постулат функционализма, критикуемый Мертоном, — это идея *функционального единства общества*. Иными словами, Мертон полагал, что некритически принимать теоретическое допущение о высокой степени интеграции социальной системы — это серьезная ошибка. Реальные общества просто не могут рассматриваться как слаженно функцио-

нирующие и полностью интегрированные социальные системы. В общем случае степень интеграции варьирует в широких пределах. Вопрос о степени интеграции — а также о формах, типах и уровнях интеграции — следует изучать сугубо эмпирически: «Степень интеграции — это эмпирическая переменная, время от времени меняющаяся в отдельно взятом обществе и различающаяся для разных обществ. То, что все человеческие общества должны обладать какой-то степенью интеграции, — это вопрос определения и не требует доказательства. Но не все общества имеют такую высокую степень интеграции, при которой каждое являющееся культурным образцом действие или убеждение функционально для общества как целого и равным образом функционально для людей, в нем живущих» [6, 81]. Проблема, согласно Мертону, заключается не только в том, что постулирование функционального единства социальной системы часто противоречит фактам, но и в том, что этот постулат функционального теоретизирования «неэвристичен»: исследователь начинает уделять повышенное внимание реквизиту целостной системы, игнорируя сложное взаимодействие разных социокультурных подразделений и его неодинаковые последствия для разных социальных групп и отдельных членов общества.

Мертон полагал, что гипотезу функционального единства можно сохранить, если рассматривать ее как *метод* изучения непреднамеренных последствий человеческого поведения. Действительно, функциональный подход в антропологии (Б. Малиновский, А.Р. Радклифф-Браун) основывался на более или менее явном предположении о «предустановленной гармонии» между целями конкретного деятеля, объективными последствиями его действий и потребностями выживания социальной системы. Такая трактовка постулата функционального единства в конечном счете ведет к выводу, сомнительность которого совершенно очевидна: намерения деятеля, выбирающего конкретный социокультурный образец, включают в себя точную оценку последствий его поступка для интеграции социальной системы. Понятно, что в действительности разные люди, следуя какому-то установившемуся образцу, стремятся к достижению самых разных целей. Не менее очевидно, что при этом они не всегда знают, что «требуется» для выживания социальной системы как целого. По мнению Мертона, функциональный анализ может обойти эти «ловушки», если окончательно откажется от отождествления намерений и мотивов социального поведения и его объективных последствий. С этой целью Мертон и ввел ставшее знаменитым различие *явных* и *латентных функций*. Явная функция — это объективное последствие поступка, намеренно вызванное и признаваемое деятелем в качестве такового. Соответственно, латентная функция — это непризнанное и непреднамеренное следствие поступка<sup>1</sup>. Например, участники какого-то магического ритуала могут сознательно стремиться к повышению плодородия почвы, что и является в данном случае явной функцией ритуала. Для социолога же может быть очевидной роль этого ритуала в интеграции данной группы или в поддержании сложившегося разделения труда между полами, т. е. его латентная функция. Однако в большинстве случаев отношения между намерениями деятелей,

<sup>1</sup> Если рассматривать преднамеренность и признанность (осознанность) как независимые характеристики, эту классификацию можно дополнить непреднамеренными, но признанными, а также преднамеренными, но непризнанными последствиями.

последствиями их поступков и социальной интеграцией системы оказываются куда сложнее. Примером может служить проведенный Мертоном анализ науки как социального института. В мертоновской концепции стремление отдельных ученых к профессиональному признанию — лишь исходное звено в цепочке сложных взаимодействий, приводящих к выполнению институциональной функции науки — производству знания. Многие критики мертоновской ревизии функционального подхода подчеркивают возникающие на этом пути сложности. В самом деле, стремление Мертона к синтезу системной и акционистской перспективы (то есть одновременному анализу функций структурного образца и причин, по которым отдельные деятели следуют образцу либо отвергают его) еще не является теоретической гарантией успешности этого синтеза. В частности, в некоторых случаях намеренное следование людей каким-то устойчивым нормам может вести к непредвиденным последствиям, «работающим» на дезинтеграцию.

Второй постулат, отвергаемый Мертоном, — это *универсальный функционализм*. Под этим подразумевается характерная для ранних версий функционализма тенденция рассматривать любое подразделение социальной системы, любую социальную практику как «полезные», функциональные для системы как целого. Эта тенденция, в сущности, была следствием (намеренным или ненамеренным) допущения функционального единства и «организмической» метафоры общества. Аналогия «социальная система — живой организм», проводимая достаточно последовательно, подразумевала, что все части социального целого необходимы для поддержания и саморегуляции последнего. Мертон полагал, что всегда можно найти примеры событий, социокультурных практик или следствий поведения, которые просто иррелевантны задаче интеграции социальной системы. Так как Мертон отвергал «онтологическое» понимание постулата функционального единства и предложил рассматривать этот постулат исключительно как метод социологического анализа, ничто более не мешало ему ввести идею дисфункциональности в основания новой модели функционального объяснения. Таким образом он избавился от навязчивой идеи функционализма — тезисе о «тождестве бытия и полезности». Мертон предложил различать функции (или, пользуясь предложенным позднее термином, эвфункции [2]) и дисфункции. Разумеется, Мертон осознавал, что энтузиазм, с которым ранние антропологи поддерживали постулат о функциональности «любого элемента культуры», был исторически обусловлен полемикой с теми исследователями, которые стремились доказать «пережиточный» характер культуры дописьменных сообществ. Однако старый и утративший политические обертоны спор антропологов, по мнению Мертона, не может служить достаточным основанием для заведомого постулирования функциональности всех устойчивых социокультурных рубрик. Дисфункциональные последствия элементов культуры заслуживают того же внимания, что и функциональные. Что же касается постулата универсальной функциональности, полагал Мертон, его «очищенной» от ложных аналогий версией может служить скромное и эвристически полезное предположение: «...устойчивые культурные формы имеют положительный „чистый баланс“ функциональных последствий либо для общества, рассматриваемого как единое целое, либо для под-

групп, обладающих достаточной властью для удержания неприкосновенности этих форм через прямое принуждение либо через не прямое убеждение» [6, 86]. Прекрасной иллюстрацией предлагаемой Мертоном трактовки универсальной функциональности — как метода, приложимого лишь к конкретным содержательным случаям, — является мертоновский анализ функций «политической машины» в Америке [6, 125–136]. Последним термином обозначается «низовая» нелегитимная политическая организация, известная также как «боссизм» или «политический рэкет».

По Мертону, структурным контекстом возникновения американской «политической машины» является закрепленная законом децентрализация власти. Эта эффективная во многих отношениях практика имеет свои «непреднамеренные последствия»: если законные и получившие культурную санкцию социальные структуры в результате «распыления» власти оказываются неэффективны в удовлетворении потребностей различных групп, например, расовых меньшинств или безработных, избирательное преимущество получает такой политический механизм, который на локальном уровне может предоставить реальную помощь, а не абстрактную справедливость и правовую поддержку. Отсюда Мертон сделал следующий вывод: «Основная структурная функция Босса заключается в организации, централизации и поддержании в нормальном рабочем состоянии „разбросанных сегментов власти“, которые в настоящее время распылены по всей нашей политической организации. Посредством этой централизованной организации политической власти Босс и его аппарат могут удовлетворить потребности разнообразных подгрупп, принадлежащих большей общности» [6, 126]. Другая подгруппа, заинтересованная в неформальной помощи местного босса, — это бизнесмены, нуждающиеся, с одной стороны, в помощи «экономического правителя», неявно регулирующего хаос конкуренции без табуированного в американской культуре государственного вмешательства, и, с другой стороны, заинтересованные в посредничестве «Босса» в отношениях с чуждой и не всегда дружелюбной реальностью правительственных агентств. Мертон выделил и другие латентные функции «политической машины», в частности, предоставление альтернативных каналов социальной мобильности в обществе, где доступ к законным средствам достижения успеха ограничен и неявно иерархизирован. Дисфункциональные последствия «боссизма» очевидны и не нуждаются в детальной характеристике — от покровительства незаконному бизнесу до разрушения конституционной политической организации общества — однако, отметил Мертон, «„политическая машина“ будет действовать, невзирая на всеобщее осуждение, до той поры, пока не будут найдены адекватные альтернативные структуры для выполнения тех же функций» [6, 127].

Наконец, Мертон обратил внимание на третий неявный постулат «жесткого» функционализма. Это *постулат необходимости*. В самом общем виде он может быть представлен как утверждение, что любой конкретный социальный институт (социокультурное подразделение) необходим для удовлетворения существенной потребности социальной системы. Это утверждение содержит в себе два взаимозависимых предположения — 1) о существовании базисных потребностей (функционального реквизита) социальных систем, т. е. «условий выживания» и сохранения социального

порядка, и 2) о незаменимости определенных структур в качестве такого функционального реквизита. Как и Парсонс, Мертон склонен согласиться с первым из этих предположений. Различие же здесь в том, что для Мертона задача установления системного реквизита является сугубо эмпирической, тогда как Парсонс устанавливает систему универсальных реквизитов, принимая более сильное теоретическое допущение о том, что некоторые функции могут быть обнаружены в любых системах. Что же касается второго предположения — о незаменимости определенных структур в качестве системного реквизита, — то Мертон отвергал его самым категорическим образом. Для Мертона принципиально важно, что одну и ту же роль в разных системах могут играть различные структуры. Очевидная, с точки зрения Мертона, вариабельность социальных институтов, ценностей и способов поведения опровергает «сильную» трактовку постулата необходимости. Вместо этого Мертон предложил следующую формулировку: «Точно так же, как один и тот же элемент может иметь множество функций, одна и та же функция может выполняться различными альтернативными элементами» [6, 87–88]. Таким образом, речь идет не о детерминации функций и структур, а о структурных альтернативах, эквивалентных относительно некоторой функции, и, соответственно, о структурных ограничениях возможного диапазона альтернатив. Приведенная трактовка постулата необходимости действительно устраняет типичную для традиционных функционалистских рассуждений трудность — отождествление функции определенной структуры с причиной ее возникновения. Однако достигается это ценой ослабления самого привлекательного объяснительного принципа функционализма — принципа объяснения «части через целое», т. к. структурные альтернативы становятся здесь частями социальной системы скорее в дескриптивном, а не генеративном смысле. Предложенные Мертоном процедурные правила функционального анализа также подчеркивают эту дескриптивность: исходным пунктом функционального анализа как описания причин и последствий возникновения и сохранения отдельных структур, по мнению Мертона, является «полное описание» деятельности изучаемых индивидов и групп, нереализованных альтернатив доминирующего образца, а также «структурного контекста», обеспечившего преимущество этого образца.

## 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ АНОМИИ И АНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Как мы уже видели, сама социальная интеграция для Мертона — в отличие от других функционалистов — является не фактом, а актом, условия и возможность которого проблематичны. Эта особенность мертоновского видения очень ярко проявилась в его подходе к проблеме *аномии*. Анализируя социологический смысл дюркгеймовского понятия, Мертон рассматривал нормативную структуру общества и способы адаптации к ней. Под нормативной структурой здесь понимается структура отношений между нормами, ролями, статусами, ценностями и институциональными порядками. Отношения между рубриками нормативной структуры, по Мертону, могут отличаться согласованностью — рассогласованностью, варьирующими в самых широких пределах. Более того, отношения между

некоторыми нормативными компонентами могут быть конфликтными. Эта общая перспектива, с точки зрения Мертона, только и позволяет подойти к собственно социологическому (а не психологическому) анализу дезинтегрированности нормативных стандартов, или аномии. Мертоновская трактовка аномии многомерна и позволяет выделить несколько различных смыслов собственно социологического понятия «аномия», идущего от Дюркгейма<sup>1</sup>. Во-первых, аномия как свойство социальной системы в целом, собственно «бесформие». Она возникает в результате разрушения социальных стандартов поведения, общезначимой системы ценностей, т. е. нормативной структуры как таковой. В этом смысле аномия «обозначает также низкую социальную сплоченность» [5, 227] как результат распада нормативного и ценностного согласия. Во-вторых, в более узком смысле аномией может считаться нарушение взаимодозначного соответствия и согласованности между нормами и ценностями, регулирующими один и тот же тип поведения. Если, например, нормативное поведение оказывается неэффективным или недостаточно эффективным, то для достижения высокозначимой цели могут использоваться «нечестные», т. е. нормативно запрещенные, средства (такие, как допинг в профессиональном спорте). Наоборот, при «обесценивании» исходных целей самодостаточную ценность приобретает следование институционально предписанным нормам поведения, или ритуализм.

Наконец, Мертон первым ввел представление о еще одном возможном типе (или механизме) аномии. Для Мертона социальная структура, как уже говорилось, может анализироваться в нескольких аналитически независимых плоскостях, в частности в таких, как нормативная структура и структура возможностей. Полная и совершенная координация норм-ценностей и возможностей, с точки зрения Мертона, скорее утопия, чем реальность. Реальностью же является та или иная степень диссоциации, расхождения между нормативной структурой и структурой возможностей, которая также может рассматриваться как «аномия». Иными словами, на уровне индивидуального поведения аномия проявляется как структурно-заданная ограниченность возможных выборов. Когда структура возможностей расходится с нормативной структурой, человеку приходится выбирать между «принимаемыми культурой ценностями и социальной структурированными трудностями жизни в согласии с этими ценностями» [6, 188]. Возникающий здесь конфликт может разрешаться в девиантном поведении, расшатывающем нормативную структуру. Отметим сразу, что под «социально структурированными трудностями жизни в согласии с ценностями» Мертон понимает неравный доступ к «институционализированным средствам» достижения культурно-одобряемых целей. Типы индивидуальной адаптации к структурной аномии Мертон классифицирует, основываясь на различении «культурных целей» (ценностей, предписываемых культурой) и «институционализированных средств» (норм). Человек может следовать нормам либо отклоняться от них, принимать либо отвергать ценности. Различные комбинации этих возможностей и приводят к широко известной мертоновской типологии способов индивидуальной адаптации к структурной аномии (табл. 3).

<sup>1</sup> Более подробный анализ мертоновских «аномий» можно найти, например, в [9, 174–177].

## Способы индивидуальной адаптации к аномии

Способы адаптации	Культурные цели	Институционализированные средства
I. Конформизм	+	+
II. Инновация	+	-
III. Ритуализм	-	+
IV. Ретритизм («уход»)	-	-
V. Бунт	±	±

«+» — принятие, «-» — отвержение, «±» — отвержение преобладающих ценностей и принятие новых.

Предложенная Мертоном типология содержала в себе очевидные возможности объяснения девиантного поведения. Эти концептуальные возможности неоднократно и широко использовались в социологии девиации. Например, уже в первой работе Мертона подчеркивался условный и крайне проблематичный характер различия между законными и незаконными средствами зарабатывания денег в американской культуре. Эта регулятивная слабость культуры создавала необходимый структурный контекст для многообразных «институционально-сомнительных инноваций», использовавшихся при создании некоторых крупных состояний (сравните: «Мошенник — это бизнесмен без офиса»).

Критика этой типологии обычно подчеркивала ее чрезмерно абстрактный характер, «индивидуализацию» отклоняющегося поведения и игнорирование многообразия субкультур и нормативных порядков в обществе, а также пренебрежение различиями между рациональными формами «инновации» и «бунта» (некоторые уточнения в общую схему были внесены Мертоном позднее [5]).

Объяснительный потенциал теории аномического поведения может быть продемонстрирован на примере мертоновского анализа *природы обмана* в науке [8]. Этнос науки, согласно взглядам Мертона, приписывает высокую нормативную ценность оригинальности научных результатов. Предполагается, что любой член научного сообщества может получить признание коллег, продемонстрировав свой личный вклад в решение некоторой научной задачи. При этом возникает нормативное давление, заставляющее ученых добиваться оригинальных результатов, что имеет очевидные функциональные последствия для науки как целого: амбиции отдельных исследователей ведут к приращению нового знания. Однако объективные возможности разных ученых — в частности доступ к новейшему оборудованию, источникам информации и т. п. — обычно неодинаковы, что приводит к возникновению *структурных ограничений*. Еще более существенны дисфункциональные последствия *личностных ограничений*: личные способности (талант, эрудиция, интеллект) в науке играют роль стратегического ресурса, который к тому же распределен весьма неравномерно. В итоге ученые, не располагающие структурными и личностными возможностями получить оригинальный результат, демонстрируют девиантные способы адаптации к этой аномической ситуации: прямой плагиат, фабрикации данных, присвоение чужих идей и иные формы обмана. Менее злобещие типы адаптации могут включать в себя «уход» в управленческую или преподавательскую деятельность или даже «бунтар-



ские» попытки переопределения ценностей — например, настойчивое убеждение себя и других в том, что ценнее всего — на данном этапе развития науки или вообще — не новые решения интеллектуальных задач, а детальное описание всех фактов, кропотливая работа по систематизации известного, расширение духовного опыта и т. п.

### 3. Р. МЕРТОН О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ МЕТОДЕ И ТИПАХ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ В СОЦИОЛОГИИ

То обстоятельство, что социологи уделяют приблизительно равное внимание собственно занятиям социологией и спорам о том, *как именно* ей следует заниматься, породило необозримое множество критических, конструктивных и, конечно, иронических комментариев. В случае Мертона ирония состоит в том, что он успешно воплотил требования ролевой модели «классика социологии», внося существенный вклад в давнюю дискуссию о методе. При этом, однако, исходным пунктом его позиции является негативная оценка тех нормативных давлений, которые заставляют социологов изобретать всеобъемлющие теоретические системы и разрабатывать сложные формально-логические и философские обоснования используемых ими методов получения знания. Наибольшую популярность приобрела мертоновская концепция «теории среднего уровня» и его представления о взаимосвязи теории и эмпирического исследования.

Основной источник дисциплинарных проблем, с которыми сталкивается социология, для Мертона заключается в разрыве между теоретизированием и эмпирическим исследованием, в постоянно воспроизводимом в истории социологии противопоставлении рационально-умозрительного и опытного знания. Еще в конце 1940-х гг. Мертон выступил против переоценки грандиозных концептуальных систем, архитектурное величие которых сопоставимо лишь с их бесполезностью для объяснения конкретных наблюдений [4, 165]. Эта явная (хотя и дружелюбная по тону) полемика с Парсонсом в дальнейшем привела к формулировке более общей позиции, касающейся стратегии накопления теоретического знания в социологии. Самым отчетливым изложением этой позиции стала приобретенная широкую известность работа «О социологических теориях среднего уровня» [6, 39–72]. Мода на «общие теории социальных систем», по мнению Мертона, прежде всего связана с особенностями институционализации социологии как научной дисциплины. Многие отцы-основатели социологии (например, Конт и Спенсер) в немалой мере воодушевлялись тем стремлением к широкому интеллектуальному синтезу, которое в философии XVIII–XIX вв. воплотилось в создании универсальных философских систем. Кроме того, полагал Мертон, «запоздалое» развитие молодой науки вынуждало социологов уделять особое внимание атрибутам научной респектабельности. Господствовавший в конце прошлого и начале нынешнего веков классицистский образ науки безусловно преувеличивал ту меру интеллектуальной целостности и методической строгости, которая присуща реальной исследовательской практике. Социологи, стремившиеся к обоснованию научного статуса своей дисциплины, вольно или невольно ориентировались на этот нормативный образец: исследование конкретных

социологических проблем приобретало легитимность лишь в свете какой-то «общей теории социологии», требовавшей «обобщенной и окончательной системы социологического мышления» [6, 45–47]. Другой неявный императив, восходивший к просвещенческим, социально-реформистским корням социологии, требовал демонстрации социальной значимости и непосредственной практической отдачи новой науки, что вело к поиску «суровых фактов» и в конечном счете к относительной изоляции эмпирических исследований от теоретического мышления. Эти завышенные ожидания, с точки зрения Мертон, были связаны с тремя фундаментальными заблуждениями относительно возможностей и истории устоявшихся естественных наук [6, 45–48]. Во-первых, ошибочно думать, что создание общей системы понятий и основных законов исторически предшествует накоплению значительного числа наблюдений. Во-вторых, неверна и другая предпосылка — «исторической одновременности», — согласно которой «все культурные продукты данной эпохи обладают равной степенью зрелости» [6, 47] и, соответственно, все научные дисциплины должны оцениваться по единым критериям. Наконец, даже самые благополучные науки не являются идеальными системами знания, выводимыми из нескольких основополагающих принципов, а представляют собой довольно сложные сетевые конструкции, где с фрагментарными и сравнительно неразвитыми концептуальными областями соседствуют группы логически взаимосвязанных теорий.

Описанные нормативные давления — к созданию «тотальных систем» и демонстрации полезности — порождают поляризацию стилей социологической работы. Последняя развивается в полном соответствии с теорией межгруппового конфликта: нарастающее взаимное отчуждение и стереотипизация восприятия «чужой» группы ведут к непримиримой и бесконечной полемике, избыточной взаимными обвинениями в «позитивизме» и «описательности», либо, наоборот, в спекулятивном доктринерстве и «абстрактном теоретизировании» [6, 53–56]. Дело не ограничивается сугубо интеллектуальной критикой: институциональные нормы науки (прежде всего, норма универсализма) приписывают равный статус всем участникам научной полемики<sup>1</sup>, так что приверженцы обеих партий отвечают риторикой, на презрение — презрением, и интеллектуальные разногласия оказываются полностью подчинены битве за статус» [6, 55]. Мертон полагал, что столь непродуктивное расходование интеллектуальных ресурсов является в конечном счете проблемой научной политики. Попытки создания «великих теорий» не ведут к ликвидации разрыва между теоретическим мышлением и эмпирическим исследованием, т. к. эти «тотальные социологические системы» могут служить в лучшем случае «общими ориентациями относительно эмпирических данных, скорее предлагающими типы переменных, которые следует как-то включить в теорию, чем дающими четко сформулированные и проверяемые утверждения о взаимосвязях между конкретными переменными» [6, 52]. Альтернативной и более успешной стратегией накопления теоретического знания

<sup>1</sup> Хотя в других отношениях статусы ученых могут различаться. Так, существует вертикальная иерархия престижа в науке.

в социологии, по мнению Мертона, является создание «теорий среднего уровня» (или «среднего диапазона», от англ. theories of the middle range).

Существует определенная неясность в интерпретации и, соответственно, в переводе термина «теории среднего уровня». В сущности, Мертон использует его в обоих возможных смыслах: 1) теории с ограниченным, «средним» диапазоном применения, и 2) теории среднего уровня обобщения, занимающие промежуточное положение между конкретными эмпирическими закономерностями и высокоабстрактными интеллектуальными схемами. Иными словами, речь идет и об объеме теории, и — в большинстве случаев — об уровне генерализации<sup>1</sup>. Эти интерпретации, однако, неравноправны. П. Штомпка, осуществивший глубокий и пронизательный анализ мертоновской позиции [9, 107–113], показал, что, несмотря на случающиеся время от времени смысловые смещения, главной для Мертона остается вторая из указанных интерпретаций, т. е. речь идет именно об уровне обобщенности теоретических суждений. В основе «теории среднего уровня» обычно лежит довольно простая идея. Мертон, в частности, использовал примеры теорий референтных групп, ролевого конфликта, фрустрации — агрессии, формирования групповых норм, восходящей социальной мобильности. Такие «концептуально-ограниченные» и эмпирически подтвержденные «теории среднего уровня» позволяют объединить, консолидировать отдельные рабочие гипотезы, и сами, в свою очередь, подлежат объединению в более крупные теоретические системы. В удачной формулировке П. Штомпки оба процесса — «консолидация идей, ведущая к теории среднего уровня, и консолидация нескольких таких теорий — равнозначны постепенной и тщательной разработке понятий, покрывающих все больше аспектов, свойств, характеристик и смысловых измерений некоторой области. Именно этот путь вел Мертона от понятия преступности к понятию социальной девиации; от понятия социализации к понятию социального контроля; от житейской идеи „быть не хуже Джоунзов” к дифференцированной концепции поведения, ориентированного на референтную группу; от привычной картины семейных споров к дифференцированному общему понятию ролевого конфликта и т. п.» [9, 110–111].

Анализ работ Мертона, посвященных взаимообусловленности теории и эмпирического исследования («Об отношении теории к эмпирическому исследованию», «Об отношении эмпирического исследования к теории» [6, 139–155, 156–172]), позволяет утверждать, что под теорией среднего уровня Мертон, в сущности, понимает социологическую теорию в собственном смысле слова, т. е. особый тип аналитической работы, отличный от других типов теоретизирования. Давая негативное определение содержательной социологической теории, Мертон последовательно рассмотрел другие типы теоретической работы: методологию (как логику научной процедуры), анализ понятий, интерпретацию эмпирических результатов *post factum*, эмпирическую генерализацию, общую теоретическую ориентацию. Перечисленные типы либо производны по отношению к социологической теории, либо имеют ограниченное значение с точки зрения

<sup>1</sup> Соответственно существуют теории, которые могут аналитически описываться как «конкретные и широкие по диапазону применения», «абстрактные и узкие по диапазону применения», «средние по уровню генерализации и диапазону применения» и т. п.

метода<sup>1</sup> получения социологического знания. Так, разработка методологических оснований социологии, оторванная от содержательных теоретических представлений, сводится к созданию программных описаний того, как могло бы выглядеть абстрактное «методически безукоризненное» исследование. Эмпирические генерализации вне контекста теории остаются дескриптивными высказываниями относительно изолированной переменной, вполне совместимыми с разными теоретическими моделями. Теоретические понятия (роль, статус, аномия и т. п.) приобретают определенный смысл лишь в контексте других теоретических понятий (*реляционно*) и, как и эмпирические генерализации, не могут быть сами по себе верифицированы или фальсифицированы. Вообще, особая роль (функция) теории в приращении знания, как можно заключить из мертоновского анализа, связана с тем, что только для теории как *совокупности логически взаимосвязанных пропозиций, описывающих отношения концептов-переменных*, можно задать какие-то процедуры подтверждения–опровержения. В несколько упрощенной формулировке, только социологическая теория (содержательная теория «среднего уровня») позволяет ставить вопросы, относительно которых можно сказать, *что* является (и *что* не является) ответом. Эта эволюционная парадигма роста научного знания (в некоторых отношениях, как можно заметить, не менее радикальная, чем попперовская) не получила систематического и логически завершенного изложения в опубликованных работах Мертона. (Возможно, это обстоятельство объясняет, почему критика «теорий среднего уровня» столь часто основана на недоразумениях и произвольных трактовках мертоновской позиции: его обвиняли и в эмпиризме, и в стремлении навязать нормативную логику реальному развитию социологии, и в отрицании полезности теоретических абстракций.) Однако Мертону принадлежит и основанный на упомянутой парадигме классический анализ *механизмов взаимовлияния теории и эмпирического исследования*, и оригинальная трактовка возможностей *теоретической кодификации* в социологии.

Мертон, в частности, дал хрестоматийно ясные (и позднее ставшие почти «общим местом»)<sup>2</sup> определения функций теоретической концептуализации в социологическом исследовании и измерении. Во-первых, он показал, что теория не просто служит источником рабочих гипотез, а полностью определяет контекст операционализации понятий и язык описания наблюдений. Иными словами, не существует «нейтральных» фактов: любые эмпирические данные не только интерпретируются, но и отбираются и описываются с помощью явных и неявных теоретических предпосылок. Теория организует язык *эмпирического исследования*.

Так, например, классические теории преступности исходили из того, что причиной правонарушений являются «социальные условия». Под

<sup>1</sup> Под методом здесь понимаются и собственно способы (и стадии) исследовательского процесса, и самые общие представления о «социальной онтологии» и природе социального.

<sup>2</sup> То обстоятельство, что методологические взгляды Мертона сейчас воспринимаются почти как трюизм, иллюстрирует одну из описанных в мертоновской социологии науки закономерностей — «забвение посредством включения» [6, 27–28]. Источник идей, завоевавших широкую популярность, становится столь общеизвестным, что число ссылок на него в более поздних работах уменьшается. Следующие поколения исследователей либо воспринимают такую интертекстуальную цитату как расхожую мудрость, либо приписывают авторство какому-то вторичному источнику.

«социальными условиями» понимались по преимуществу условия жизни низших классов, получавшие негативную моральную оценку — бедность, умственное и физическое вырождение, жизнь в трущобах. (Статусному порядку, таким образом, приписывалось и определенное моральное измерение: бедность — плохо, богатство или праздность — нейтрально или хорошо.) При этом понятие «преступность» получало обусловленную таким теоретическим контекстом операционализацию: под преступлением обычно понималось уголовное правонарушение (прежде всего против личности или частной собственности). Соответственно, распространенные среди высших классов правонарушения, например злоупотребление профессиональным положением, финансовые мошенничества и другие типы «беловоротничковой преступности», рассматривались в гражданских, а не уголовных кодексах, и не включались в официальную статистику преступности. Эмпирические наблюдения успешно подтверждали теоретический контекст, заранее предопределивший результаты: уровень уголовной преступности среди низших классов оказывался высок, что, конечно, объяснялось характерными для них «социальными условиями» — жизни [6, 144–147].

Во-вторых, Мертон показал, что важными функциями теоретической ориентации в исследовании являются отбор релевантных переменных, а также *отбор определенных исследовательских методов и техник*. В-третьих, теория задает *рамки для сравнения результатов*: показатели эмпирических исследований, проведенных в разных группах, странах или в разные моменты времени, сравнимы лишь в случае, когда их концептуализация основана на одной системе теоретических представлений. Наконец, единство теоретической интерпретации обеспечивает возможность *накопления эмпирического знания*, его консолидации. Объединенные общей теоретической «рамкой» результаты многих эмпирических исследований имеют больший эвристический и доказательный потенциал, чем изолированные эмпирические закономерности [6, 151–153].

Мертоновский анализ обратного отношения, т. е. воздействия эмпирических исследований на теории, выходит за рамки тривиальных утверждений о том, что исследование позволяет подтвердить или опровергнуть теорию. В первую очередь Мертон указывает на эвристическую, сенсibiliзирующую и «кристаллизующую» роль отклоняющихся, аномальных и неожиданных наблюдений и фактов. Такого рода эмпирические результаты нередко вели к *озарениям, радикальным концептуальным пересмотрам* и даже к *созданию новых теорий*. Активная роль исследовательской практики (то есть ее функциональные последствия для теории) проявляется и в «давлении», которое оказывают новые методы исследования и вновь открытые факты на устоявшиеся теории, заставляя социологов *модифицировать концептуальные схемы, смещать акценты, менять исследовательские интересы* и т. п. Наконец, эмпирические исследования — стимул к *уточнению, прояснению, операционализации и измерению теоретических понятий* [6, 157–171].

Результатом кумулятивного роста знания, с точки зрения Мертона, должна быть его *теоретическая кодификация*. Под теоретической кодификацией Мертон понимает приведение в логически связную систему понятий содержательных и формальных, методологических концепций,

которые используются при анализе определенных социологических проблем. Продукт кодификации — это *научная парадигма*, трактовка которой у Мертона вполне оригинальна и заметно отличается от куновской [9, 113–115]. Мертоновские парадигмы не являются гипотетико-дедуктивными теоретическими системами, широкими интеллектуальными синтезами либо «идеальными типами». Их функция абсолютно инструментальна: упорядочение используемых аналитических орудий, популярных моделей объяснения, теоретических «ходов», центральных понятий и значимых эмпирических результатов. Такая «инвентаризация» позволяет определить область проблематичного, выявить явные и скрытые предпосылки анализа, сопоставить различные типы объяснения и идентифицировать существенные лакуны в теории [6, 69, 153–154]. Теоретическая кодификация, таким образом, это скорее метанаучная, «метасоциологическая» деятельность, результатом которой становится парадигма, ориентирующая дальнейшие теоретические и эмпирические изыскания. Пример, позволяющий судить о плодотворности такой деятельности, — мертоновская парадигма структурно-функционального анализа, рассмотренная в первом параграфе главы.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Coser L.A.* Merton's uses of the European sociological tradition / Ed. L.A. Coser. The idea of social structure: papers in honour of Robert K. Merton. N.Y., 1975.
2. *Levy M.T.* The structure of society. Princeton, 1964.
3. *Merton R.K.* Social structure and anomie // *American Sociological Review*, 1938. Vol. 3. P. 672–682.
4. *Merton R.K.* The position of sociological theory // *American Sociological Review*, 1948. Vol. 13. № 2. P. 164–168.
5. *Merton R.K.* Anomie, anomia and social interaction: contexts of deviant behavior / Ed. M. Clinard. Anomie and deviant behavior: Discussion and critique. N.Y., 1964. P. 213–242.
6. *Merton R.K.* On theoretical sociology. Five essays, old and new. N.Y., 1967.
7. *Moore W.E.* Functionalism / Ed. T. Bottomore and R. Nisbet. A history of sociological analysis. L., 1978.
8. *Storer N.Y.* (ed.) The sociology of science: theoretical and empirical investigations. Chicago, 1973.
9. *Sztompka P.* Robert K. Merton: an intellectual profile. Basingstoke, 1986.

## ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО ИНТЕРАКЦИОНИЗМА (Ч. КУЛИ, У. ТОМАС, ДЖ.Г. МИД)

### 1. Ч.Х. КУЛИ — ПРЯМОЙ ПРЕДШЕСТВЕННИК СИМВОЛИЧЕСКОГО ИНТЕРАКЦИОНИЗМА

Чарльза Хортона Кули (1864–1929) можно считать прямым предшественником символического интеракционизма. В американской социологии Кули был первым теоретиком, выступившим против инстинктивистских, утилитаристских и прочих теорий натуралистического толка как основы объяснения социального поведения. Отвергая натурализм предшествующих теоретиков, Кули находился все же под влиянием спенсеровского органицизма и эволюционизма. Но это влияние носило не столько концептуальный, сколько общемировоззренческий характер, выражая свойственное Кули ощущение единства и взаимосвязи всего существующего в общем потоке сначала органической, а затем возникающей из органической и параллельно текущей социальной эволюции.

На этой основе Кули строил свои представления о природе человека, специфике социального познания социальной реальности. Можно выделить, говорил он, два фундаментальных представления о человеческой природе. Во-первых, под природой человека понимается фиксированный набор «бесформенных импульсов и способностей», передаваемых посредством механизмов наследственности. Это биологическая природа, которая являлась определяющим фактором на ранних стадиях развития человека, но сейчас перестала играть решающую роль. Во-вторых (и здесь Кули выражает собственную точку зрения), под природой человека понимается его социальная природа, которая «вырабатывается в человеке при помощи простых форм интимного взаимодействия, или первичных групп, особенно семейных и соседских, которые существуют везде и всегда воздействуют на индивида одинаково» [2, 32]. Она представляет собой некоторый общий всему человечеству комплекс социальных чувств, установок, моральных норм, составляющий универсальную духовную среду человеческой деятельности.

Соответственно и в познании, которое, согласно Кули, представляет собой элемент всеобщей органической, а затем и социальной эволюции, выделяются два фундаментальных типа. «Первый, — писал Кули, — это преобразование чувственных контактов в знание вещей... Его я называю пространственным, или материальным, познанием. Второе развивается из контактов с сознанием других людей, через коммуникацию, позволяющую нам понимать их, разделяя их чувства и мысли. Это я называю личностным, или социальным, познанием. Оно может быть описано так же, как симпа-

тическое, или, в более активной его форме, как драматическое, ибо оно способно соединять видимое поведение с воображением соответствующих внутренних процессов сознания» [3, 290].

«Вообразить воображаемое...» [2, 122] — так кратко и афористично описывал Кули одновременно и процесс, и цель социального познания. Его «воображение» чуждо всякой мистике. «Симпатия» у него также эмоционально нейтральное понятие. «Симпатия индивида в целом отражает социальный порядок, в котором он живет... Каждая группа, в которой участвует индивид... живет в его симпатии, так что его сознание представляет собой микрокосм, соответствующий той части общества, к которой индивид действительно принадлежит» [2, 144].

Отсюда один шаг до его специфической концепции социальной реальности. Поскольку речь идет о непосредственных социальных отношениях, считал Кули, все воображаемое (в вышеуказанном смысле слова) является реальным. Он поясняет это следующим образом: «Мое взаимодействие с вами состоит в отношении между моим представлением о вас и моим самосознанием. Если в вас имеется нечто, не включенное в мое представление о вас... то это нечто в нашем взаимодействии не имеет никакой социальной реальности. Непосредственная социальная реальность есть идея личности». И в развитие этой мысли: «Общество в его непосредственном аспекте есть отношения между идеями личностей» [2, 119].

В этой сугубо идеалистической, можно даже сказать спиритуалистской, концепции содержались глубокие концептуальные разработки, в дальнейшем определившие направление развития социальной психологии, теории социализации, некоторых отраслей так называемой микросоциологии: социологии личности и социологии малых групп, социологии общностей и т. д. Наиболее значимыми оказались концепция зеркального «Я» и концепция первичных групп.

Идея зеркального «Я» происходит из понимания социального познания и одновременно процесса формирования социальной реальности как процесса межиндивидуальных взаимодействий. Кули отметил, что в наших представлениях о самих себе огромную роль играет то, как нас видят другие. Мы смотримся в представления других о нас самих, как в зеркало, и судим о самих себе по этому отражению. Особенно важную роль такой процесс играет в раннем развитии ребенка, когда именно через восприятия и реакции других людей формируются его идеи и представления о самом себе, выливающиеся затем в стабильную концепцию собственной личности. Уже в возрасте шести месяцев, отмечал Кули, ребенок по-разному реагирует на разных людей и по-разному организует в их присутствии собственное поведение. «Юный актер скоро научается быть разным для разных людей, показывая, что он начинает понимать, что такое личность и как она организует свою деятельность» [4, 232]. В этом наблюдении Кули уже содержатся основы современной теории социализации, ролевой теории личности и прочих «микросоциологических» концепций, детальная разработка которых — заслуга позднейших теоретиков символического интеракционизма.

Первичные группы, с точки зрения Кули, первичны в том смысле, что они воплощают в себе универсальный характер человеческой природы. Сложные и крупные общественные макроструктуры разнообразны и из-



менчивы, первичные же группы всегда и повсюду идентичны. «Они не меняются, — писал Кули. — Они первичны потому, что дают индивиду самый ранний и самый полный опыт социального единства, а также потому, что они не подвержены изменениям в той же степени, что и более сложные отношения, но образуют сравнительно неизменный источник, из которого проистекают последние» [4, 158].

Хотя Кули и признавал, что первичные группы не являются независимыми от макроструктур, именно на них он сосредоточил свое внимание, всячески подчеркивая их устойчивость по отношению к крупномасштабным общественным изменениям. В частности, он анализировал — и идеализировал — крестьянские общины в России и Германии как образцы структур, соответствующих первичным группам, выделяя такие их качества, как наличие непосредственных родственных, дружеских или соседских связей, прямую демократию, единогласность принимаемых решений. И наоборот, он критиковал социальную ситуацию больших городов, пагубно влияющую на состояние первичных групп, распад которых, с его точки зрения, знаменует собой распад социальных связей вообще, основанных на самой социальной природе человека [4, 159]. Такой подход позволяет увидеть в концепции первичных групп параллель теннисовской концепции, а кулиевское видение социального развития в целом включить в характерную для того времени «культуркритическую» традицию, имевшую множество выдающихся представителей, таких, как Теннис, Зиммель, Шпенглер и другие.

## 2. ВКЛАД У.А. ТОМАСА

Уильям Айзек Томас (1863–1947) внес огромный вклад в разработку методологического аппарата социологии в русле идей символического интеракционизма. В целом он рассматривал социальный мир в соответствии с требованиями объективирующей научной процедуры, но, в отличие от позитивизма своего времени, утверждавшего необходимость фиксирования лишь внешнего, явно наблюдаемого поведения, Томас обращал внимание на бесконечное многообразие субъективных мотивов, которые могут лежать за внешним единообразием форм поведения. Отсюда его внимание к субъективному восприятию социального и к процессам формирования межиндивидуальных взаимодействий.

Для анализа внутренних, субъективных аспектов деятельности Томас применил два основных методологических понятия, сделавшихся с тех пор предметом постоянного внимания социологов: понятия «установки» и «определения ситуации». При подходе с точки зрения установок индивида и определения им ситуации своего поведения социолог в состоянии получить, как писал Томас, «неполное, но каузально адекватное объяснение поведения» [10, 71]. Он исходил из того, что для полного объяснения необходим учет множества внешних факторов и что практически полное каузальное объяснение недостижимо. То же касается адекватности, т. е. объяснение должно быть адекватным с точки зрения субъективного восприятия ситуации действия действующим индивидом.

Концепция установки Томаса, изложенная в написанной им совместно с Ф. Знанецким книге «Польский крестьянин в Европе и Америке»,

стала первой систематической концепцией установки в социологии. Установка трактовалась как процесс индивидуального сознания, определяющий потенциальную или актуальную реакцию индивида на объекты и явления социального мира. Эти объекты представляют собой ценности. Под ценностью понимается «любое данное, имеющее эмпирическое содержание, доступное членам некоторой социальной группы, и значение, относительно которого оно является или может являться объектом действия» [12, 21]. Ценность существует в установке «интенционально». Установка же — это «индивидуальная тенденция реагировать позитивно или негативно на данную социальную ценность» [12, 22]. Установка и ценность образуют единство, связующим их звеном является действие. Установка выявляет себя в действии. И в действии же обнаруживается значение той или иной социальной ценности.

В понятии установки, таким образом, выявлялось и конкретизировалось понимание социальной обусловленности индивидуального сознания. Тем самым впервые делалось возможным конкретное эмпирическое изучение внутреннего мира человека. Не случайно поэтому большинство исследователей связывают с «Польским крестьянином» начало эмпирической социологии в современном ключе. И это — несмотря на множество методологических проблем и несообразностей, обнаруживающихся в этой работе и касающихся именно применения основных понятий (установки и ценности); впрочем, эти проблемы нельзя считать разрешенными и по сей день.

В томасовской концепции определения ситуации речь идет о «конструируемой» индивидом ситуации его собственного поведения. Всякой деятельности, писал Томас, предшествует «стадия рассмотрения, обдумывания, которую можно назвать определением ситуации. В действительности не только конкретные действия зависят от определения ситуации, но и весь образ жизни... следует из серии таких определений» [11, 18]. В результате каждая ситуация, в которой оказывается взрослый самоопределяющийся индивид, представляется системой факторов, диктующих поведение в соответствии с прежними ситуациями, пережитыми индивидом в ходе его жизни. Конечно, имеется в виду не столько материальная ситуация с ее чувственно воспринимаемыми объектами, сколько ситуация социальных отношений, элементами которой являются семья, школа, общественное мнение, установки других личностей, с которыми индивиду приходилось иметь дело. Каждый из этих элементов в актуальной ситуации обладает для действующего индивида значениями, почерпнутыми из прежних, давно пережитых ситуаций. Томас так и пишет: «Особенная модель поведения в основном обуславливается типами ситуаций и особенностями опыта, почерпнутого индивидом в ходе его жизни» [10, 10].

Томас выразил суть этой своей концепции в знаменитом афоризме, который его коллега Р. Мертон назвал «теоремой Томаса»: «Если ситуации определяются как реальные, они реальны по своим последствиям» [10, 14]. В качестве иллюстрации Томас привел следующий пример: параноик, попавший впоследствии в одну из нью-йоркских больниц, убил несколько человек, имевших несчастную привычку бормотать что-то про себя, гуляя по улице; он заключал, что они всячески его поносят, и вел себя так, будто это действительно имело место. «Поскольку он определяя

эту ситуацию как реальную, она на самом деле оказалась реальной по своим последствиям» [13, 301].

Томас говорил о необходимости анализа всякого действия в его целостном двуедином контексте, т. е. в ситуации, как она определяется исследователем в объективных терминах, и в ситуации, как она формулируется в терминах заинтересованной действующей личности. «Мы, — писал Томас, обращаясь к коллегам, — должны поставить себя в положение субъекта, пытающегося найти свою дорогу в этом мире, и мы должны помнить прежде всего, что среда, которая на него влияет и к которой он адаптируется, это его мир, а не объективный мир науки; природа и общество, какими их видит он, а не какими их видит ученый. Индивидуальный субъект реагирует только на данное в его собственном опыте, а его опыт включает в себя не то, что абсолютно объективный наблюдатель может обнаружить в части мира, доступной индивиду, но только то, что обнаруживает там сам индивид» [12, 18–46].

Сейчас это положение кажется достаточно очевидным. Но Томасу было необходимо противопоставить свою позицию преобладающей в его время позитивистско-натуралистической тенденции в социологической теории и методологии. Сформулировав это положение, он подчеркнул один из главных тезисов интерпретативной социологии: необходимость опоры в ходе исследования на субъективный опыт действующих индивидов. Его собственные исследования: уже упоминавшийся «Польский крестьянин в Европе и Америке», «Непристроенная девушка» и другие, также сосредоточивавшиеся на изучении личности в нестандартных, маргинальных ситуациях, стали первым опытом эмпирического исследования в рамках символического интеракционизма. Их тематическая направленность роднит их с исследованиями Чикагской школы, о которых говорится в другой главе.

### 3. ДЖ.Г. МИД — ОСНОВОПОЛОЖНИК СИМВОЛИЧЕСКОГО ИНТЕРАКЦИОНИЗМА

Подлинным основоположником теоретической системы символического интеракционизма стал Джордж Герберт Мид (1863–1931). Долгое время Мида трактовали исключительно как социального психолога, причём второго ряда; лишь с конца 1950-х — начала 1960-х гг. он стал рассматриваться как автор своеобразной философско-социологической концепции, а вскоре — как классик социологии и философии. Это объясняется как спецификой его творчества, так и судьбой его произведений. При жизни Мид был известен как талантливый лектор и автор множества рассеянных по разным изданиям статей. Книг он не выпускал и, как свидетельствовали современники, сам оценивал свое творчество весьма низко. Говорят даже о патологически низкой его самооценке [5, 68–73]. Лишь после его смерти бывшие его студенты, ориентируясь на собственные записи, собрали статьи и тексты лекций и в течение 1930-х гг. издали их в виде книг [6; 7; 8]. Эти книги, выдержавшие впоследствии массу переизданий, не были целиком написаны или составлены их автором. Это обстоятельство объясняет их отрывочность, частую противоречивость и открытость по отношению к многочисленным, иногда взаимно исключающим друг друга, интерпретациям. Но они же составили ему славу.

Центральное понятие социально-психологической и социологической теории Мида — понятие межиндивидуального взаимодействия. Именно совокупность процессов взаимодействий конституирует общество и социального индивида. Анализ процесса формирования индивидуального сознания в ходе взаимодействия Мид начинает с понятия жеста. Жест как индивидуальный акт служит начальной фазой взаимодействия и выступает в качестве стимула, на который реагируют другие его участники. Жест предполагает наличие некоторого референта, «идеи», соотношенность с некоторыми элементами опыта индивида и вызывает в сознании воспринимающего тот же отклик, что и в сознании совершающего жест. Другими словами, жест является символом. Важнейшим из жестов-символов является, по Миду, слово (голосовой жест). В связи с этим язык рассматривается как конституирующий фактор сознания.

Реакция на жест-символ не является непосредственной. Жест и реакция на него опосредуются значением. Значение, таким образом, выглядит как редуцированное взаимодействие, существующее в поле социального опыта индивидов. А некоторая относительно целостная совокупность значений выступает как символическое содержание сознания, содержание опыта индивида.

В терминах значений объясняются не только индивидуальные аспекты опыта, но и общие понятия — универсалии. Тождественность восприятия голосового жеста и «принимающим», и «передающим» предполагает в качестве фундаментального элемента взаимодействия возможность того, что Мид называл «принятием роли другого». В случае же более сложного взаимодействия с участием многих индивидов учитывается и обобщается мнение группы относительно общего объекта взаимодействия, т. е. принимается, как говорил Мид, «роль обобщенного другого». «Действительная универсальность и безличность мысли и разума, — писал Мид, — является результатом принятия индивидом установок других людей по отношению к себе и последующей кристаллизации этих частных установок в единую установку или точку зрения, которая может быть названа установкой „обобщенного другого“» [7, 90].

Открытие Мидом феномена обобщенного другого дало социологам и социальным психологам возможность не ограничиваться анализом исключительно непосредственных взаимодействий (на это, как мы помним, была ориентирована социально-психологическая концепция Кули), а анализировать поведение в сложной социальной среде, а психологам — объяснить процессы образования общих понятий. Таким образом, Мид обнаружил перспективу построения социально-психологической, или лучше даже сказать социолого-психологической, концепции, способной объединить подходы, свойственные социологии, психологии, семиотике, лингвистике и другим наукам социального цикла.

В ней отражались одновременно логика и история становления общества и социального индивида. Стадии принятия роли другого, других, обобщенного другого — все это стадии превращения физиологического организма в рефлексивного социального *индивида*. Происхождение «Я», таким образом, целиком социально. Главная его характеристика — умение становиться объектом для самого себя, что отличает его от неодушевленных предметов и живых организмов. Богатство и своеобразие заложенных

в том или ином индивидуальном «Я» реакций, способов действия, символических содержаний зависит от разнообразия и широты систем взаимодействий, в которых «Я» участвует. Структура завершеного «Я», считал Мид, отражает единство и структуру социального процесса.

Констатируя тождественность структуры «Я» и социальных структур, Мид оказался бы вынужденным рассматривать социальное поведение как нетворческое, стандартизованное. Конечным пунктом такого пути было бы отождествление социального процесса с социальной структурой (заметьте, что именно по этому пути пошел Т. Парсонс, включивший впоследствии в свою структурно-функциональную концепцию, в частности, в теорию социализации, значительную часть социальной психологии Мида). Чтобы избежать этого тупика, Мид обращался к анализу динамики «Я».

Он выделяет в системе Я две подсистемы: «I» и «me»<sup>1</sup>. Если *me* представляет собой свойственную данному индивиду совокупность установок других, т. е. интернализированную структуру групповой деятельности, то *I* имеет автономный характер. В этом понятии отражено своеобразие реакции индивида на социальные стимулы. *I* является в социальной системе как бы агентом всеобъемлющего эволюционного процесса, реагируя отклоняющимся от ожиданий способом, оно вносит в структуру взаимодействия изменения, которые, суммируясь, изменяют содержание самого социального процесса, не давая ему кристаллизироваться в жесткий социальный порядок.

Игра социальных сил происходит, таким образом, внутри «Я» путем диалектического взаимодействия *I* и *me*, их внутреннего диалога, *me* — это как бы вопрос, задача, которую ставит общество перед *I*, одновременно открывая перед ним пути стандартизованного ответа и решения. *I* — ответ. Мид писал: «Каков будет этот ответ, *I* не знает, и не знает никто другой. Реакция на ситуацию, какой она является в непосредственном опыте, не очевидна, и именно это реакция конституирует *I*» [7, 50]. Всегда в настоящем, оно есть непосредственность восприятия и действия, неререфлексивный элемент Я. *I* оценивает действие лишь тогда, когда оно в прошлом, и оценивает с точки зрения интернализированной структуры установок других, т. е. с точки зрения *me*. Таким образом, через тонкий анализ динамики человеческого «Я» Мид пытался уловить неререфлексивный, ускользающий от сознания самих участников, эмерджентный момент социального процесса.

В проблеме структуры и динамики Я как бы резюмируется все содержание социально-психологической концепции Мида. Но сколь бы интересной и полезной ни была она сама по себе, трудно, или вообще невозможно, понять ее важнейшие импликации, не рассматривая ее в более широком контексте философских идей Мида. Если социальная психология изложена в книге «Разум, Я и общество», то философские работы Мида собраны в книгах «Философия акта» и «Философия настоящего».

В первой из них Мид дал абстрактный анализ процессов человеческой деятельности в духе философии прагматизма, рассматривая реальность как серию ситуаций, последовательно преодолеваемых индивидами в

<sup>1</sup> Словом «Я» переводится мидовское понятие «I»; «me» мы оставляем без перевода из-за отсутствия удовлетворительных русских эквивалентов.

процессе решения проблем, а мышление — как инструмент решения этих проблем. Мид выделил четыре последовательные стадии любого действия (акта): импульс, перцепция, манипуляция и консуммация. Импульс — функционально связанное со стимулом, элементом внешней среды побуждение к действию; перцепция — момент формирования в сознании представления об объекте и модели будущего действия; манипуляция — процесс непосредственного взаимодействия субъекта и объекта; консуммация — процесс «потребления», получения пользы от объекта и его оценивания.

Наиболее детально Мид остановился на второй стадии — перцепции, ибо, по его словам, «перцепция содержит в себе все элементы акта — стимуляцию, реакцию, репрезентированную установкой, заключительное переживание, следующее за реакцией и репрезентированное представлениями, возникшими из прошлого опыта» [8, 3]. Содержание перцептуального объекта определено прошлым опытом индивида во всем его своеобразии и неповторимости, и потому такой объект всегда «является выражением особенных отношений между ним и индивидом» [8, 7]. Объект различен для каждого индивида, ибо «принадлежит к его перспективе и его возможностям реагирования» [8, 6].

Перспектива для Мида — это не категория оптического восприятия, и не ожидаемый в будущем результат деятельности. Под перспективой он понимает (в том, что касается социологического смысла этого понятия) специфическое отношение каждого индивида к его социальной среде. Понятия акта, перцепции, перспективы, а также еще целый ряд понятий и концепций философии Мида представляют собой фактически философский анализ проблем, понятий и концепций символического интеракционизма в целом, где находят свое выражение и разрешение на более высоком уровне абстракции проблемы, которые занимали самого Мида в его социальной психологии, Кули — в его теории становления «Я», Томаса — в его размышлениях о ценностях, установках, определении ситуации [11, 77–81].

Не менее важные для философского обоснования символического интеракционизма соображения содержатся в «Философии настоящего», где Мид разработал своеобразную философию социальной жизни, пытаясь продемонстрировать процесс конституирования социального путем анализа временных аспектов взаимодействий и показать неререфлексивную (или доререфлексивную) природу такого конституирования. Это фактически параллельный социально-психологический философский анализ динамики человеческого «Я». В этой своей работе Мид пришел к выводам, весьма близким к представлениям феноменологической социологии о природе социальности и межлических взаимодействиях [1].

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Ионин А.Г.* Понимающая социология. М., 1978.
2. *Cooley Ch.* Human nature and the social order. N.Y., 1964.
3. *Cooley Ch.* Sociological theory and social research. N.Y., 1969.
4. *Cooley Ch.* Primary group and human nature / Ed. J. Manis and B. Melzer. Symbolic interaction: a reader in social psychology. Boston, 1972.

- 
5. *Helle H.J.* Verstehende Soziologie und theory der Symbolischen Interaction. Stuttgart, 1977.
  6. *Mead G.Я.* The philosophy of present. Chicago, 1932.
  7. *Mead G.H.* Self and society. Chicago, 1936.
  8. *Mead G.H.* The philosophy of act. Chicago, 1938.
  9. *Natanson M.* The social dynamics of G. H. Mead. Washington, 1956.
  10. *Social behavior* and personality, Thomas contribution in social theory / Ed. E. Volkart. N.Y., 1951.
  11. *Thomas W.* The unajusted girl. Boston, 1923.
  12. *Thomas W.*, *Znaniecki F.* The Polish peasant in Europe and America. N.Y., 1972.
  13. *William Thomas* on social organization and social personality / Ed. M. Janowitz. Chicago, 1966.

## ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ. А. ШЮЦ И ЭТНОМЕТОДОЛОГИЯ

### 1. ИДЕИ И ПОНЯТИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ А. ШЮЦА

Альфред Шюц (1899–1959) свою первую и главную книгу «Смысловое строение социального мира. Введение в понимающую социологию» издал в Вене в 1932 г.<sup>1</sup> Она представляла собой попытку создания на основе феноменологической философии Э. Гуссерля и понимающей социологии Макса Вебера нового теоретико-методологического фундамента социальных наук. Шюц отправлялся от гуссерлевской идеи «жизненного мира» как сферы дорефлексивного, непосредственно переживаемого опыта, и от веберовского понимания социального действия, как действия, имеющего для самого действующего индивида субъективно подразумеваемый смысл. Эта новая социология оказалась, по сути дела, систематическим описанием, с точки зрения действующего индивида, структур социального мира, каким он является в ходе и посредством самой этой деятельности, или, другими словами, она оказалась систематическим описанием познания социального мира в процессе деятельности. С этой последней точки зрения социологию Шюца по справедливости можно назвать социологией познания. Шюц проводил свою позицию весьма последовательно, прослеживая процесс социального познания от субъективно подразумеваемого смысла изолированного действия до претендующих на объективность понятий социальных наук. Тем самым он пытался связать науку со здравым смыслом, с миром повседневного знания и опыта (некоторые из вариантов феноменологической социологии, основывающиеся на идеях Шюца, не случайно носят имя «социологии повседневности»). Выявление такой связи крайне важно, но в то же время и опасно, ибо оно лишает науку свойственной ей ауры объективности и исключительности и показывает, что обыденное и научное познание социального мира в принципе неразделимы. Научное познание тем самым релятивизируется. В обнаружении, систематическом анализе и изложении этого достаточно двусмыс-

<sup>1</sup> Natanson M. The social dynamics of G.H. Mead. Washington, 1956. Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Einleitung in der verstehende Soziologie Wien, 1932. (Перевод на английский язык: Schutz A. The Phenomenology of the social world. L., 1972.) Другие важные работы Шюца: The problem of social peality. Collected Papers. Vol. 1. Hague, 1962; Das Problem der Relevans. Frankfurt am Main, 1971; Theorie der Lebensformen. Frankfurt am Main, 1981.



ленного факта состоит главная заслуга Шюца в области теоретической социологии.

Из многочисленных философских и социологических концепций Шюца остановимся на трех, оказавших наибольшее влияние на позднейшее развитие социальных наук. Первая — это концепция природы объективности социального мира, вторая — концепция рациональности социального взаимодействия, третья — концепция повседневной реальности как реальности.

Размышления о природе объективности социального мира Шюц начинает с констатации кардинального факта несовместимости позиций, точек зрения «Я» и другого. Каждая индивидуальная позиция определяется тем, что Шюц именует биографической ситуацией индивида. Биографическая ситуация определяется обстоятельствами рождения, взросления, воспитания, разнообразными религиозными и идеологическими воздействиями и т. д. Для каждого индивида она уникальна, и именно она превращает «мир вообще», как общую для всех живущих реальность, в «мой собственный мир» каждого конкретного человека. Кроме того, биографическая ситуация создает для каждого особенную перспективу видения, где индивид оказывается как бы центром мира, «отсчитывающим» и организующим каждую интерпретацию, каждый акт понимания, исходя из этого центра.

Вместе с тем все биографические ситуации имеют между собой нечто общее: ведь они представляя собой продукт истории не только индивидуального ознакомления с миром, но и усвоенной в ходе образования и воспитания «всеобщей истории» предметно-смыслового освоения мира. Поэтому, как говорил Шюц, каждый из моментов моего опыта, «осажденного» в биографической ситуации, с самого начала типичен, т. е. заключается в горизонте возможных подобных этому моментов опыта. А уже разделение индивидуального и общего, отбор типизирующих признаков, вообще видение чего-то в качестве общего, а чего-то в качестве особенно — это задача моей собственной активности. Источником этой активности, согласно Шюцу, является мой практический интерес и «релевантность» явления, с точки зрения моих практических целей, которые, в свою очередь, определяются перспективой моих отношений с миром, моей уникальной биографической ситуацией.

Таким образом, индивид видит мир частью обобщенно (по терминологии Шюца, в типических его характеристиках), частью — в его индивидуальных свойствах. Но в каждом случае видение в целом уникально и неповторимо и (это главное) не гарантирует надежного взаимосогласованного протекания сложных человеческих взаимодействий.

Тем не менее сложнейшие взаимодействия имеют место и протекают успешно. Повседневное мышление, писал Шюц, преодолевает различия индивидуальных перспектив с помощью двух главных идеализаций.

1. Идеализация взаимозаменяемости точек зрения: «Я считаю само собой разумеющимся и предполагаю, что другой считает также, что, если я поменяюсь с ним местами и его „здесь“ станет моим, я буду находиться на том же самом расстоянии от объектов и видеть их в той же самой типичности, что и он в настоящий момент, более того, в пределах моей досягаемости будут находиться те же самые вещи, что у него сейчас».

2. Идеализация совпадения систем релевантности: «До тех пор, пока не доказано обратное, я считаю само собой разумеющимся — и полагаю, что другой считает так же, — что различия перспектив, порождаемые нашими уникальными биографическими ситуациями, несущественны с точки зрения наличных целей любого из нас и что он и я (то есть «мы») полагаем, что отбираем и интерпретируем потенциально и актуально общие объекты и их характеристики тем же самым или по крайней мере „эмпирически тем же самым“, т. е. тем же самым с точки зрения наших практических целей способом» [3, 131; 16, 11–12].

Согласно Шюцу, эти две идеализации являются орудием типизации объектов с целью преодоления и «снятия» черт своеобразия личного опыта. Ее постоянное применение порождает такое представление об объектах, которое лишено «перспективной» природы, свойственно каждому, т. е. никому в частности. Это анонимное, ничье знание. Оно же воспринимается участниками взаимодействия как объективное, т. е. независимое от меня и моего партнера, от того, как мы по-особенному видим мир, от нашей биографической ситуации и наших практических целей.

Другими словами, в результате применения этих идеализаций возникает ощущение объективности воспринимаемого и концептируемого, общего мне и моим партнерам мира. Это и есть мир повседневной жизни в его самых общих характеристиках, как он воспринимается с согласия подавляющим большинством социальных индивидов. Это наш привычный «социокультурный мир». По своему генезису наши представления о нем имеют социально (то есть посредством межчеловеческих взаимодействий) детерминированный характер. Но в сознании самих индивидов он выступает как объективный, независимо от них самих существующий мир. Поэтому можно сказать, что объективность социального мира есть рефлексивный, социально организованный феномен.

Социальным взаимодействием, следовательно, будет являться то взаимодействие, которое основывается на представлениях, имеющих определенный уровень типичности. Типизируются мотивы участников, типизируются, согласно мотивам, личности участников, само взаимодействие воспринимается его участниками как типическое. В повседневной жизни в большинстве случаев мы имеем дело не с людьми, а с типами.

«Я предполагаю, — писал Шюц, — что мое действие (скажем, я опускаю в почтовый ящик правильно адресованное и снабженное маркой письмо) побудит некоего анонимного партнера (почтового служащего) совершить типичное действие (выемку почты) на основе типического мотива (выполнение должностных обязанностей). <...> Я также предполагаю, что мое представление о типе деятельности другого в основе своей совпадает с его типологическим представлением о самом себе, причем в последнее включено и типическое представление о моем (его анонимного партнера) типичном поведении, основанном на типичных мотивах... В моем собственном типическом представлении обо мне самом, как о клиенте почтового ведомства, я строю свои действия так, как этого ожидает типичный почтовый служащий от типичного клиента» [16, 25–26].

Чем выше степень анонимности и типичности взаимодействий, чем более они стандартизованы и институционализированы, тем более согласованно, успешно, «гладко» протекает повседневная жизнь в целом.

Такой образ социального взаимодействия и социальной жизни в целом может казаться чересчур рациональным. Но, как показывает Шюц, нормальность, правильность, разумность, предсказуемость поведения в повседневной жизни имеет мало общего с рациональностью. Классическая характеристика рационального поведения дана Максом Вебером, на нее и ссылался Шюц: «Рациональное действие предполагает, что деятель ясно представляет цели, средства и вторичные последствия его, включая сюда рациональные представления о средствах для достижения цели, о соотношении избранной цели с другими возможными результатами применения этих средств, наконец, об относительной важности различных возможных целей» [16, 28].

Для того чтобы действие отвечало критериям рациональности, действующий должен проанализировать: а) ситуацию начала деятельности, в том числе в ее специфическом биографическом преломлении; б) состояние дел, которое предполагается в качестве цели, в том числе место предполагаемой цели в иерархии своих планов, совместимость ее с другими целями, их возможное воздействие друг на друга; в) средства, возможности их использования, их совместимость с целями, их совместимость со средствами, привлекаемыми для реализации других планов и т. д. Ясно, что действие вызовет реакцию других людей. Тогда не только эти другие должны будут выполнить все предписания рациональности (а, б), но и сам действующий должен учесть в своих расчетах все их расчеты, чтобы суметь реализовать свои цели.

Таковы явно невыполнимые — и явно невыполняемые в каждом конкретном случае — условия рационального поведения. Тем не менее повседневная жизнь почти полностью состоит из действий, которые понятны, разумны, предсказуемы и в этом смысле рациональны. А это значит, что повседневная рациональность отличается от идеальной, логической рациональности, как она описывалась М. Вебером и многими другими. Она основывается не на «исчислении» средств-целей, а на априорно данных типических структурах, которые не анализируются и не рассчитываются, а приняты на веру. Они представляют собой нормальную объективную среду повседневной деятельности. Эта нормальность есть повседневный эрзац научной рациональности, хотя и слывет последней.

Повседневная реальность вообще, согласно Шюцу, является реальностью особого рода. Как это понимать? Выдвигая концепцию множественности реальности, Шюц опирался на идею американского философа и психолога У. Джемса о существовании многообразных миров опыта, единственным критерием реальности которых служит психологическая убежденность, вера в их реальное существование. Джемс говорил о мире физических объектов, мире научной теории, мире религиозной веры и т. д.

Шюц говорил об этих же явлениях, называя джемсовские «миры опыта» «конечными областями значений», которым люди могут приписывать свойство реальности. «Мы называем конечной областью значений, — писал Шюц, — некоторую совокупность данных нашего опыта, если все они демонстрируют определенный когнитивный стиль и являются — по отношению к этому стилю — в себе непротиворечивыми и совместимыми друг с другом» [16, 230]. Эти конечные области значений: мир научного теоретизирования и т. д.

К понятию когнитивного стиля, конституирующего тот или иной «мир», относятся следующие характеристики:

1. Особая форма активности сознания (напряженное бодрствование, психотическая возбужденность, спокойствие созерцания, пассивность во сне и т. д.).
2. Специфическое «эпохе»<sup>1</sup>.
3. Преобладающая форма деятельности (физическая работа, деятельность мышления, эмоциональная активность, работа воображения).
4. Специфическая форма личностной вовлеченности (как участвует в данной сфере человек — как целостная личность или фрагментарно).
5. Особенная форма социальности (специфика переживания другого или других, специфика протекания взаимодействий).
6. Своеобразие переживания времени.

Следуя этим пунктам, Шюц выделял *differentia specifica* каждой из сфер реальности, т. е. конечных областей значений. Конечны эти области в том смысле, что между ними нет прямого перехода, прямой коммуникации, переход из одной в другую предполагает скачок, перерыв постепенности и своеобразное шоковое переживание.

Возьмем повседневность, как особую сферу реальности. Для нее характерно:

1. Бодрствующее напряженное внимание к жизни как форма активности сознания.
2. В качестве специфического *erosche* — воздержание от всякого сомнения в существовании мира и его объектов и от сомнения в том, что мир мог бы оказаться иным, чем он является активно действующему индивиду (та самая социально организованная объективность, о которой шла речь выше).
3. В качестве преобладающей формы деятельности — выдвижение проектов и их реализация, вносящая изменения в окружающий мир. Шюц квалифицировал ее как трудовую деятельность и говорил, что она играет важнейшую роль в конституировании повседневности.
4. Трудящееся «Я» выступает как целостная, нефрагментированная личность в единстве всех ее способностей.
5. Как особенная форма социальности выступает типизированный мир социального действия и взаимодействия.
6. Как своеобразная временная перспектива — социально организованное и объективированное стандартное время, или трудовое время, или время трудовых ритмов.

Можно подвести итог, дав общее определение повседневности, как она понималась Шюцем. Повседневность — это сфера человеческого опыта, характеризующаяся особой формой восприятия и переживания мира, возникающей на основе трудовой деятельности. Для нее характерно напряженно-бодрствующее состояние сознания, целостность личностного участия в мире, представляющем собой совокупность не вызывающих сомнения в объективности своего существования форм объектов, явлений, личностей и социальных взаимодействий.

<sup>1</sup> «Эпохе» (от греч. *erosche* — воздержание, отказ) — термин феноменологической социологии, обозначающий особого рода установку сознания, например, на воздержание от суждений о существовании или несуществовании объектов внешнего мира.

Для того чтобы лучше понять специфику повседневности, взглянем через эти же «очки» на любую другую из конечных областей значений, например на мир фантазии. Сюда может быть отнесено многое: и простое «фантазирование», и измышленная реальность литературного произведения, и мир волшебной сказки, мифа и т. д.

Все они по всем параметрам отличаются от мира повседневности. В них превалирует не труд, мотивируемый окружающим миром и воздействующий на его объекты, а совсем иная форма деятельности. Напряженно-бодрая установка сознания заменена созерцательной, воображающей. Здесь другое *eros*, близкое феноменологическому: практикуется воздержание от суждения о существовании объектов этого мира. Он воспринимается «в условном наклонении», как если бы он существовал.

Человеческое Я не реализуется в этом мире полностью, практически-деятельная его сторона остается не участвующей. Качество социальности этого мира снижается: в предельном случае коммуникация и понимание продуктов фантазии вообще невозможно. Наконец, здесь совсем иная временная перспектива: фантастика не живет в трудовом времени, хотя и может быть локализована в личностном и социоисторическом времени.

Мы не будем вдаваться в детали; важно, что буквально все характеристики мира фантазии обнаруживают дефицит каких-то качеств, свойственных миру повседневности: внимания к жизни, деятельности, личности, социальности. Отсюда можно сделать вывод, что мир фантазии представляет собой какую-то трансформацию мира повседневности, а не независимую по отношению к ней и равноправную с ней реальность. То же самое можно сказать и в отношении других «конечных сфер»: мира душевной болезни, мира игры, мира научной теории. Анализ показывает, что, являясь одной из сфер реальности, одной из конечных областей, повседневность первична по отношению к другим сферам. Шюц говорил поэтому о реальности повседневной жизни как о верховной реальности, по отношению к которой прочие являются квазиреальностями.

В заключение рассмотрим, как понимал Шюц такую важную для нас сферу, как научное теоретизирование, в ее взаимоотношениях с повседневной жизнью.

Здесь исследователь также сталкивается с рядом «дефицитов». Прежде всего, конечно, дефицит деятельности. Теоретик именно в своей роли теоретика не испытывает воздействий внешнего мира и сам на него не воздействует. Его установка чисто созерцательная. Конечно, правильно говорят, что нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Но вопрос применения теории — это вопрос, относящийся к компетенции либо самого теоретика, либо других людей уже в другой сфере — в сфере повседневных целей, задач, проектов.

Кроме того, дефицит личности. Физическая и социальная личность теоретика практически выключены, когда он занимается теоретизированием. Он в это время и везде, и нигде, его личная перспектива отсутствует. Его конкретное физическое местоположение, физическая конституция, пол, возраст, социальное положение, воспитание, характер, религия, идеология, национальность — все это не имеет отношения к решаемой научной проблеме.

При этом складывается своеобразная временная форма. Для теоретика «здесь», как и «сейчас» не существует. Если проблема должна быть решена «сейчас» (ибо за это, скажем, будет присуждено профессорское звание), то тем самым она изымается из контекста теоретизирования и помещается в контекст повседневности, а ученый оказывается выступающим в роли повседневного деятеля. В теоретическом же контексте проблема стоит вне времени (и пространства) — сама она и ее решение действительны для любого времени (и места). Именно эта его вневременность придает научному теоретизированию свойство обратимости, в отличие от необратимости продуктов деятельности в повседневной жизни.

Однако в отличие, например, от области фантазии, сфера научного теоретизирования определенным образом социально структурирована. Проблема, над которой работает теоретик, определяет систему его релевантностей, диктует, какие разделы знания являются более, какие менее важными. Здесь существуют типические проблемы и типические решения. Существует социальное распределение знания — имеются эксперты в определенных областях. Научная терминология (понятия-типы) выполняет функции посредника между уникальными видениями мира, но именно теоретического мира.

Имеется, следовательно, определенное сходство в структурной организации мира повседневности и мира научного теоретизирования. Но за этим сходством — фундаментальное различие, состоящее в том, что, говоря словами Шюца, «теоретизирующее „Я” одиноко, у него нет социального окружения, оно стоит вне социальных связей» [16, 253]. Отсюда следует важнейшая проблема: «Как одинокое теоретизирующее „Я” находит доступ к миру трудовой деятельности (то есть к миру повседневности. — Л. И.) и делает его объектом теоретического созерцания?» [16, 253].

Нужно сказать, что сам Шюц удовлетворительного ответа на этот вопрос не дал, он сам не нашел решения сформулированного им парадокса. Его предложения в области теории социальных наук не выходят далеко за рамки традиционного натуралистического подхода. Исключение представляют два соображения. Первое: предложение рассматривать научные понятия как «типы второго порядка», т. е. как типы повседневных типов. Второе: включение в число требований к научной теории так называемого постулата субъективной интерпретации, состоящего в том, что «все научные объяснения социального мира... должны соотноситься с субъективными значениями действий человеческих индивидов, из которых и складывается социальная реальность» [17, 245]. Это требование напоминает идею субъективной адекватности, характерную для методологии У. Томаса. Важное само по себе, оно тем не менее не стало методологическим нововведением.

Развитие феноменологической социологии после Шюца ознаменовалось огромным количеством работ его учеников и последователей, носящих в основном либо популяризаторский, либо эпигонский характер. Важным достижением, однако, стала разработка концепции так называемой этно-методологии.

## 2. ЭТНОМЕТОДОЛОГИЯ Г. ГАРФИНКЕЛЯ

Термин «этнометодология» был сконструирован основателем этого направления в рамках феноменологической социологии — американским социологом Гарольдом Гарфинкелем (род. 1917), по аналогии с широко применяемым в культурной антропологии термином «этнонаука». Этнонаука — это примитивная наука (магия, шаманство, зачатки собственных научных представлений), свойственная изучаемым антропологами примитивным обществам. Соответственно предметом этнометодологии являются этнометоды, т. е. свойственные той или иной культуре (этнометодологи занимаются только современными высокоразвитыми культурами) методы организации практической повседневной деятельности.

Этнометодологи отправились дальше от того пункта, где остановился А. Шюц. Шюц констатировал наличие обыденных типов и определил их как субстанцию нормальности, т. е. своеобразной обыденной рациональности. Этнометодологи занялись эмпирическим исследованием и теоретическим анализом практического функционирования обыденных типов. Гарфинкель назвал эти типы «фоновыми ожиданиями». Считалось, в соответствии с положениями Шюца, что эти типы представляют собой не осознаваемые и не подвергаемые рефлексии самими деятелями (то есть фоновые, в гарфинкелевском смысле) ожидания относительно того, как должно идти нормальное, т. е. естественное, непроблематичное взаимодействие того или иного рода. Практически это стало исследованием не осознаваемых самими представителями культуры стабильных культурных моделей взаимодействий.

В ходе эмпирического изучения фоновых ожиданий сложился особый тип социально-психологического экспериментирования, получивший даже полуофициальное наименование «гарфинкелинг». Гарфинкелинг заключается в сознательном нарушении экспериментатором нормального хода повседневных взаимодействий, причем в реакции объекта на это нарушение выявляются фоновые ожидания, т. е. представления о том, каким должно быть это взаимодействие в норме [7; 1, 144–150].

Анализ Гарфинкелем результатов таких экспериментов продемонстрировал (если подытожить его соображения):

- 1) наличие фоновых ожиданий, представляющих собой «видимые, но не замечаемые», постоянно реализующиеся в ходе взаимодействия, но неосознаваемые как самими участниками, так и другими членами общества, представления о структурах взаимодействия, в которых они участвуют;
- 2) существование этих представлений в форме моральных правил, санкционированных группой;
- 3) обусловленность этих представлений целями взаимодействия (их глубина каждый раз «достаточна для практических целей», говоря словами Шюца);
- 4) функции фоновых ожиданий, или типических образов взаимодействий, состоящие в стандартизации и категоризации повседневных взаимодействий, в ориентации и координации взаимодействия индивида с другими членами группы, в обнаружении отклонений от нормального хода событий, в коррекции хода взаимодействия и осуще-

ствлении успешного, т. е. нормального, морально санкционированного поведения.

Кроме того, обнаружилась связь фоновых ожиданий (повседневных типов) с «моральными эффектами». Дело в том, что некоторые из экспериментов были ориентированы на то, чтобы, разрушив фоновые ожидания, сделать среду взаимодействия бессмысленной, лишить объекты и явления привычных им повседневных функций. «Поведение, ориентированное на такую бессмысленную среду, — писал Гарфинкель, — обнаруживало свойства смущения, неуверенности, внутреннего конфликта, психосоциальной изоляции, острой и непонятной тревоги, сопровождаемые различными симптомами острой деперсонализации» [7, 55]. Эти признаки свидетельствуют, по мысли Гарфинкеля, о первостепенной важности фоновых ожиданий, представляющих собой фундаментальные латентные структуры социальной жизни.

Если попытаться упростить, «оповседневить» выраженные в чрезвычайно усложненной форме выводы Гарфинкеля, то можно было бы сказать, что люди в повседневности строят свои взаимодействия на основе моделей, о существовании которых не догадываются, но к которым неосознанно приспособливают свое поведение; эти модели первичны в том смысле, что диктуют цели и мотивы взаимодействий, воспринимаемые самими участниками как морально должные; если такую модель экспериментально разрушить (в этом суть гарфинкелинга), то люди впадают в смятение, теряя почву под ногами и не понимая, что случилось.

Поскольку этнометодология претендует на универсальность выводов, то этот ход рассуждения применим и к социальной науке. Социологи рассматриваются как повседневные деятели. Процедуры исследования лишены субстанционального обоснования, зиждутся на принимаемых на веру, но неосознаваемых предпосылках, выступающих как практическая этика социологической деятельности. Соответственно эти неосознаваемые предпосылки диктуют социологам их мотивы и цели. Соответственно социологическая деятельность состоит на самом деле не в «открытии нового», не в «углублении познания», а в воспроизведении вновь и вновь одной и той же неосознаваемой фундаментальной предпосылки ее собственного существования. С поистине героическим пессимизмом Гарфинкель отнес это и к деятельности этнометодологов.

Этнометодология радикализовала свойственный феноменологической социологии подход и, можно сказать, свела ее самое, а также и социологию вообще, к абсурду. Изящество этнометодологических экспериментов и аналитическая тонкость здесь не ведут к каким-либо позитивным выводам. В результате после сравнительно короткого этнометодологического бума этнометодология выродилась в сектантское движение, содержание споров внутри которого понимают лишь сами их участники.

Вывод можно сделать такой: социолог, если он хочет быть понятым и принятым, должен быть немного (или много) догматиком. Отсутствие такого догматизма — беда этнометодологии в особенности, но и феноменологического интеракционизма и феноменологической социологии вообще. По этой причине они не стали и не могли стать (даже при том, что некоторые их представители достигли академической респектабельности) составной частью социологического истеблишмента. Социология, как и



любая устойчивая форма человеческой деятельности, не прощает тем, кто в ней работает, радикализма в исследовании ее собственных предпосылок. К сожалению, этот вывод, хотя и подтверждается реальностями жизни, звучит слишком этнометодологически.

### 3. ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПОСЛЕ ДЖ.Г. МИДА И А. ШЮЦА

Дж.Г. Мид и А. Шюц считаются ныне классиками соответственно символического интеракционизма и феноменологической социологии. Последующее развитие этих направлений не принесло (за исключением разве что этнометодологии) существенно новых теоретических результатов. Проследим кратко, как развивалось каждое из них по отдельности.

Наследие Мида в символическом интеракционизме подверглось большому количеству разнообразных, иногда взаимоисключающих интерпретаций. Одной из них была интерпретация социолога из университета штата Айова в США Мэнфорда Куна и его сторонников, которых принято было относить к так называемой Айовской школе символического интеракционизма [14]. Ее можно назвать натуралистической интерпретацией, т. к. в ее основе лежал тезис о единстве научного метода, применяемого единообразно как в естественных, так и в общественных науках. Отсюда следовало в качестве главного методологического принципа применение только тех понятий, которые можно операционализировать, применение методов, удовлетворяющих «обычным научным критериям» и «стандартизованного объективно детерминированного процесса измерения... значимых переменных» [11, 225].

При этом пересматривалась не только ставшая уже традицией (начиная с Куна с его «воображением воображаемого») специфическая методологическая концепция символического интеракционизма, но и его теоретический смысл. Кун отказался от мидовского понятия «I», придающего динамику человеческому «Я». Для него существует только «me», как совокупность интернализированных установок группы. Эти установки — групповые нормы — служат основой четко фиксированной стабильной групповой структуры — структуры ролей, полностью детерминирующей индивидуальное поведение. Нет нужды особо доказывать, что в такой интерпретации теряется сам идейный смысл символического интеракционизма, делающего упор на гибкий творческий характер социального поведения и на активное воздействие самих участников социальных взаимодействий на формирующиеся в этих взаимодействиях структуры.

Альтернативная и имевшая гораздо больший успех версия символического интеракционизма реализовалась в деятельности чикагского профессора Герберта Блумера. Блумер был учеником Мида и начал преподавательскую и исследовательскую работу в начале 1930-х гг. В течение почти сорока лет с его именем и его работами ассоциировалось само название этого направления.

В одной из статей Блумер дал обобщенное описание социального мира, как он видится с точки зрения символического интеракционизма:

«Человеческие существа живут в мире значимых объектов, а не в среде, состоящей из стимулов и самоконституирующихся сущностей. Этот

мир имеет социальное происхождение, ибо значения возникают в процессе социального взаимодействия. Так, различные группы вырабатывают различные миры, и эти миры меняются, если объекты, их составляющие, меняют свои значения. Поскольку люди расположены действовать, исходя из значений, которые имеют для них объекты, мир объектов группы представляет собой истинный смысл организации деятельности. Для того чтобы идентифицировать и понять жизнь группы, необходимо идентифицировать мир ее объектов; идентификация должна осуществляться в терминах значений, которые имеют объекты в глазах членов группы. Наконец, люди не прикованы к своим объектам, они вольны прекратить свою деятельность по отношению к ним и выработать в отношении к ним новую линию поведения. Это обстоятельство вносит в групповую жизнь новый источник трансформации» [6, 535].

Это как бы подытоживание того, что сказано Кули, Томасом, Мидом (в его социальной психологии) о природе социальной жизни. Такое видение социальной реальности ведет Блумера к особенной методологии. В противоположность, например, Куну он отказывается от операционных понятий в пользу не столь четко определяемых, но зато более содержательных понятий, соответствующих задачам социологии как науки о человеческих феноменах. Он противопоставляет первые вторым как «дефинитивные» понятия понятиям, «ориентированным на понимание». Он разясняет, почему именно вторые так важны для социологии: «Вследствие того, что выражение каждый раз оказывается другим, мы должны каждый раз полагаться на некие общие указания, а не на объективно фиксируемые свойства или способы выражения. Если подойти к делу с несколько иной стороны, можно сказать: поскольку то, о чем мы заключаем, не выражает себя постоянно одним и тем же способом, мы не можем полагаться в нашем выводе на объективную фиксацию выражаемого» [5, 8]. Отсюда он делал вывод о необходимости выработки специфических «мягких» исследовательских методов, которые были бы в состоянии обеспечить социологу доступ к подвижной и изменчивой «материи» субъективных смыслов социальных действий.

Несколько особняком стоит в современной социологии, хотя и относится обычно к символическому интеракционизму, работа Ирвинга Гофмана. Его многочисленные труды, отмеченные явным литературным талантом, посвящены анализу самых обыденных повседневных взаимодействий с целью раскрытия неосознаваемых самими участниками моделей и стратегий их организации [8; 9; 12; 15]. Хотя он далеко не всегда эксплицирует свою методологию, так что возникает искушение (это подтверждает множество рецензий на его книги) приписать все находки его исключительно таланту тонкого наблюдателя социальной жизни, эта методология у него все-таки есть. В последней своей крупной работе Гофман ясно показал, что в основе его описаний лежит учение У. Джемса о «мирах опыта», развитое А. Шюцем в теории «конечных областей значений» и по-своему переработанное Г. Гарфинкелем в концепции «фоновых ожиданий» [9, 3–9]. Этим фактом лучше всего доказывается глубинное идейное родство символического интеракционизма и феноменологической социологии.

Что же касается феноменологической социологии как таковой, то ее развитие после Шюца также не отмечено особенной динамикой. Большинство работ его последователей носило популяризаторский, комментатор-

ский или просто эпигонский характер. В определенном смысле это было необходимо, потому что на фоне традиционно позитивистски ориентированной американской социологической литературы восприятие спекулятивной, предполагающей навыки философской рефлексии концепции Шюца было крайне затруднено. Одной из работ, помогших преодолеть этот барьер, стала подготовленная учеником Шюца Томасом Лукманом и вышедшая под именами его и учителя книга «Структуры жизненного мира» [18], где последовательно и систематично (а иногда и просто в упрощенном виде) излагается теоретико-методологическая концепция Шюца как целое, т. е. в том ее виде, который так и не был придан ей самим ее автором.

Не менее важную роль для пропаганды свойственного феноменологической социологии видения мира сыграла книга Питера Бергера и упомянутого уже Лукмана «Социальная конструкция реальностей» [4]. Исходя из концепций Шюца, но также привлекая идеи Мида, Карла Маркса и других, авторы показывают, как мир, в котором живут и трудятся социальные индивиды и который они воспринимают изначально и объективно как данное, активно (хотя и неосознаваемо для них самих) конструируется самими людьми в ходе их социальной деятельности. Это диалектическая концепция: познавая мир, люди созидают его и, созидая, познают. Саму эту книгу причислить к области социологии можно лишь с некоторыми оговорками: это скорее спекулятивное социально-философское произведение.

Впрочем, сам Лукман неоднократно и во многих местах заявлял о незаконности, с его точки зрения, самого термина «феноменологическая социология», ибо феноменология не может быть и не является социологией. «Феноменология, — писал он, — двояким образом связана с социологией. С одной стороны, она дает систематическое описание теоретической активности и тем самым общую философию логики и науки. С другой стороны, она есть философия, вновь открывшая человеческий опыт как основу теории общества. Говоря точнее, феноменология конституирует инвариантные структуры повседневной жизни, и это я называю протосоциологией. <...> Вот почему слова „феноменологическая социология“ я воспринимаю как понятийное противоречие. Протосоциология — это не социология, еще не и уже не социология» [13, 205].

Это вполне обоснованная точка зрения. Во всяком случае современное развитие показывает, что феноменологии не удается органично влиться в социологическую традицию. Нынче она развивается по трем направлениям. Первое: социально-философские труды Питера Бергера, посвященные социальным проблемам религии, духу капитализма, природе модернизма и т. д. Второе: так называемый *analysis of conversation* — своеобразная проблемная область, возникшая на стыке социологии, антропологии и лингвистики (А. Сикурел, П. Макхью и др.) [2]. Третье: развиваемое Рихардом Гратхофом и другими учение о конституировании социальной среды (*milieu*) [10]. Можно повторить за Томасом Лукманом, что все это либо еще не, либо уже не социология.

Впрочем, это зависит от того, что понимать под социологией. Символический интеракционизм в меньшей, а феноменологическая социология в большей степени не соответствуют тому, что подавляющее большинство исследователей понимают под социологией как наукой. В принимаемый ими образ науки входит, во-первых, социологическая теория как стройная

и внутренне непротиворечивая система суждений, организованных по правилам формальной логики, и, во-вторых, методология эмпирического анализа, представляющая собой ряд принципов и требований, обеспечивающих доступ к объективной социальной реальности. Без признания этой объективной реальности социальных отношений все здание научной социологии рухнуло бы в одночасье.

Феноменологическая социология и символический интеракционизм самим фактом своего существования и направленности своих исследовательских усилий подрывают эту фундаментальную социологическую веру. Они не отрицают объективность социального, но проблематизируют ее, заставляя задумываться о том, как она возникает и существует. Размышление на эту тему приводит к парадоксальному выводу: социальная жизнь объективна лишь в той мере, в какой члены общества признают и собственными действиями поддерживают эту объективность. Другими словами, она объективна в той мере, в какой считается объективной.

На таком основании, конечно, невозможно развивать социологию традиционного стиля. Но без такой диалектики социального наши представления о природе общественной жизни были бы бедными, плоскими, односторонними. Главный вопрос, который должен следовать из рассмотрения символического интеракционизма и феноменологической социологии, — это вопрос о том, возможен ли и как возможен, синтез двух главных направлений в изучении общества: традиционной натуралистической и альтернативной, интерпретативной социологии.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Ионин А.Г.* Понимающая социология. М., 1978.
2. Новые направления в социологической теории. М., 1978.
3. *Шюц А.* Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 1988. № 2.
4. *Berger P., Luckman T.* The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge. N.Y., 1966.
5. *Blumer H.* What is wrong with social science? // American Sociological Review, 1954. Vol. 19. № 1.
6. *Blumer H.* Sociological implications of the thought of G.H. Mead // American Journal Sociology, 1966. Vol. 71. № 5.
7. *Garfinkel H.* Studies on ethnomethodology. N.Y., 1967.
8. *Goffman E.* The presentation of Self in everyday life. N.Y., 1959.
9. *Goffman E.* Frame analysis. Boston, 1974.
10. *Grathoff R.* Milieu und Lebenswelt. Frankfurt am Main, 1989.
11. *Hickman C., Kubn M.* Individuals, groups and economic behavior. N.Y., 1956.
12. Interaction ritual: essays on face-to-face behavior. N.Y., 1967.
13. *Luckman T.* Phenomenologie und Soziologie // Ed. W. Sprondel, R. Grathoff. Alfred Schutz und die Idee des Alltags in den Sozialwissenschaften. Stuttgart, 1979.
14. *Meltzer B., Petras J.* The Chicago and Iowa schools of symbolic interactionism / Ed. by T. Shibutani. Human nature and collective behavior. Englewood Cliffs. N.Y., 1970.
15. Relations in public: microstudies of the public order. N.Y., 1971.
16. *Schutz A.* The problem of social reality. Hague, 1962.
17. *Schutz A.* Concepts and theory formation in social sciences / Ed. M. Natanson. The philosophy of the social sciences. N.Y., 1963.
18. *Schutz A., Luckman T.* Structures of the life world. Evanston (Illinois), 1974.

---

Раздел III

АНГЛИЙСКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  
СОЦИОЛОГИЯ В XX ВЕКЕ

---

---

# ОБЩАЯ ПАНОРАМА РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ В XX ВЕКЕ

## I. ТРАДИЦИИ АНГЛИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Современная социология имеет два главных истока: первый — социально-философские и политические идеи и учения и второй — административную статистику, фактологические обследования для практических нужд, типа переписей населения, эмпирические исследования с «чисто научной» целью. В Англии, как нигде, эмпирические изыскания и в прошлом, и сейчас не составляют исключительной собственности социологов. «Социология» явно не совпадает со сферой так называемых «социальных исследований». Очень значительная их часть проходила и проходит вне университетов и академической науки в независимых коммерческих или неприбыльных исследовательских организациях и в правительственных центральных или местных исследовательских отделениях. «Социологическое» существует в обширном контексте родственных дисциплин и сфер деятельности: социальной философии, социальной антропологии (включающей то, что в других странах называют этнографией и этнологией), политических наук, сравнительного правоведения, социального обслуживания, обеспечения и благотворительности, теории и практики общественного самоуправления и т. п.

В этом «околосоциологическом» семействе теоретических и практических общественных наук английские исследователи выделяют несколько устойчивых направлений со своими организационными и теоретическими традициями, почти независимыми друг от друга: административно-реформистское, политико-экономическое, эволюционное и антропологическое.

Первое из них, прагматическое и эмпирическое, определилось раньше всех и, по общему мнению, положило начало английской социологии. Оно процветает в стране, пройдя путь от «социальной арифметики» XVII–XVIII вв., Лондонского статистического общества 1834 г., парламентских обследований и комиссий, отчетов фабричных инспекторов, Фабианского общества социальных реформ и т. п., до современных статистических обследований, отчетов так называемых «социальных работников» и пр. В русле этого направления накоплена огромная эмпирическая документация по истории английского общества, до сих пор недостаточно используемая теоретической социологией страны, отчасти по причине ее другого происхождения и организации.

Весь XIX в. и в развитии количественных методов в социальных исследованиях, и в качестве источника теоретических идей для социологии ведущую роль не только в самой Англии, но и в Европе играла британская экономическая наука. Это объяснялось не только тем, что экономика,

наряду с государственным правом, другими юридическими науками и «моральной философией» стала упорядоченным академическим предметом гораздо раньше социологии (еще Адам Смит числился профессором логики и моральной философии, в которую входил и предмет политической экономии), но и существом экономического подхода. Британские экономисты думали об универсальных условиях равновесия экономической системы в масштабах общества, а не только о текущих потребностях правительственных учреждений, и это оказалось чрезвычайно поучительным и плодотворным для теоретической социологии. Классики политической экономии не просто открыли универсальную, сложную и часто невидимую систему социального взаимодействия, названную «рынком», но и осмыслили ее через анализ элементарных межчеловеческих отношений взаимности и обмена. Философский анализ взаимных моральных чувств («симпатий») и экономический анализ разделения труда (разделения, восполняемого обменом) у Адама Смита имели в виду две стороны — моральную и экономическую — одного и того же фундаментального факта, что большие общественные объединения людей функционируют и получают результаты помимо индивидуальных намерений, исчислений, планирований и рефлексий участников, в том числе и представителей власти. Система общественных связей создается не рассуждениями, а установлением взаимности в отношениях по отдельности несамодостаточных, имеющих разные потребности и занятия людей.

Эти идеи экономистов XVIII в. послужили естественным переходом к эволюционной и либеральной социологии XIX в. — ведущей линии в исконно английской теоретической традиции. Ее связывают с именами виднейших синтетистов прошлого века Дж.С. Милля и Г. Спенсера, насадивших на английской почве само название «социология» и первые определения ее предмета. В последней трети XIX в. эволюционная социология слалась с очень широким и аморфным движением в общественных науках, философии, идеологии и политике — социальным дарвинизмом, способ мышления которого долго был, наверное, самым влиятельным и оригинальным вкладом Англии в мировую теоретическую социологию. Обычно социал-дарвинизм понимают слишком узко: только как биологизаторское оправдание борьбы за существование и необходимости конкуренции, функционально эквивалентной в общественной жизни естественному отбору. Глубинную же его направленность, общую у него с эволюционной социологией, можно определить как поиск объективных, «природных» оснований моральных норм и принципов поведения, которые в конце концов сделали возможным и «нормальное», полезное для всех развитие рынка, и демократическое правовое регулирование общественной жизни, и — на уровне группового отбора — обусловили превосходство таких обществ над другими в экономическом, военном и прочих отношениях. В этом смысле социал-дарвинизм был законным наследником английского философского эмпиризма, который не устраивали ни трансцендентные, ни трансцендентальные объяснения морали. Как раз эту характерно английскую идею «научной» этики высмеивали и даже называли «чудовищной» (Бердяев) немецкие и русские идеалисты.

Безусловно, в попытках найти какие-то природные константы, так сказать, «гены» морали присутствовал антиисторический, натуралисти-



ческий переко́с. Однако в эволюционном мышлении «естественное» означало не только чисто природное, но и «естественно развившееся» в спонтанном историческом процессе, не удовлетворяющем рациональным критериям ограниченного «современного» разума. В результате в английском эволюционизме (часто у одних и тех же мыслителей) боролись и причудливо переплетались две тенденции. Одна тяготела к консерватизму (конечно, прежде всего отечественному в лице Э. Бёрка) с его уважением к исторически установившимся традициям, религиозным представлениям, общественным порядкам и институтам, и сам современный разум делала продуктом исторической эволюции и подчиняла традиции. Другая тяготела к просветительскому рационализму, изображая социальную эволюцию как прогрессирующее торжество принципов разума, отождествляемого с разумом «наиболее просвещенных» или «морально совершенных», и во имя этого разума пренебрегая традиционным историческим опытом как «разумом необразованных людей» (по выражению Бёрка) или просто как ненужным балластом.

Эта идеологическая многозначность эволюционизма, а также социального дарвинизма позволяла использовать их в самых разных научных и политических целях и привлекала массу людей еще в первые десятилетия XX в. Неудивительно, что и начальный этап институционализации и профессионализации английской социологии оказался связанным с этим самобытным комплексом идей, превращавшим этику в социологию нравственной жизни данного общества.

## 2. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ И ЕЕ ПЕРВЫЕ ТЕОРЕТИКИ

Если под институционализацией какой-то научной деятельности понимать достаточно плотное и постоянное взаимодействие лиц, осуществляющих эту деятельность и объединенных в разных учебных и исследовательских организациях, то, несмотря на богатство национальных традиций, как профессиональная академическая дисциплина американского типа социология в Англии стала развиваться поздно и укоренилась в университетах только после Второй мировой войны. До этого с 1907 г. в стране существовала всего одна кафедра социологии (в основанной в 1895 г. в значительной мере усилиями лидера Фабианского движения Сиднея Уэбба «Лондонской школе экономики и политической науки»), возглавляемая Леонардом Хобхаусом (1864–1929), который до смерти оставался единственным «профессором социологии» во всем Соединенном Королевстве. Хобхаус считается основателем национальной академической социологии, хотя на его кафедре долго преобладала традиционная философско-эволюционная и этическая, а не эмпирико-исследовательская ориентация. Из-за отрицательного отношения к полевым исследованиям у него даже были нелады с коллегами по Лондонскому университету (куда с 1900 г. на правах колледжа вошла и ЛШЭ), в частности, с главным критиком эволюционных теорий «первобытного промискуитета» антропологом финского происхождения Эдуардом Вестермарком (1862–1939).

Хобхаус и его ученик и преемник на посту главы Отделения социологии в ЛШЭ выходец из Литвы Моррис Гинсберг (1889–1970) были крити-

ческими продолжателями основной эволюционной социологической традиции Конта, Милля и Спенсера, а также английского социал-дарвинистского течения в общественной мысли последней трети XIX в. — так называемого «морального эволюционизма», или «эволюционной этики», которая играла роль социологии в своих попытках обосновать нерелигиозную, секуляристскую, «научную» теорию рационального и морального развития (прогресса) человечества в категориях естественных законов, противопоставляемых обычной метафизике моральных теорий. И учитель и ученик остались связующим звеном между XIX и XX вв. в английской социологии.

Хобхаус сосредоточился на значении последарвиновской теории эволюции для общественной мысли в психологическом, социологическом и философском аспектах. Главными теоретическими противниками для него были люди, плохо понявшие биологическую теорию эволюции как оправдание конкурентного индивидуализма, экономической эксплуатации и безжалостной национальной экспансии. Ведущим защитником экономического либерализма в конце XIX в. считался Г. Спенсер, и в усвоении и противоборстве с его идеями Хобхаус выработал свой взгляд на социальную эволюцию. Подобно Спенсеру он понимал философию как синтез наук и теорию социальной эволюции как часть общей философии эволюции. Следующие поколения английских социологов называли социологию Хобхауса «философской» из-за весомости в ней этики, теории познания и постоянных ссылок на антропологию, историю и сравнительную психологию человека и животных. Г. Барнз и Г. Беккер, авторы известнейшего американского труда по истории социальной философии и социологии «Общественная мысль от предания к науке» (1938), во втором его томе говорят даже о «Хобхаусовой традиции» рассмотрения общественной жизни в целостном, всестороннем окружении и в ее отношении к универсальной шкале ценностей.

В отличие от преобладающей в спенсерианстве трактовки эволюции как механически-автоматического и неизбежного процесса с минимальным влиянием на его ход сознания, разума, Хобхаус видел эволюцию именно как развитие силы разума, устроителя человеческой души и общества, ведущего их к органическому росту «гармонии» (платоновского по происхождению понятия). Все это живо напоминает «социальный телезис» американца Лестера Уорда (1898). Мысль Хобхауса была направлена и против тех версий социального дарвинизма, популярных в Англии в начале XX в., которые акцентировали роль наследственности и тем умаляли значение морального и рационального выбора. Хобхаус подхватил либеральную традицию, убежденную, что мораль подразумевает выбор и что эволюция могла осуществляться только благодаря расширению сферы морального выбора, но использовал ее доводы в неприемлемом для старых либералов направлении — для обоснования коллективизма и соответствующих социальных реформ.

Известнейший критик социализма и поклонник «либерализма старых вигов», австро-американский экономист Фридрих фон Хайек (1899–1988), даже обвинил Хобхауса в подмене понятий, утверждая, что его книгу «Либерализм» (1911) точнее было бы назвать «Социализм». Явной переоценке Хобхаусом роли разума, сознательной этики в развитии цивили-

зации противостоит старая эволюционная идея, что правила морали и ценности не являются предметом нашего свободного выбора, «заключениями нашего разума» (Д. Юм), но суть плоды многовекового эволюционного «группового» отбора методом проб и ошибок, плоды накопления полезного знания в виде не поддающихся «разумному» обоснованию культурных традиций, возникающих помимо сознательных замыслов и непосредственно воспринимаемых преднамеренных целей.

В том же русле «социальной этики», соединявшем систему моральной и общественной философии в классическом духе (от Платона) с параллельным научным, «социологическим» анализом институтов общества и их исторической эволюции так, чтобы «система оценок» могла твердо опираться на «систему знания» и направлять социальное изменение к торжеству «права и добра», работал и М. Гинсберг. Он, как и Хобхаус, много внимания уделял категориям «морали» и «справедливости» в связи с назревшими социальными изменениями в современном индустриальном обществе. Характерны сами названия их книг: «Рациональное добро» и «Элементы социальной справедливости» (1922) у Хобхауса и «О справедливости в обществе» (1965) у Гинсберга. Но это не ставит их особняком в мировой социологии. Один из немногих английских социологов, всерьез воспринимавших этих «старомодных» мыслителей в 1970-е гг., Р. Флетчер, напоминает, что ведь и почитаемый «отцом-основателем» современной «научной» социологии Э. Дюркгейм тоже «моралист» и кончил прямым призывом к выработке морального кодекса промышленной эпохи уже не в чисто философских категориях, а на базе «социальных фактов», знания условий коллективной жизни фабричных слоев и пр. [8, 5].

Гинсберг не приравнивал факт «разнообразия нравов» среди человеческих обществ, групп и индивидов внутри одного общества к доказательству «относительности морали или этики». В истинно философской постановке вопроса у Платона, Генри Сэдживика (английского философа конца XIX в.) и других мораль абсолютна и объективна, моральные суждения обладают познавательной силой, т. е. способны мотивировать либо воспрещать и контролировать действие, а такие категории, как ценность и долг, добро и справедливость, далее несводимы и неразложимы. Философско-социологическое «критическое» прояснение этических принципов и идеалов, конечно, не решает проблемы достижения справедливости и направленного изменения в обществе. Но оно обеспечивает не произвольные, а твердые, необходимые основания для формулировки практических целей. Повседневные же задачи борьбы за справедливость и хорошее управление останутся вечной ответственностью каждого лица, каждой группы и каждого поколения ввиду ненадежного равновесия в обществе «Разума и Неразумия». Гинсберга интересовало становление способности человечества контролировать направление собственных социальных изменений, делать свою историю, интересовало постепенное развитие взаимосвязей между обществами, ведущее к «единству человечества». Эффективнейшим инструментом самопознания и продвижения последнего к справедливому обществу является право, в том числе рост силы международного права, имеющего главной целью предотвращение войны.

Называя себя «умеренным оптимистом» и «реалистическим пессимистом», Гинсберг намного больше Хобхауса занимался такими социально-

психологическими проявлениями «неразумия», чреватými войной, как национализм, антисемитизм, классовые и расовые конфликты, и сам проводил прикладные исследования (например, в 1929 г. — известное исследование социальной мобильности в Великобритании).

Другим продолжением «спенсеровских» по духу традиций в предвоенные годы был антропологический функционализм. Социологическое отделение в ЛШЭ всегда отличалось универсальностью и широтой интересов, тесными связями с социальной антропологией (в ЛШЭ работали выдающиеся антропологи Б. Малиновский, Р. Ферг, Э. Лич и др.), экономикой, демографией, историей и науками политического и административно-управленческого цикла. Главы двух враждовавших школ функционализма Б. Малиновский (1884–1942) и А. Радклифф-Браун (1881–1955) все-таки сходились в установке на изучение примитивных культур и обществ в их целостности, в особом, неповторимом своеобразии и единстве. Отсюда отрицание и ревизия ими одной из тенденций эволюционизма XIX в. трактовать обычаи и практики примитивных и колониальных народов просто как ранние стадии эволюции, которая ведет к относительно высшему состоянию общества метрополии. Но несмотря на провозглашенный полный разрыв с эволюционизмом, функционализм лишь акцентировал одну из его сторон — а именно ту, что говорит об органической, «системной» взаимосвязи анализируемого множества «культурных характеристик» или «социальных переменных» (к тому же обычно одних и тех же: размеры общества, специализация, социальная организация в главных институтах и системах родства и т. д.). Функционалисты акцентировали совместное упорядоченное сосуществование взятых переменных, старые эволюционисты сосредоточивались на их совместном неслучайном изменении или развитии, но каждая из этих схем скрыто или явно подражает другую.

Прямых продолжателей линии Хобхауса–Гинсберга в академической английской социологии далее не нашлось, если не считать ценителя их наследия, упомянутого уже историка мысли Р. Флетчера (его перу принадлежит «Становление социологии» (1971) в трех томах; «Огюст Конт и становление социологии» (1966) и другие работы). Стоит отметить, что в популярной работе по общей социологии Джона Рекса «Ключевые проблемы социологической теории» (1961) имена Хобхауса и Гинсберга не появляются, хотя подробно обсуждаются взгляды Малиновского и Радклифф-Брауна. Причина этого — новые «американизированные» тенденции в понимании и способах преподавания социологии со второй половины 1940-х гг. Американцы (Т. Парсонс, Р. Мертон и другие) перенесли методы антропологического функционализма в социологию «современного общества» и вернули их британцам в переработанном виде.

### 3. ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА

Становление новой социологии первоначально вообще сопровождалось утратой преемственности со старыми национальными традициями. Связи с ними осознавались и восстанавливались лишь постепенно, по мере созревания сообщества социологов. Молодые социологи нередко пред-

почитали работать кустарно и хуже, но самостоятельно, чем заново открывать «стариков», не сумевших избавиться от смешения философии и «социальной науки», фактов и ценностей и пр. С первых шагов послевоенную английскую социологию отличала множественность и разнородность теорий, методов, объектов и проблематики исследований. В этой социологии образовалось много течений, но не стало определенных «школ», как их понимали в XIX в. Однако в короткой ее истории можно выделить отдельные теоретические работы-вехи и условные периоды, когда преобладали какие-то общие установки, ориентации, темы под влиянием той или иной отечественной или американской «моды».

В первые послевоенные десятилетия английские социологи увлекались эмпиризмом, внешним подражанием американским методам сбора и обработки данных. Но существовала, по Дж. Рексу, еще одна истинно английская довоенная традиция, где теоретическое и эмпирическое почти невозможно отделить друг от друга, — это исследования по проблеме социального равенства и неравенства в связи с осмыслением эволюции «государства благосостояния». В ЛШЭ, обязанной своим происхождением фабианству, всегда интересовались вопросом, как социал-демократическому государству лучше обеспечить относительное равенство доходов, образовательных возможностей и доступа ко всему спектру профессий для детей рабочих и средних классов. Теорию «государства благосостояния» даже в военные годы развивал патрон школы Уильям Беверидж (книга «Социальное обеспечение и вспомогательные службы», 1942; «Полная занятость в свободном обществе», 1944). С демографической точки зрения эти темы лет тридцать разрабатывал Дэвид Гласе (итоговая книга «Социальная мобильность в Британии», 1956). В 1950-е гг. с этим социал-реформистским уклоном публиковались работы по проблемам населения, семейной жизни, городского планирования, продолжались традиционные обследования бедноты и системы социального обслуживания. Но в эти же годы появился один из самых международно признанных теоретических трудов послевоенной английской социологии «Гражданство и социальный класс» (1949) А. Маршалла. Об этой работе надо сказать особо.

А. Маршалл (1893–1981), перенесший социологию из ЛШЭ в долго не признававший ее старейший Кембриджский университет, известен многими трудами по социологии, социально-экономической истории, демографии и социальной политике. С идеями названного исследования связано целое направление в теории социальной стратификации, в анализе классовой структуры и динамики позднекапиталистических обществ, — направление, сохраняющее преемственность с классиками социологии. На материале английской истории и эмпирических исследований Маршалл показал, что идея гражданства, развитие гражданских прав образует тот исторический контекст, в котором только и можно правильно понять классовые отношения и статусные различия. Он дал «одно из лучших» (по оценке Э. Гидденса) объяснений причин, по которым на Западе не произошло предсказанных Марксом поляризации классов и революционного взрыва. По Маршаллу, гражданско-правовая и классовая системы капиталистического общества свыше ста лет «были в состоянии войны» [5, 84] и это поддерживало в нем постоянную внутреннюю напряженность. Но классовые конфликты, характерные для XIX в., прогрессивно смягчались

и легализовались последовательным развитием трех типов «гражданских прав»: гражданского права, политических и социальных прав граждан.

«Гражданское гражданство» требует формального равенства всех перед законом, какого-то минимума прав, обеспечивающих всеобщий доступ к судебной-юридической системе. Политические права в первую очередь относятся ко всеобщему избирательному праву и праву образовывать политические партии. Социальные права — это права на коллективные договоры в промышленности и на социальное страхование, выплаты по безработице, по болезни и т. п. Каждый тип гражданских прав служил опорой для развития других типов. Равенство перед законом было провозглашено в самом начале «капиталистической» эпохи, и без этого (то есть при сохранении жесткого традиционного разделения прав и обязанностей по сословиям) было бы невозможно расширение на всех граждан прав участия в политической жизни. Маршалл проследил, как исторически совершался переход от сословного общества, в котором «гражданские», политические и социальные привилегии были сплетены в одно целое и где не было «принципа равенства граждан, противопоставляемого принципу неравенства классов», к системе, где неравенство в политической власти и благосостоянии стало определяться результатами свободной конкуренции между классами, одновременно и чрезвычайно неравными по экономическим возможностям, и формально равными по гражданским правам. В свою очередь, неизбежно последовало расширение политических прав сыграло главную роль в ограничении власти капиталистического класса, позволив рабочим создавать свои политические организации и представлять свои интересы в парламентах. Борьба в политике и в экономике разделилась, и возросшая политическая сила рабочего класса в сочетании с равенством прав помогла ему добиться, так сказать, «вторичного гражданства» в индустриальной системе хозяйства дополнительно к системе политического гражданства, создать для защиты своих экономических интересов политические институты «государства благосостояния» и т. п.

В конце концов общегражданская правовая система нейтрализовала (хотя и не до конца) раскалывающие общество системы классовой солидарности, обеспечив минимальное равенство условий всем гражданам при любых статусных укладах в странах современного капитализма. В структуре и идеологии гражданства заключается главный источник какой бы то ни было солидарности современных капиталистических обществ. Этим Маршалл ответил на вопрос Э. Дюркгейма об основе «органической солидарности» в современном «промышленном» обществе. Объяснением взаимодействия между различными элементами гражданства и классовой структуры Маршалл дополнил классические концепции классового конфликта и аномии у К. Маркса, М. Вебера и Э. Дюркгейма.

Влияние Маршалла чувствуется в многочисленных теоретических работах его коллеги по Кембриджу Энтони Гидденса (о них ниже) и у американских и немецких теоретиков Р. Бендикса («Становление нации и гражданство», 1964), Т. Парсонса, Р. Дарендорфа и др.

Роль же «всеобъемлющей» теории и поставщика словаря даже для социологов-эмпириков, желавших перейти от разрозненных измерений социокультурных черт в виде статистических множеств к исследованию

их системного поведения, играла в 1950-е и в начале 1960-х гг. теория социальных систем американца Т. Парсонса, несмотря на первые, еще редкие тогда критические выступления Д. Локвуда, Дж. Рекса и др. В дальнейшем и теория систем, и эмпиризм теряли все больше сторонников, отчасти под влиянием аналогичных умонастроений в США, но также и под влиянием сильной национальной традиции, рассматривающей социологию как форму социальной философии (в середине 1960-х гг. появились критичные по отношению к эмпиризму работы по философским проблемам общественных наук П. Уинча, Д. Брэйбука, Р. Раднера, А. Сикурела и др.). Кульминации этот процесс достиг в первой половине 1970-х гг. Самые крайние реакции на эмпиризм, естественно-научные, системные и неопозитивистские подходы в социологии проявились преимущественно в «верхних этажах» теоретической социологии, в области осмысления мировоззренческих, философско-методологических предпосылок ее как науки.

Теоретический разброд в английской, как и во всей западной социологии, особенно усилился после известных политических акций студенчества в 1968 г., на долгие годы оставивших след в жизни британских университетов. Этот процесс с некоторым опозданием отразил также разгул субъективизма и психологизма в социологии США. Председатель Британской социологической ассоциации в 1969–1971 гг. Дж. Рекс характеризовал положение, сложившееся в американской социологии после потери теорией систем, функционализмом и эмпиризмом роли неоспоримых основ социологической науки, как такое, когда «любой свободен высказать все, что ему нравится, и назвать это социологией», а внутреннее состояние тогдашней английской социологии как «войну религий» [7]. В этой войне (после 1968) характерно распространение крайних точек зрения, полемически заостренных и догматически упрощенных, при отказе от компромиссных синтезирующих рассуждений.

1970-е гг., как почти везде на Западе, отмечены в английской социологии волной радикализации, напором психологизма и «нового гуманизма». В русле этого движения нашли последователей американские антициентистские «новинки» — этнометодология, драматургия И. Гофмана, феноменологическая социология и пр. Хуже укоренился на английской почве символический интеракционизм — чисто американская традиция, идущая от Ч. Кули и Дж. Мида. Но, пожалуй, самым влиятельным гуманитарно-радикальным обоснованием социологии в эти годы стал «неомарксизм» Франкфуртской школы. Говоря словами одного из рецензентов на первые английские издания по истории этой школы, «критическая теория» франкфуртцев «вырвалась из гетто радикальных периодических изданий Британии и Америки» и вошла в число «главных течений социологии». Авторитету этой версии неомарксизма способствовало, если воспользоваться формулировками упомянутого рецензента, то, что Франкфуртская школа, внедрившая «диалектическую мысль в недиалектические умы англосаксов», явилась в ореоле «единственной академической истинно марксистской школы, естественно развившейся в условиях академической свободы, в „лабораторных” условиях свободы». Английская леворадикальная социология не внесла принципиально нового в международные вариации на франкфуртские темы. Как ее особенность Дж. Рекс отметил

в 1974 г. разве что «невероятно вульгарный этномарксизм среди теоретически безграмотной молодежи». Неомарксистские дискуссии преобладали еще на ежегодной конференции Британской социологической ассоциации в апреле 1978 г., по адресу которой Дж. Рекс даже высказался в том смысле, что неясно, то ли это «профессиональная ассоциация, то ли разновидность идеологической группы давления» [7]. Затем неомарксистская волна пошла на убыль.

Начало 1980-х гг. принесло контрнаступление более консервативных настроений. В социологической периодике снова заговорили о необходимости формирования более зрелого сообщества социологов, о воспитании у изучающих социологию традиционных академических добродетелей критического сознания и терпимости, а также потребности в серьезном знании истории, разных социологических парадигм и т. п. Опять пошли в ход такие слова, как «познание, истина, наука», применительно к социологии после наводнения радикальных, идеологических, узко политических и утилитарных ее толкований, требовавших от социологии прямой «пропаганды действием» и судивших о ее течениях лишь по способности к радикальным общественным преобразованиям.

Но эпоха «бури и натиска» гуманистических ориентации с их повышенной тягой к философской рефлексии и введению познавательных параметров в систему социологических понятий («сознания» — в феноменологической социологии, «показательности» — в этнометодологии, и очень широко — «языка», «кода», «информации» и т. п.) для осмысления микроскопических ситуаций повседневной социальной жизни индивида — эта эпоха не прошла бесследно и для более «конструктивных» теоретиков, старавшихся при всех новых веяниях удержать наследие и исторический масштаб социологической классики. Это очевидно в обильном творчестве Энтони Гидденса, которого многие считают наиболее значительным теоретиком в английской социологии последних двух десятилетий. Начав с разборов «большой» социологической классики (Маркса, Дюркгейма, Вебера) и современных зарубежных теоретиков индустриального общества в работах «Классовая структура развитых обществ» (1976), «Капитализм и современная социальная теория» (1979), «Современная критика исторического материализма» в двух томах (1981, 1985), через их дополнение анализом разновидностей функционализма и структурализма, «критической теории», герменевтики и пр. (книги: «Новые правила социологического метода», 1976); «Исследования по социальной и политической теории», 1977 и др.), Гидденс перешел к построению собственной теории («Центральные проблемы в социальной теории: действие, структура и противоречие в социальном анализе», 1979; «Строение общества. Очерк теории структуризации», 1984 и др.).

«Теория структуризации» Гидденса предлагает некоторый обновленный взгляд «на отношение между социальным действием и структурой, отличный и от волюнтаристских представлений о «свободном дейстителе», якобы могущем «творить» новую социальную действительность, и от позитивистского (в частности, дюркгеймовского) преувеличения «принудительной силы» общественных отношений в определении хода человеческого действия. Основные понятия, выражающие новый подход, — это «двойственность (дуальность) структуры» и двойная герменевтика.



Суть первого понятия в том, что субъект (социальный действователь) и объект (общество, общественные отношения и институты) надо рассматривать и как причину, и как следствие, взаимно формирующие друг друга в социальной практике. Структуры не существуют сами по себе, но непрерывно «воспроизводятся», когда люди «производят» свои социальные действия, внося в мир вольные и невольные изменения. В свою очередь, для социального действия структура выступает и как его принудительный ограничитель, и как условие, «позволяющее» действие, обеспечивающее его материальными «распределительными» («аллокативными») и нематериальными «властно-авторитетными» средствами («ресурсами»). В общественной жизни «структуры» проявляют себя как комплекс норм («порождающих правил») и ресурсов, не существующий до и отдельно от непрерывных процессов «структуриации». Структуриация — это производство и воспроизводство системы общественных отношений благодаря применению в ходе социального взаимодействия порождающих правил и ресурсов.

«Двойная герменевтика» обусловлена тем особым свойством общественных наук (в отличие от естественных), которое появляется благодаря широкому распространению «рефлексии» об объектах социальных исследований не только у профессиональных обществоведов, но и у рядовых членов общества, «обывателей». Из-за указанного свойства «социологические толкования» могут активно использоваться в жизненной практике (подвергаясь различным «вторичным» толкованиям и перетолкованиям) самими объектами исследования, «рядовыми» гражданами. Такая возможность порождается способностью всех «социабельных» индивидов «рефлексивно отслеживать» свои действия и по результатам, и по реакции окружающих, и по обстоятельствам (ситуации) действия. При этом «рационализация действия» (то есть осознанные причины, которыми действователь объясняет свои действия) и «мотивация действия» (то есть подлинные потребности, побуждающие индивида действовать определенным образом) — разные вещи.

Несмотря на внушительный объем и достаточно почтенный срок от начала писаний Гидденса, влияние его теорий на «практических» социологов остается малозаметным. У Гидденса ярко проявляется общая тенденция теоретиков 1980-х гг. к философизации социологии. Источники многих его идей — философы: французский — Жак Деррида, немецкие — М. Хайдеггер и Ю. Хабермас и другие. Дж. Рекс в 1983 г. отметил как положительное качество Гидденса-теоретика его открытость к идеям структурализма, включая марксистский структурализм, но оценил его общий результат и трактовку структуры как «поразительно близкую» к этнометодологии, самый язык которой эклектически смешан с языком структурализма [7, 1005].

В сходном направлении развивают в последние годы философскую социальную онтологию английские «трансцендентальные реалисты» Уильям Аутвейт, Рой Бхаскар и др. (см.: [1, 141–188, 219–240]). Они тоже доказывают, что человеческое действие всегда использует ту или иную социальную форму, требует для реального воплощения средств и ресурсов, поставляемых обществом. Социальные структуры в принципе следует понимать как предоставляющие средства и возможности, «позволяющие» действовать, а не просто как принудительные образования. Но общество —

не продукт жизнедеятельности отдельных субъектов. По отношению к ним оно всегда предстает уже «готовым», созданным. Общества как сложные реальные объекты несводимы к людям, их составляющим. Между обществом и людьми существует «онтологический разрыв», они относятся к разным слоям реальности, к разным рядам явлений. Ни общество, ни человеческое действие нельзя объяснить или вывести друг из друга.

С другой стороны, хотя по отношению к индивидам общество выступает как то, что не они сделали, само оно существует только благодаря их деятельности. Между двумя рядами явлений существует особый способ связи — «преобразование (трансформация)», разъясняемый Бхаскаром, как ранее и Гидденсом, с помощью Марксовых категорий «воспроизводство» и «производство». Люди в своей сознательной деятельности большей частью бессознательно воспроизводят (и попутно преобразуют) структуры, обуславливающие их самостоятельные «производства» (понимаемые вместе с категорией «ресурсы» обобщенно, чтобы охватить не только экономические, но и политические и познавательно-культурные измерения). Свообразие «структур» как элементов бытия в том, что они не сводятся к своим результатам, но представлены только в них. То, что «общество есть и вездесущее условие (материальная причина), и непрерывно воспроизводимый результат человеческой деятельности» [1, 228], и выражает гидденсовскую двойственность структуры. Двойственна и человеческая практика, которая «выступает и как... сознательное производство, и как (в норме бессознательное) воспроизводство условий производства, т. е. общества» [там же].

«Преобразовательная модель социальной деятельности» дополняется «реляционной» концепцией предмета социальных наук, согласно которой практика действующих индивидов осуществляется внутри совокупности структурно (и значит, «отношенчески», реляционно) определенных позиций (мест, функций, обязанностей, прав, норм и т. д.). Система позиций — посредник, связывающий действие со структурой. «Реляционная концепция» опять же восходит к подходу Маркса, яснее всего выраженному в «Экономических рукописях 1857–1859 годов», согласно которому «общество не состоит из индивидов (и групп, добавляет Бхаскар), а есть сумма тех связей и отношений, в которых эти индивиды (по Бхаскару, и группы) находятся друг к другу». В общественной жизни ни индивиды, ни группы не удовлетворяют требованию непрерывности существования. Только отношения непрерывны, устойчивы и передаваемы от поколения к поколению.

Для «практиков» достоинства реляционной концепции вытекают, в основном, из ее связей с социологической «классикой». Так, она позволяет сосредоточиться на «распределении структурных условий действия», в частности, производительных сил и ресурсов между людьми и группами, привязанными к определенным функциям и ролям в системе разделения труда. При этом она помогает прикинуть и вероятное соотношение интересов и конфликтов внутри общества, вытекающее из распределения ресурсов, и, следовательно, вероятность преобразований в социальной структуре, зависящую от соотношения групповых интересов. Но все же «трансцендентальный реализм» — больше философия социального познания, чем социология в обычном понимании.

Собственно доморощенную «английскую» базу для вмешательства философии в социологические дебаты создал еще Л. Витгенштейн своим переходом от взглядов «Логико-философского трактата» с его культом одного-единственного «научного» языка к более поздним понятиям «языковых игр», «форм жизни» и т. п. В последние годы похожие изменения в характере социологических рассуждений предельно широко обобщают в противопоставлении стилей «модернистской» и «постмодернистской» культурной эпохи. Англо-польский социолог Зигмунд Бауман (покинувший Польшу при В. Гомулке) конкретизирует природу этих изменений и новые взаимоотношения философии и социологии как вытеснение «законодательного» философского разума, стремившегося к общезначимым, универсальным обоснованиям истины, разумом «интерпретативным», толковательным, диалогическим, берущим на себя роль «толмача» между равноправными культурами или посредника в налаживании «коммуникации» (сообщения) между разными, тоже равноправными, коллективно созданными познавательными системами.

Вся классическая социальная мысль была «законодательной». Она строго разделяла «профессиональное» и «мирское» знание, самоутверждалась как критика здравого смысла, полагая себя поставщиком высших истин о реальных источниках и причинах человеческого поведения в обществе. Значимость всякого доморощенного, стихийного, выросшего на житейском опыте самопознания отрицалась.

«Толковательный» диалогический разум наделяет всех равными правами с «профессиональными определителями истины» и освобождает обывателя из-под их принудительной опеки. Признается как факт релятивизация социологического разума. Если «законодательный разум» стремился в первую очередь очистить область философских истин от социально и культурно навеянных представлений (которые, кстати, суть предмет социологии), то «толковательный разум» сосредоточивается на доступных именно социологическому исследованию коллективных, «общинных» основах знания, на противопоставляемой «законодательной» рациональности и эффективности «силе общинности», ее способности стихийно выбирать добро. Главной задачей философии провозглашаются «коммуникационные» услуги. При такой постановке задач социология поглощает традиционные интересы философии и делает исследование основ знания вообще, и особенно — практически пригодного знания, своим основным занятием.

Все вышесказанное представляет собой предельно обобщенную, субъективную и потому очень условную схему идейной «смены вех» в общеметодологической и мировоззренческой сфере академической ветви английской социологии. Текущая социологическая продукция и исследования часто не вмещаются в какую-нибудь одну рубрику. В реальной исследовательской практике достаточно большое место занимают сравнительно-исторические работы. Распространены труды на границе между социологией и историей. Процветает особая категория разнообразных «исследований британского общества», где отражаются все темы, от анализа политических партий и массовых движений до состояния школ и религиозных сект, и комплексно используются данные и методы всех общественных наук, государственной статистики, экономико-социологических,

демографических обследований и т. п. Но эти исследования нельзя отнести к какому-то отдельному социологическому направлению, поскольку они объединяют теоретические фрагменты и методы социологии, имея в виду определенный социальный заказ и задачу.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Социо-Логос. Вып. 1. М., 1991.
2. *Abrams P.* The origins of British sociology (1834–1914). Chicago; London, 1968.
3. *Bulmer M.* (ed.) Essays on the history of British sociological research. Cambridge, 1985.
4. *Kent R.A.* A history of British empirical sociology. Aldershot, 1981.
5. *Marshall T.H.* Class, citizenship and social development. Westport, 1973.
6. *Owen J.T.* L.T. Hobhouse, sociologist. Columbus, 1974.
7. *Rex J.* British sociology 1969–80 // *Social Forces*. 1983. Vol. 61. №4.
8. The science of society and the unity of mankind. A memorial volume for Morris Ginsberg / Ed. by R. Fletcher. L., 1974.

## К. ПОППЕР И КРИТИКА «ИСТОРИЦИЗМА»

Карл Раймунд Поппер (Popper) родился (1902) в семье венского профессора С. Поппера. Мальчиком он был отдан родителями в ученики к краснодеревщику, и общение с этим весьма «философическим» человеком во многом предопределило выбор его будущей профессии. В 1918 г. Поппер поступил в Венский университет и здесь на какое-то время (впрочем, весьма незначительное) увлекся социалистическим движением и марксизмом. По собственному признанию Поппера, он был марксистом до 17 лет. В 1919 г. в течение двух или трех месяцев он даже считал себя коммунистом<sup>1</sup> [3, 33]. Но вскоре он стал свидетелем столкновения рабочей демонстрации, организованной социал-демократами и коммунистами, с венской полицией, в результате которой погибло несколько рабочих. Ответственными за эту гибель Поппер счел организаторов демонстрации и навсегда порвал свои отношения с марксистами и коммунистами.

Это трагическое событие (воспетое, кстати сказать, «нашим» Маяковским: «Молодцы венцы: буржуям под зад поддают коленцем!») послужило и первым импульсом для размышлений Поппера в направлении критики «историцизма». В «исторической справке» к «Нищете историцизма» он пишет: «Основной тезис данной книги — что вера в историческую необходимость является явным предрассудком и что невозможно предсказать ход человеческой истории научными или какими-либо иными рациональными методами — восходит еще к зиме 1919–1920 годов» [2, IV].

В 1938 г. Гитлер осуществил свой «аншлюс» Австрии. Поппер эмигрировал и с 1945 г. поселился в Англии, где опубликованы его основные научные труды.

Для социологии первостепенное значение имеют уже упомянутые «Нищета историцизма» (1944–1945) и «Открытое общество и его враги» (1945). Обе книги, по сути дела, представляют собой единое целое. Но если в «Нищете историцизма» основной тезис Поппера доказывается теоретически, то в «Открытом обществе» он обосновывается на историческом материале. Как пишет сам Поппер во введении к «Открытому обществу», книга составлена «из заметок», которые он делал, собирая материал к «Нищете историцизма» [1, т. 1, 3].

Название «Нищета историцизма» восходит к названию работы К. Маркса «Нищета философии», в котором, в свою очередь, обыгрывается прудоновская «Философия нищеты».

Итак, основная задача К. Поппера — показать ненаучность и ложность «историцизма», под которым он понимает «такой подход к социальным наукам, который предполагает, что историческое предвидение составляет их главную цель и... что эта цель может быть достигнута путем раскры-

---

<sup>1</sup> После окончания университета К. Поппер некоторое время работал школьным учителем. В начале 1930-х гг. он сближается с участниками Венского кружка (формально не будучи его членом) и приступает к самостоятельным научным исследованиям.

тия „ритмов” или „моделей”, „законов” или „тенденций”, лежащих в основе эволюции истории» [2, 3].

Все доктрины историцизма Поппер подразделяет на два больших клана: антинатуралистические и пронатуралистические — в зависимости от того, как решается в них вопрос о применимости методов физики в области социальных наук.

Правда, в основе историцизма, по Попперу, лежит антинатурализм с присущим ему «холизмом», т. е. подходом к обществу как целостной системе, превышающей простую сумму составляющих ее частей, но тем не менее в его рамках существует мощное пронатуралистическое направление, некоторые позиции которого разделяет и сам Поппер. В частности, это убеждение в наличии в методах физических и социальных наук некоего общего элемента. «Историцисты, — писал Поппер, — как правило, придерживаются точки зрения (которую я полностью разделяю), что социология, как и физика, — это отрасль знания, которая стремится быть одновременно и *теоретической*, и *эмпирической*» [2, 35].

Здесь нужно сделать одну весьма существенную оговорку. «Антиисторицизм» К. Поппера ни в коем случае не означает «антиисторицизма» и вообще какого-либо посягательства на историю как науку. «Для историциста социология — это теоретическая история» [2, 41]. Критика Поппера направлена не на отрицание каких-либо вообще исторических закономерностей, а лишь против «глобальных законов развития истории», которые связывают последовательность исторического развития.

Это нисколько не противоречит его собственному «пронатурализму» (Поппер исходил из предпосылки о существенном единстве естественнонаучных и социологических методов познания), поскольку и в области истории развития науки Поппер выступает как «антиисторицист».

Его центральный тезис звучит так: «Используя рациональные или научные методы, мы не можем предсказать, каким будет рост научного знания» [2, V].

Отсюда Поппер вывел важные практические следствия. Прежде всего отрицается возможность социального широкомасштабного планирования. Перефразируя К. Маркса, Поппер утверждал: «Историцист может лишь объяснить общественное развитие и различными способами помогать ему; однако суть дела состоит в том, что никто не может изменить его» [2, 51–52].

«Может ли быть закон эволюции? — спрашивал К. Поппер и отвечал: — Я полагаю, что ответом на этот вопрос должно быть „нет” и искать закон „неизменного порядка” эволюции в рамках научного метода нельзя ни в биологии, ни в социологии. Мои доводы очень просты. Эволюция жизни на Земле, или эволюция человеческого общества, представляет собой уникальный исторический процесс. Мы можем допустить, что такой процесс протекает в соответствии с разного рода каузальными законами, например законами механики, химическими законами, законами наследственности, законами естественного отбора и т. д. Однако описание этого процесса не есть закон, а лишь своеобразное историческое утверждение. Всеобщие законы формируют положения относительно какого-либо неизменного порядка... т. е. относительно всех процессов определенного рода... Но мы не можем рассчитывать ни на проверку всеобщей гипотезы, ни на то, чтобы найти естественный закон, применимый для науки, если

вечно будем ограничиваться наблюдением одного уникального процесса. Наблюдение одного уникального процесса не поможет нам также предвидеть его будущее развитие» [2, 107–108].

Исходя из этих положений, Поппер резко противопоставлял «утопической социальной инженерии» принципы демократических социальных преобразований, которые он называл неудобопереводимым на русский язык термином «*piecemeal engineering*» (что можно перевести как «поэлементная, поштучная инженерия»).

Основная интенция всех этих идей Поппера направлена против тоталитарного общества. По утверждению Поппера, наша цивилизация еще не оправилась от родового шока, полученного в результате перехода от родового (племенного) или «закрытого общества», общества, всецело подчиненного магическим силам, к «открытому обществу», высвобождающему критические способности человека. Сами термины Поппер заимствовал у А. Бергсона, у которого в книге «Два источника морали и религии» они означают два типа религиозности (см.: [1, т. 1, 202–203]). Поппер наполнил их социологическим содержанием и интегрировал в этих терминах, по сути дела, всю историю европейской цивилизации и мысли. Упомянутый уже «родовой шок» является, по словам Поппера, «одним из факторов, что способствовали появлению реакционных движений, пытавшихся и пытающихся до сих пор разрушить цивилизацию и вернуть человечество к родовым порядкам. Феномен, известный ныне под названием тоталитаризма, является одним из этих движений, которые так же стары или, наоборот, так же молоды, как и сама наша цивилизация» [1, т. 1, 1].

Изучение проблемы научного метода привело Поппера к выводу, что все так называемые «исторические пророчества» лежат «по ту сторону» научного метода. Они значат не больше, чем «безответственные предсказания кудесника» [1, т. 1, 2].

В «Открытом обществе» Поппер дал подробный анализ социально-философских систем трех таких «кудесников»: Платона, Гегеля и Маркса. Соответственно, 1-й том книги имеет подзаголовок «Чары Платона», второй — «Ажепророки: Гегель и Маркс».

Повторяя здесь основные аргументы против историцизма, сформулированные в «Нищете историцизма», Поппер внес немало нового в понимание государства, общества и принципов их развития. Нетрудно установать его связь с традиционным английским либерализмом, в частности с идеями Дж. Локка. Вот одно очень характерное и вполне «локковское» рассуждение Поппера: «Чего мы требуем от государства? <...> Ответом проповедника гуманности будет: Я требую охраны моей собственной свободы и свободы других... Я вполне согласен видеть свою собственную свободу действий несколько урезанной государством при условии, что я могу получить защиту той свободы, которая у меня остается, т. к. я знаю, что некоторые ограничения моей свободы необходимы... Но я требую, чтобы не забывалось основное назначение государства; я имею в виду охрану той свободы, которая не приносит вреда другим гражданам. Таким образом, я требую, чтобы государство ограничило свободу граждан как можно равномернее и не больше того, что необходимо для достижения равного ограничения свободы. Нечто подобное этому будет требованием проповедника гуманности, равенства и индивидуализма. Это — требова-

ние, которое позволяет социальному психологу подходить к политическим проблемам разумно, т. е. с точки зрения ясной и вполне определенной цели» [1, т. 1, 109–110].

Точку зрения всех трех «кудесников» Поппер называл «методологическим эссенциализмом», который считает, что «раскрыть» и описать истинную природу вещей, т. е. их скрытую реальность или сущность, и есть задача чистого познания или «науки» [1, т. 1, 31]. «Для того, чтобы стать реальной или действительной, — считал, по Попперу, „эссенциалист“, — сущность должна раскрыть себя в изменении» [1, т. 2, 8].

Свою точку зрения на государство Поппер называет «протекционизмом». «Протекционистская теория государства» — это теория не о происхождении государства и не о его «сущности», ничего не говорит эта теория и о том, каким образом в действительности функционируют государства. Она формулирует политическое *требование, предложение* принять определенную политику, и это требование, и это предложение состоят в том, что государство должно охранять свободу, и что все, что государство делает с этой целью, должно демократически контролироваться. Истории государства должны всегда переводиться, так сказать, на язык требований или предложений для политического действия, прежде чем их можно серьезно обсуждать. В противном случае неизбежны бесконечные дискуссии чисто словесного характера (см.: [1, т. 2, 111–112]).

Основное противоречие Поппера с «историцизмом» в области социальной политики можно сформулировать так: не радикальное преобразование общества («до основанья, а затем...»), а медленная и осторожная реформация социальных институтов.

Конечно, многие идеи Поппера, изложенные здесь, став уже классическими и получив широкое бытование на Западе, потеряли свой блеск и как бы «стерлись», сделавшись достоянием второ- и даже третьеисточников. Тем не менее отечественный читатель обратит, конечно, внимание на то, что многие идеи Поппера удивительно созвучны некоторым идеям, развивавшимся в русской религиозно-идеалистической философии начала XX в. Путь Поппера-мыслителя чем-то напоминал типичный в России путь от «марксизма к идеализму». О невозможности предсказания будущего много писал С.Н. Булгаков в «Философии хозяйства» и других своих сочинениях. С критикой утопизма и «утопической социальной инженерии» выступали П.И. Новгородцев («Об общественном идеале»), С.А. Франк («Ересь утопизма»).

Общий взгляд Поппера на общество напоминает в чем-то бердяевский проект «апофатической социологии». Но это — тема отдельного исследования.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Поппер К.* Открытое общество и его враги. Т. 1–2. М., 1992.
2. *Поппер К.* Нищета историцизма. М., 1993.
3. *Popper K.R.* Unended Quest. Glasgow, 1976.



---

Раздел IV

**СОЦИОЛОГИЯ ВО ФРАНЦИИ**  
**(1920–1960-е ГОДЫ)**

---



## ДВА ПЕРИОДА В РАЗВИТИИ ФРАНЦУЗСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

### I. ФРАНЦУЗСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ДО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

С конца XIX в. и вплоть до 1930-х гг. XX столетия во французской социологии существовало четыре основных, весьма резко выраженных направления, непрерывно полемизировавших между собой. Школа «социальной науки» (Э. Демолен, А. де Турвиль, П. Бюро и другие), издававшая с 1886 г. журнал под тем же названием, продолжала традицию Ф. Ле Пле (1806–1882). Представители этой школы, сохранив в целом консервативную ориентацию своего духовного отца, акцент на роли патриархальных институтов, религии, семьи, географического окружения, стремились несколько расширить сферу социологии и выйти за рамки описания «трех китов» социологии Ле Пле (работа, географическая среда, семья). Признавая вслед за своим учителем преобладающее значение монографического метода, они стремились вместе с тем сделать социальную науку более объясняющей, уменьшив разрыв между подробным описанием отдельных феноменов и регионов, с одной стороны, и абстрактными конструкциями в духе Ле Пле — с другой. Однако, несмотря на эти устремления, описание отдельных случаев в работах этой школы продолжало превалировать над объяснением, а идея «трех китов» по-прежнему так или иначе играла роль руководящего принципа. У П. Бюро этот принцип приобрел лишь несколько трансформированный вид: последним элементом «организующей троицы» (взамен семьи) он провозгласил «представление о жизни», т. е. мировоззрение, господствующее в обществе в определенный период [3, 135–158].

Другое направление представляли сотрудники «Международного журнала социологии» и члены «Международного института социологии», основанных в 1893 г. Рене Борисом. Это направление отличалось чрезвычайной пестротой, включая в себя представителей различных стран и ориентаций, в т. ч. таких известных социологов, как Г. Тард, Э. Ферри, А. Фулье, А. Шеффле, М. Ковалевский и другие. В отличие от предыдущего направления группа «Международного журнала социологии» не стремилась следовать определенной социологической доктрине, призывая представителей всех направлений участвовать в журнале. «...Мы ставим своей целью не следовать никакой исключительной догматической линии...» — говорилось в программном заявлении редакции журнала [5].

Несмотря на отмеченную неоднородность указанного направления, в нем доминировали две теоретические тенденции: органицизм, уподобляв-

ший общество биологическому организму (Р. Вормс и другие), и психологизм Г. Тарда, согласно которому социальные процессы тождественны интериндивидуальным, а социология совпадает с «интерпсихологией», отличной от «обычной» (индивидуальной) психологии [2]. Следует отметить постепенную эволюцию органицизма в направлении психологической интерпретации общества.

Третье направление было представлено «католическими» социологами (О. Абер, С. Деплуаж, Ж. Легран и др.), следовавшими идеям томизма.

Наконец, четвертое направление — это школа, основанная Эмилем Дюркгеймом (1858–1917) и вошедшая в историю социологии под названием «Французская социологическая школа». Школа Дюркгейма группировалась вокруг основанного им в 1898 г. журнала «Социологический ежегодник». Наиболее видными представителями Французской социологической школы были М. Мосс, С. Бугле, Ж. Дави, Ф. Симиан, П. Фоконне. Наряду с социологами в школе сотрудничали представители смежных с социологией дисциплин.

Объединяющей доктриной для представителей школы явился «социологизм» Дюркгейма, рассматривавшего социальную реальность как в корне отличную от биологической и индивидуально-психической реальности, а социологию — как специфическую науку, не сводимую ни к какой другой<sup>1</sup>.

В годы Первой мировой войны школа испытала серьезный кризис. На фронтах войны погибли многие молодые дюркгеймианцы. В 1917 г. скончался основатель школы. Но в начале 1920-х гг. ближайший ученик и сотрудник Дюркгейма Марсель Мосс предпринимал усилия по восстановлению дюркгеймовской традиции и новой консолидации. Школа просуществовала до начала Второй мировой войны. Мосс прекратил научную деятельность в 1941 г. в связи с болезнью. Виднейший представитель школы Морис Хальбвакс умер в 1945 г. в Бухенвальде, куда был заключен фашистами за участие в Сопротивлении. После войны оставшиеся в живых дюркгеймианцы работают уже независимо друг от друга, нового пополнения школы в 1930-е гг. не произошло в связи с общим падением престижа «социологизма» во Франции.

Несмотря на резкую критику «социологизма» со стороны других школ, он был доминирующим социологическим направлением во Франции второго периода Третьей республики. Во французской университетской системе институционализация социологии произошла в ее дюркгеймовской версии [4]. В 1920-е гг. социология Дюркгейма была включена в программы подготовки учителей средних и начальных школ. Проблематика и терминология «социологизма» оказывалась в центре теоретических дискуссий.

Факторами доминирующего положения французской социологической школы явились большая в сравнении с другими направлениями работанность теоретических проблем, внимание к конкретным фактам социальной жизни, стремление к комплексному их рассмотрению. Следует также отметить сплоченность школы и личный авторитет Дюркгейма в интеллектуальных кругах, вследствие чего ему удалось привлечь к сотру-

<sup>1</sup> О социологии Дюркгейма см. соответствующую главу данного издания.

ничеству в школе представителей различных социальных наук: экономики, этнографии, лингвистики и т. д.

Важное значение имели и те изменения, которые претерпело французское общество того времени. В своем идеологическом аспекте «социологизм» был направлен, с одной стороны, против реакционных клерикалов, монархистов и националистов (Ш. Моррасса, П. Бурже, М. Барреса), с другой — против революционного марксизма и классовой борьбы. Сторонники «социологизма» стремились к примирению классовых антагонизмов в стране, но не путем сближения с монархическими и клерикальными кругами или установления «сильной власти», а путем реформ, основанных на научных рекомендациях. Либеральная социология дюркгеймовской школы по своему духу и программе теснейшим образом была связана с социализмом реформистского толка, что и объясняет активное участие в школе социалистов, разделявших взгляды Ж. Жореса (М. Мосс, Ф. Симиан, А. Юбер, Р. Герц).

Для Дюркгейма и его последователей социология была научной альтернативой революционного социализма. «Социальный вопрос», т. е. вопрос о неравенстве социальных условий жизни, они рассматривали преимущественно как религиозно-этическую, а не экономико-политическую проблему. «Социальный пацифизм», стремление к установлению социальной солидарности во Франции составляли неотъемлемую часть солидаризма, официальной идеологии Третьей республики.

Следует подчеркнуть почти безраздельное господство позитивистской методологии во французской социологии рассматриваемого периода. Во французской философии науки и социологии нельзя обнаружить характерного для Германии методологического дуализма наук о природе и наук о «духе», на котором настаивали В. Дильтей и неокантианцы баденской школы.

Характерной чертой французской социологии до Второй мировой войны является то, что, несмотря на господство позитивизма и многочисленные призывы сделать социологию точной эмпирической наукой, она (в противоположность американской социологии того же времени, где целиком господствовал эмпиризм) продолжала в целом носить умозрительный характер. Несмотря на то что дюркгеймианцы стремились связать в своих исследованиях теоретический и эмпирический подходы, они также были склонны к спекулятивным рассуждениям; те же эмпирические исследования, которые все же имели место, проводились главным образом в смежных с социологией дисциплинах. За редким исключением (как, например, виднейший представитель школы Дюркгейма Морис Хальбвакс), французские социологи довоенного времени не провели сколько-нибудь значительных эмпирических исследований современного капиталистического общества.

Другая специфическая черта французской социологии довоенного периода — это ее этнологическая и историческая ориентация. Этот момент также отличал ее от современной ей американской социологии: последняя обращалась главным образом к исследованию современного общества. Многие значительные произведения социологов целиком базировались на историческом и этнологическом материале. Некоторые ученые являлись социологами и этнологами или историками одновременно и не отделяли

в своих исследованиях социологическую специальность от этнологической или исторической. Например, глава французской социологической школы после смерти ее основателя Дюркгейма Марсель Мосс был одновременно социологом и этнологом.

Необходимо отметить, однако, что тесная связь и даже слияние социологии и других дисциплин касались не только этнологии и истории, но и лингвистики, экономической науки, правоведения и т. д., что отчасти явилось следствием своеобразного «социологического экспансионизма», присутствовавшего в концепциях представителей французской социологической школы. Поскольку последняя занимала доминирующее положение, постольку третьей специфической чертой французской социологии до начала Второй мировой войны явилась «размытость» границ между социологией и другими социальными науками.

Наконец, еще одной специфической чертой французской социологии довоенного периода явилось резкое разделение на указанные школы и направления, постоянно полемизировавшие между собой по поводу нескольких основных проблем, в частности, проблем причинности в объяснении социальной реальности, взаимоотношений социологии и психологии, «дологического» и «цивилизованного» мышления (проблема, поставленная А. Леви-Брюлем) и некоторых других.

## 2. ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ СОЦИОЛОГИИ ПОСЛЕ 1945 г. НОВЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ

После окончания Второй мировой войны во Франции наблюдается существенная переориентация социологических исследований на организационном, теоретическом и эмпирическом уровнях. До начала Второй мировой войны социологическая проблематика разрабатывалась главным образом в рамках системы высшего образования. После войны значительное развитие получают исследования в рамках специализированных научных учреждений, как вновь созданных, так и существовавших ранее. В основном в 1939 г. Национальном центре научных исследований в 1946 г. был создан Центр социологических исследований.

Созданный в 1938 г. Французский институт общественного мнения (ИФОП) фактически развернул свою деятельность лишь после окончания войны. Институт выполнял исследования по самым различным вопросам: от изучения спроса до изучения поведения избирателей. Некоторые исследования Института носили фундаментальный характер и охватывали широкий круг явлений, иногда же они касались одного сугубо частного вопроса.

В 1945 г. был создан Национальный институт демографических исследований (ИНЕД) во главе с известным демографом Альфредом Сови. В Институте исследовались, главным образом, социологические проблемы народонаселения.

Важную роль в распространении социологических исследований во Франции сыграло создание в 1947 г. в Высшей школе практических исследований 6-й секции, «Секции экономических и социальных наук». В 1961 г. в ней было создано отделение социологии: исследовательская организация

с рядом подразделений. Школа начала издавать ряд журналов, среди которых: «Анналы», «Европейские архивы по социологии», «Тетради по африканским исследованиям», «Исследования села», «Человек» и др. Необходимо также отметить создание в 1952 г. Института социальных наук о труде.

Возникновение новых социологических центров и учреждений теснейшим образом было связано с существенным изменением в характере социологической деятельности. Ранее она была по преимуществу индивидуальной. Если же имело место сотрудничество, то оно выступало либо в форме литературного сотрудничества (соавторство), либо в форме следования определенному теоретическому направлению, например, в школе Дюркгейма или в школе «Социальной науки». После окончания Второй мировой войны наряду с университетским кабинетным ученым-социологом (чаще всего философом и по образованию, и по характеру мышления) появляется фигура социолога — представителя специализированной социологической организации, осуществляющей исследования по определенному плану или заказу.

Другим выражением важных изменений во французской социологии явилось выдвижение на первый план эмпирической тенденции. Если ранее удельный вес исследований, основанных на наблюдении и количественном анализе социальных явлений, был незначителен, то теперь они начинают преобладать. Это не значит, что философские спекуляции исчезают, речь идет именно о том, что, во-первых, в общей массе социологической литературы процент такого рода работ существенно снизился, во-вторых, что сам термин «социология» все реже ассоциируется с работами философского характера и чаще прилагается к исследованиям эмпирическим.

В преобладании эмпирической тенденции в послевоенной социологии Франции нельзя сбрасывать со счета американское влияние. Несомненно, здесь сказалось также и влияние одной из традиций французской социологии, заложенной в творчестве Ф. Ле Пле и Э. Дюркгейма и некоторых их последователей. Следует, однако, подчеркнуть, что эмпиризм не получил во Франции столь всеобщего распространения и не выступил в столь крайней форме, как в США. Общая картина изменений во французской социологии середины 1950-х гг. видна из следующих трех таблиц, характеризующих изменения соответственно в количестве социологической продукции, в направлениях и подходах и в соотношении различных социологических специальностей<sup>1</sup>.

Таблица 1

**Индексы социологической продуктивности во Франции  
по пятилетним периодам (нач. период = 100)**

Пятилетние периоды	1919– 1924	1925– 1929	1930– 1934	1935– 1939	1940– 1944	1945– 1949	1950– 1954
Индекс	100	102	150	285	99	700	860

<sup>1</sup> Источник: Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. М., 1961. С. 708–709, 711. Приводимые таблицы содержат в себе серьезные недостатки — выделяемые в них категории весьма условны. Например, в табл. разделяются философия, теоретизирование и научные исследования.

**Изменения в направлении и методе социологической деятельности  
во Франции (в процентах к общей продукции)**

Пятилетние периоды	1919– 1924	1925– 1929	1930– 1934	1935– 1939	1940– 1944	1945– 1949	1950– 1954
Философия	41	29	20	22	12	21	20
Теоретизирование	33	37	14	12	6	9	2
Научные исследования	0	11	32	28	32	21	30
Документация	7	3	18	16	21	21	23
Статистические	0	0	4	6	6	16	9
Критические	7	6	6	2	6	5	5
Методологические	0	3	2	2	3	4	7
Популяризация	7	11	4	7	6	2	2
Прочие	5	0	0	5	6	1	2
Всего	100	100	100	100	100	100	100

Изменения во французской социологии после окончания Второй мировой войны, естественно, отразились на характере ее практической роли в жизни общества. Она во все большей степени стала рассматриваться как себе серьезные недостатки — выделяемые в них категории весьма условны. Например, в табл. разделяются философия, теоретизирование и научные исследования.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. М., 1961.
2. Гард Г. Психология и социология // Новые идеи в социологии. СПб., 1914. № 2.
3. Bureau P. La science des moeurs. Introductions a la methode sociologique. P., 1923.
4. Clark T. Emile Durkheim and the institutionalization of sociology in the French university system // Archives europeennes de sociologie. 1968. T. IX. № 1.
5. *Revue internationale de sociologie*. T. 1. № 1, jan.–fevr. 1893.



## ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФРАНЦУЗСКОЙ СОЦИОЛОГИИ ВТОРОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА

Бурное развитие эмпирических исследований отнюдь не означало «расцвета» французской социологии после войны. У социолога Армана Кювийе, опубликовавшего в 1953 г. книгу «Куда идет французская социология?», были все основания утверждать, что «французская социология, вопреки ее видимому возрождению... переживает кризис» [8, 11]. Материальная база социологических исследований была весьма слабой, число социологических кафедр было незначительным, а уровень социологического образования — довольно низким.

Но кризисное состояние французской социологии выражалось, разумеется, не только и не столько в этом. Само существование социологии как положительного знания ставилось под вопрос.

Наряду со старым противником социологии — университетской спиритуалистской философией — появились новые — экзистенциализм и феноменология. С позиций иррационализма они подвергали ожесточенной критике призыв Э. Дюркгейма «исследовать социальные факты как вещи». Характерной в этом отношении явилась опубликованная в 1946 г. книга феноменолога Э. Монерро, которая так и называлась: «Социальные факты — не вещи».

Внутри самой социологии не прекращалась борьба вокруг вопроса о том, в каком направлении должно развиваться социологическое знание во Франции. В философско-исторических концепциях Раймона Арона проявилась тенденция к утверждению на французской почве традиции «понимающей социологии» Макса Вебера. В противовес этой тенденции Жорж Гурвич и Клод Леви-Стросс (соответственно, в социологической и этнологической теориях) стремились реализовать принципы «социологизма» Дюркгейма и его последователя Марселя Мосса, подвергнув эти принципы существенному пересмотру и критике под углом зрения своих собственных концепций.

Таблица 3

### Изменения в распределении различных специальностей социологической деятельности во Франции (в процентах к общей продукции)

Пятилетние периоды	1919– 1924	1925– 1929	1930– 1934	1935– 1939	1940– 1944	1945– 1949	1950– 1954
Общая социология	11	17	8	7	3	5	6
Социология морали	13	3	2	3	0	0	0
Социология права	8	3	12	11	6	4	1
Политическая социология	8	6	2	6	6	5	20
Социология религии	13	17	6	И	6	5	4

Социология семьи	5	9	0	2	0	4	5
Социология экономики	2	13	16	0	12	13	7
Индустриальная социология	0	0	0	1	3	8	3
Урбанистская социология	0	3	2	3	6	4	5
Социология села	0	0	6	9	0	6	3
География народонаселения	0	0	0	5	12	7	2
Этнография	2	11	16	16	22	6	4
Демография	0	0	2	6	3	12	13
Социальная и коллективная психология	23	9	0	4	15	5	6
Описательные работы	5	3	8	3	0	2	2
Прочие	10	6	20	13	6	14	19
Всего	100	100	100	100	100	100	100

## 1. «ДИАЛЕКТИКО-ГИПЕРЭМПИРИСТСКАЯ» СОЦИОЛОГИЯ Ж. ГУРВИЧА

В области общей социологической теории наиболее масштабным явилось творчество Жоржа Гурвича (1894–1965). Гурвич — автор более тридцати книг в области истории философии, социологии права, морали, познания, общей социологической теории и т. д.<sup>1</sup>

Гурвич одним из первых в западной социологии констатировал наличие в ней кризиса общей теории и систематически подвергал резкой критике эмпиризм американских социологов и их французских подражателей [12]. Социологические теории Гурвича носят чрезвычайно абстрактный характер, вследствие чего многие социологи склонны были считать его философом, который «ошибся дверью». Социология, по Гурвичу, должна базироваться на диалектике, которую он интерпретировал в духе релятивизма и плюрализма. «Подлинной», «антидогматической» диалектика может стать лишь в том случае, если она не будет связана ни с какой философской доктриной, но ориентирована на бесконечно разнообразный и непрерывно изменяющийся человеческий опыт. Это и есть «диалектический гиперэмпиризм», который призван, по замыслу его создателя, играть роль метатеоретической основы социологического знания. Только на этой основе можно познать подвижную и изменчивую социальную реальность, которая обладает «вулканическим» элементом.

По Гурвичу, социальная реальность может изучаться тремя различными методами: 1) систематизирующим и аналитическим; 2) индивидуализирующим (сингуляризирующим); 3) методом качественной и дискретной типологии.

Первый из перечисленных методов обычно преследует практические цели и направлен лишь на один из уровней социальной реальности, более или менее искусственно выделенный из целостности. Этот метод большинства частных социальных наук, например науки о праве.

Второй метод применяется в двух частных социальных науках: истории и этнографии. Наконец, третий метод является основным методом социоло-

<sup>1</sup> Среди них: «Le concept de classes sociales de Marx à nos jours» (P., 1954); «Determinismes sociaux et liberté humaine» (P., 1955); «La vocation actuelle de la sociologie», 2 vol. (III ed. P., 1963); «Dialectique et sociologie» (P., 1962); «Les cadres sociaux de la connaissance» (P., 1966).

логической науки. Типологическим методом Гурвич пользовался чрезвычайно широко; какую бы проблему он ни исследовал, он конструировал огромное количество типов и подтипов на основании большого числа критериев. Так, например, представленная им классификация типов социальных групп основана на пятнадцати критериях.

Основные социологические типы, по Гурвичу, — это микросоциологические типы («формы социальности»), типы частных групп, типы социальных классов и глобальных обществ. Вся социология «диалектического гиперэмпиризма» представляет собой бесчисленное множество самых различных типологий.

Специфика социологического метода состоит, с точки зрения Гурвича, в том, чтобы всегда принимать во внимание все уровни, измерения и секторы (аструктурные, структурируемые, структурированные) социальной реальности одновременно. Для обозначения предмета социологии он использовал термин «целостные социальные феномены», заимствованный у М. Мосса.

Исходя из такого понимания предмета и метода социологии, Гурвич, который, как никто другой, склонен ко всякого рода дефинициям и громоздким классификациям, следующим образом определил социологию: «Социология представляет собой качественную и дискретную типологию — основанную на диалектике — целостных социальных феноменов, аструктурных, структурируемых и структурированных, которые она изучает одновременно на всех глубинных уровнях, во всех измерениях и во всех секторах с тем, чтобы проследить их движение структуризации, деструктуризации, реструктуризации и разрушения, находя объяснение этих феноменов в сотрудничестве с исторической наукой». Вслед за приведенным Гурвич дал другое, более сжатое определение социологии как «науки, которая изучает целостные социальные феномены в ансамбле их аспектов и их движения, заключая их в диалектизированные микросоциальные, групповые и глобальные типы в процессе их становления и разрушения» [11, 27].

Социология Гурвича представляет собой парадоксальное сочетание, с одной стороны, призыва к конкретности, к сближению с исторической наукой, к диалектике, а с другой — реальной абстрактности и схоластичности теоретических рассуждений, антиисторизма, формализма типологий и дефиниций.

Очевидно, что в условиях бурного развития специализации социологического знания и эмпирических исследований во Франции «философская» социология Гурвича с ее чрезвычайно абстрактными построениями не могла иметь реального успеха. Многие социологи, ориентированные на эмпирическое познание социальной действительности, считали «философию» в социологии анахронизмом. Поэтому, несмотря на то что Гурвич занимал ведущее место во французской теоретической социологии вплоть до своей смерти в 1965 г. как автор множества трудов в области социологической теории, как руководитель кафедры в Сорбонне и инициатор ряда периодических и непериодических изданий, при жизни он не имел последователей, и, хотя многие социологи нередко выражали свое уважение в его адрес, они не спешили применять его концепции в своих исследованиях. Макротеории Гурвича, с одной стороны, и частные социоло-

логические теории и эмпирические исследования — с другой, развивались, по существу, независимо друг от друга

Концепции Гурвича оказали определенное влияние на работы известного французского социолога Жоржа Баландые, который призывал к созданию динамичной «глубинной социологии» (термин Гурвича), основанной на диалектике<sup>1</sup>. На рубеже 1960–1970-х гг. интерес к творчеству Гурвича несколько оживился во Франции, а также и за ее пределами, в связи с выдвиганием на первый план тех проблем, которые его занимали: социальной динамики, конфликта, роли диалектики в социологическом познании. Свидетельством роста интереса к наследию Гурвича явилось, в частности, появление работ, посвященных исследованию его творчества<sup>2</sup>.

## 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЙМОНА АРОНА

Р. Арон (1905–1983) — один из наиболее влиятельных социологов второй половины XX в. В разное время и в разной степени он испытывал влияние таких различных доктрин, как неокантианство баденской школы, концепций М. Вебера и Л. Брюнсвика, а также в определенной мере марксизма, хотя всегда был непримиримым антагонистом последнего. Сфера деятельности Арона не ограничивалась социологией, в меньшей мере к ней относятся социальная философия, философия истории, политическая публицистика и журналистика. Круг его интересов в собственно социологической области также был весьма обширен: это — общесоциологическая и методологическая проблематика, политическая и индустриальная социология, проблемы социальной стратификации, конфликтов, история социологии и т. д.

Арон — автор (или соавтор) некоторых наиболее распространенных на Западе в послевоенный период социально-философских и социально-политических концепций. Самые известные из них — концепция коренной трансформации капитализма, единого индустриального общества и «конца идеологии» — логически связаны между собой. «Деидеологизация», по мнению Арона, в сущности, не что иное, как логическое следствие единства технико-экономической природы современного индустриального общества. Борьба идеологий — анахронизм, связанный главным образом с «мифологическими» традициями XIX в. Это подтверждается и тем, что в слаборазвитых странах идеологии не отступают пока на второй план, выполняя свои прежние, «традиционные» функции.

Фактором «деидеологизации», согласно Арону, является и развитие науки, в частности, эмпирических исследований, лишаящих идеологии возможности быть «глобальными системами интерпретаций», ведущих их к плюрализму «частичности». Рассматривая процессы «деидеологизации» в обоих типах «индустриального общества», Арон доказывал, что в социалистических странах они проходят в форме превращения марксизма во все более формальную догму. Советские граждане формально не перестают быть марксистами, сохраняют марксистскую фразеологию, «но сам

<sup>1</sup> *Balandier G. Entretien sur les problèmes actuels de la sociologie // L'Homme et la société. № 3. Janv.–mars, 1967.*

<sup>2</sup> *Perspectives de la sociologie contemporaine. Hommage George Gurvitch. P., 1968; Bosserman P. Dialectical Sociology. An Analysis of the Sociology of George Gurvitch. Boston, 1868; Balandier C. Gurvitch. P., 1972.*

марксизм все меньше и меньше будет руководить мыслями управляющих и граждан. Будет продолжаться преклонение перед доктриной, но она не будет больше определять практическую деятельность» [3, 331]. Арон подчеркивал, что концепция «деидеологизации» «вовсе не разрушает Запад перед лицом коммунизма, но дает ему наилучшее оружие» [4, 210].

Хотя концепции Арона были близки теории «конвергенции», он отмежевывался от ее наиболее последовательных представителей, таких как П. Сорокин, Ф. Перру и М. Дюверже. Он считал идею «конвергенции» слишком радикальной. В своих «Восемнадцати лекциях об индустриальном обществе» он заявил, что стремится разрушить миф о «конвергенции, слиянии двух типов индустриального общества» [1, 27]. По его мнению, следует говорить об общности этих типов только в технико-экономическом и отчасти в социально-экономическом плане. Что же касается политической сферы, и которой Арон придавал особое значение, то он считал, что она «неконвергируема» и определяет различия между социализмом и капитализмом. Первый, по его мнению, характеризуется анахронистической, традиционалистской унификацией власти, второй — ее диссоциацией и плюрализмом, связанным с наличием различных иерархий.

Тем не менее критика теории «конвергенции» сочетается у него с допущением вероятности того, что в будущем все же обе системы сблизятся и даже сольются на «высшей фазе, когда коллективные ресурсы позволят достичь определенного вида экономического равенства и, следовательно, социальной однородности» [2, 336].

Арон пытался избежать не только крайностей концепции «конвергенции», но и тех законченных форм «технологического детерминизма», которые последний принимает, скажем, у Л. Уайта или Ж. Фурастье. «Технологический детерминизм» постоянно переплетается у него также с идеей доминантности сознания и политики, что, впрочем, несомненно связано с тем, что сама техника трактуется им прежде всего как «техническая рациональность».

Арон квалифицировал свои концепции как «пессимистическую диалектику». Прокламируемые им социальные антиномии — результат того, что развитие науки и техники порождает, по его мнению, устремления и иллюзии, которые оно не в состоянии удовлетворить; что чем больше человечество овладевает природой, тем больше оно теряет власть «над собственной судьбой» [5, 285].

Конкретно, антиномии «индустриального общества» Арон усматривает, во-первых, в несовместимости эгалитарного идеала, к осуществлению которого стремятся люди, и неизбежного иерархизма. Во-вторых, в противоречии между стремлением к индивидуальности и колоссальным нивелирующим механизмом технико-экономического развития. В-третьих, это — антиномии международных отношений, где приходят в столкновение могущественные тенденции «универсализации», связанные с научно-техническим прогрессом, и тысячелетние традиции, которыми страны руководствуются в своих взаимоотношениях.

Арон доказывал превращение «смертельной» классовой борьбы по мере роста коллективного богатства в «полумирное» соперничество и утверждал, что классовые конфликты, характерные для прошлого, трансформируются в антагонизм богатых и бедных народов.

### 3. СТРУКТУРАЛИЗМ

В 1960-х гг. во Франции наиболее влиятельным идейным течением стал структурализм, который, в отличие от родственного ему структурного функционализма, не является собственно социологической теорией<sup>1</sup>. Можно говорить лишь об отдельных «выходах» структуралистов в сферу социологии. Возникнув на рубеже XIX–XX вв. в лингвистике, структурализм после Второй мировой войны проник в ряд других областей знания (этнологию, историю культуры, литературоведение, эпистемологию, психологию и т. д.). Наиболее видные представители структурализма: К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Лакан, Р. Барт. Некоторые философы во Франции (Л. Альтюссер, Э. Балибар, М. Гodelь) предложили структуралистское «прочтение» Маркса.

Структурализм очень неоднороден. Даже исследователи, работающие в этой области, часто придерживались весьма различных взглядов. Вот почему иногда говорят, что существует столько структурализмов, сколько структуралистов. Можно выделить (весьма условно) лишь несколько наиболее общих принципов, которые объединяют различные варианты структурализма.

1. Первичность отношений над элементами в системе. Структура отношений не зависит от специфики элементов, но, напротив, определяет ее.
2. Трактовка структуры как инвариантного абстрактного ядра, системы отношений, когда в определенных условиях и согласно определенным правилам элементы могут превращаться друг в друга.
3. Примат синхронного метода исследования над диахронным. Историко-генетический подход рассматривается как подчиненный, хотя существуют попытки преодолеть абсолютизацию синхронии.
4. «Теоретический антигуманизм». Человек, субъект в теоретическом плане рассматривается как ненаучное понятие; человек лишь воображает себя свободным целеполагающим существом, на самом деле он всецело детерминируется (как отдельный элемент) безличной объективной структурой. Соответственно в предельных случаях проблема человека вообще устраняется, иногда же человек рассматривается как совокупность различных аспектов, относящихся к различным сферам и определяемых структурами этих сфер.

### 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ Ж. ФУРАСТЬЕ

Жан Фурастье (1907–1990) — экономист и социолог, профессор Национальной консерватории искусств и ремесел и Высшей школы практических исследований. Его работы посвящены рассмотрению социальных последствий технического и научного развития, проблем уровня жизни, образа жизни и их прогнозирования<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Анализ структурализма можно найти, в частности, в работе: Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. М., 1977.

<sup>2</sup> Из многочисленных работ Фурастье назовем следующие: *La civilisation de 1975* (Paris, 1947); *Le grand espoir du XX-e siècle* (Paris, 1949); *Machinisme et bien-être* (Paris, 1951); *Les 40000 heures* (Paris, 1965); *Idees majeures* (Paris, 1966); *Essais de morale prospective* (Paris, 1966); *Технический прогресс и капитализм с 1700 до 2100 год // Какое будущее ожидает человечество?* Прага, 1964. О концепциях Фурастье см.: *Панарин А.С. Наука и проблемы стабильности цивилизации в концепции Жана Фурастье // Концепции науки в буржуазной философии и социологии.* М., 1973.

В отличие от многих западных теоретиков, отрицающих поступательный характер общественного развития, Фурастье верил в глобальный социальный прогресс человечества. Эта вера основана у него на оптимистической оценке огромных возможностей, которые предоставляют человеку техника и наука. Фурастье подчеркивал второстепенную роль политических, юридических, моральных факторов и ведущее значение техники как фактора прогресса. «...Прогресс методов производства оказывает не исключительное, но преобладающее воздействие на социальный прогресс» [10, 89], — утверждал он. Согласно Фурастье, «элементы, из которых складывается социальное положение народа, — это прежде всего уровень жизни, а затем уже образ жизни» [10, 90].

Вслед за австралийским экономистом Колином Кларком, Фурастье различал три экономические сферы: первичную (сельское хозяйство и добывающая промышленность), вторичную (обрабатывающая промышленность) и третичную (сфера услуг). В соответствии с ролью этих сфер он выделил первичную, вторичную и третичную цивилизации, представляющие, с его точки зрения, три фазы прогрессивного развития человечества. В настоящее время, по мнению Фурастье, наступает новая фаза — «научная»: «Научный дух, распространяясь понемногу в головах миллионов людей, порождает перед нашими глазами новое общество, общество завтрашнего дня, главное имя которого — не капиталистическое, не коммунистическое, не индустриальное, не третичное, но научное общество» [9, 170], — писал он.

Фурастье стремился разработать своеобразный «научно-технологический гуманизм», предполагающий преодоление традиционной теоретической морали и приведение ее в соответствие с научной, технической и моральной реальностью сегодняшнего дня. В теории Фурастье традиционные технократические идеи сочетались с одним из первых вариантов концепции «постиндустриального» общества.

## 5. М. КРОЗЬЕ: КОНЦЕПЦИЯ «БЮРОКРАТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА» И «БЛОКИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА»

Мишель Крозье (род. 1922) был руководителем Центра социологии организаций, профессором университета в Нантере. Главная сфера интересов Крозье в рассматриваемый период — исследование социальных организаций, но, поскольку он считал господство больших организаций фундаментальным явлением современного общественного развития, постольку его концепция выходит за рамки собственно «организационной» проблематики и непосредственно перерастает в социологическую теорию более широкого масштаба.

В своей известной работе «Феномен бюрократии» (1963) французский социолог стремился разработать теорию бюрократии, которая была бы включена одновременно в общую теорию функционирования организаций и в общую теорию культурных систем [6]. Последние же, в свою очередь, должны составить существенные элементы социологии действия, способствующей изучению глобального общества [6, 20–21]. Крозье вычленил три значения термина «бюрократия», имеющих распространение в социальных науках. Первое значение является наиболее традиционным, употребляемым в политической науке: это государственный аппарат, состоящий из назначаемых, а

не избираемых чиновников, организованных иерархически и зависящих от верховной власти. Второе значение термина идет от М. Вебера и предполагает рационализацию всех видов коллективной деятельности, которая выражается, в частности, в чрезвычайной концентрации всех организаций и развитии внутри них системы безличных правил. Наконец, третье значение термина соответствует его обыденному употреблению; оно касается тяжести, медлительности, рутины, усложнения процедур, неприспособленности «бюрократических» организаций к потребностям, которые они должны удовлетворять. Внимание Крозье направлено на «бюрократию» в третьем, уничижительном, значении термина [6, 16–17]. Осуществляя «клинический подход», он детально исследовал частные случаи (две крупные французские организации, по общему признанию, воплощающие «феномен бюрократии») и только затем выявил условия развития и сущность бюрократии.

В центре проблематики организаций и, в частности, бюрократии, согласно Крозье, должно стоять исследование власти и видов ее распределения, с одной стороны, и анализ стратегии, применяемой индивидами и группами в их деятельности, — с другой. Важное место при этом занимает изучение фундаментальных культурных характеристик общества.

Франция середины XX в. была, по Крозье, в высокой степени заражена «феноменом бюрократии». В ней существовало серьезное противоречие между традиционным прошлым и потребностью в непрерывной адаптации к современному промышленному развитию. Растущая зависимость эффективности организаций от участвующих в них человеческих ресурсов диктовала необходимость создания условий для активного социального участия. От отсутствия участия страдали как организации, так и их члены. «Французский рабочий класс несомненно страдает от глубокого отчуждения в отношении участия в экономических и политических решениях» [6, 332], — писал Крозье.

Эти же темы Крозье продолжал развивать в своей книге «Блокированное общество» (1970). В центре этой работы — проблемы социального изменения и усиления участия индивидов и социальных групп в институциональных нововведениях. Применительно к обществу, подавляющему реальное изменение институтов и творческую инициативу, Крозье использовал термин «блокированное общество» (термин введен Стэнли Хофманом). Французское общество, утверждал Крозье, вопреки тому, что оно непрестанно говорит об изменении, на самом деле противостоит реальным изменениям, а потому представляет собой «блокированное общество» [7, 20]. В заключительной главе, озаглавленной «За стратегию изменения», он отстаивает необходимость «институциональной инвестиции», т. е. энергичных усилий по развитию различных социальных условий, способствующих эффективным индивидуальным и коллективным нововведениям. С точки зрения Крозье, три главные интеллектуальные ориентации должны осуществляться во Франции: 1) создание возможности серьезного научного анализа социальных проблем; 2) приложение усилий к пониманию социального изменения и соответствующих типов поведения; 3) активная установка в отношении создания, управления и развития социальных институтов [7, 231–232].

Крозье в своих исследованиях стремился соединить эмпирический и теоретический анализ. В теоретико-методологическом плане он тяготел к функционализму, считая, что «функционалистская перспектива состав-



ляет необходимый момент всякого социологического исследования...» [6, 22]. Иногда он даже использовал термин «функционалистский» как синоним «научного» [6, 14]. Но существует опасность превращения этого «необходимого инструмента рациональной социологии в функционалистскую философию, в снисходительное одобрение обнаруженных взаимозависимостей» [6, 22]. Средством избежать этого, по мнению Крозье (что он и стремился делать), является выдвижение на первый план проблемы изменения. В таком виде функционалистский подход не элиминирует историко-генетический, но лишь лучше служит ему.

## 6. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОЛОГИИ

В 1960-е гг. в социологии и социальной психологии Франции наблюдается оживление психоаналитической тенденции. В этой связи необходимо отметить направление «социопсихоанализа», возглавляемое Жераром Манделем [28]. Его группа издавала тематические сборники под названием «Социопсихоанализ». Мандель пытается соединить фрейдизм, и прежде всего психоаналитическую концепцию «эдипова конфликта», с тезисами об усилении в современном мире власти техники, технократических тенденций, авторитаризма государства, с одной стороны, и параллельным ослаблением социокультурных институтов и самостоятельной социальной деятельности индивидов — с другой. Хотя «социопсихоанализ» признает собственность на средства производства критерием классового деления, а также классовую борьбу и необходимость овладения трудящимися средствами производства [14, 14–15, 51], эта теория в целом весьма далека от марксизма и содержит в себе ряд антимарксистских положений; в данном случае мы имеем дело с одной из концепций, близких к «гошитстскому» радикализму.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Aron R. Dix-huit leçons sur société industrielle. P., 1963.
2. Aron R. La lutte des classes. P., 1964.
3. Aron R. Démocratie et totalitarisme. P., 1965.
4. Aron R. Trois essais sur l'âge industriel. P., 1966.
5. Aron R. Les désillusions du progrès. P., 1969.
6. Crozier M. Le phénomène bureaucratique. P., 1963.
7. Crozier M. La société bloquée. P., 1970.
8. Cuwillier A. Où va la sociologie française? P., 1953.
9. Fourastie J. Essais de morale prospective. P., 1966.
10. Fourastie J. Idées majeures. P., 1966.
11. Gurvitch G. (dir) Traité de sociologie. T. 1. 2-ème ed. P., 1962.
12. Gurvitch G. La crise de l'explication en sociologie // Cahiers internationaux de sociologie. Vol. XXI. Juillet–déc. 1966.
13. Mendel G. La révolte contre le père. P., 1968.
14. Sociopsychoanalyse I. P., 1972.

## ОБЩАЯ ДИНАМИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Подводя итог рассмотрению теоретических тенденций в социологии послевоенной Франции, необходимо отметить, что если ранее ей было присуще четкое разделение на школы и направления, то после Второй мировой войны и вплоть до 1960-х гг., напротив, вследствие широко распространившегося отношения к общим теориям такие направления выделить практически невозможно. Во Франции, в отличие, например, от США, невозможно обнаружить такие теоретические направления, как символический интеракционизм, феноменологическое направление и т. д.

Отсюда становится понятным вывод Жана Вьета, согласно которому история французской социологии свидетельствует о том, что при объяснении сущности социологических исследований, предпринятых в этот период, теоретические рамки гораздо менее важны, чем организационные структуры этих исследований, с одной стороны, и потребности, выражаемые глобальным обществом, — с другой [14, 127].

Картина социологии во Франции выглядит преимущественно как мозаика различных концепций отдельных сфер и явлений социальной жизни, эмпирических исследований этих сфер и явлений, а также анализа эпистемологического и методического инструментария социологии. В качестве общей теоретико-методологической тенденции, продолжающей оказывать подспудное влияние на эмпирические исследования и теории «среднего уровня», следует указать на структурно-функциональный подход, хотя, как это явствует из концепций М. Крозье и А. Турена, предпринимались попытки обновления и преодоления традиционного функционализма. В целом же общетеоретические поиски в это время продолжали занимать подчиненное место.

Характерная черта французской социологии 1960-х гг. — влияние марксистских идей, особенно среди молодых социологов. Характерны в этом отношении данные, полученные в результате выборочного обследования начала 1960-х гг. среди студентов-социологов, целью которого было выявление приверженности студентов к различным ведущим во Франции теоретико-философским направлениям [2, 42].

Таблица 4

### Приверженность студентов Франции к теоретико-философским направлениям

Университет	Направления			Всего, %
	Персонализм, %	Марксизм, %	Экзистенциализм, %	
Париж	5	76	19	100
Провинция	33	33	34	100

Само собой разумеется, что далеко не все студенты, выразившие свою приверженность марксизму, стали марксистами, но и субъективная ориентация студентов-социологов весьма показательна.

Характеризуя проблематику социологических исследований во Франции второй половины XX в., необходимо указать на рост интереса к проблемам социального изменения. В октябре 1965 г. был проведен коллоквиум французского социологического общества на тему: «Социальные трансформации современной Франции»<sup>1</sup>. Седьмой коллоквиум Ассоциации социологов франкоязычных стран был посвящен «социологии сдвигов»<sup>2</sup>. Важное место в тематике социологических исследований последних лет заняла тема социального конфликта, тесно связанная с предыдущей. В марте 1969 г. состоялся коллоквиум Французского социологического общества на тему: «Кризисы и конфликты во французском обществе».

Важное место заняли исследования потребностей, требований и потребления различных социальных классов, слоев и групп, их культурного уровня, досуга, образования, исследования проблем города и деревни, социальной организации, массовых коммуникаций, социальных движений, развивающихся стран и т. д. Напротив, в таких областях, как социология религии и история социологии имел место некоторый спад.

Среди развивающихся в это время во Франции областей социологии следует отметить эпистемологию и методологию социологического познания. В этой области выделяются работы Раймона Будона<sup>3</sup> (р. 1934), профессора методологии социальных наук в Сорбонне и в Женевском университете, руководителя Центра социологических исследований Национального центра научных исследований. Являясь последователем и сотрудником американского социолога П. Лазарсфельда, Будон исследовал возможности формализации, роль причинного объяснения, применение математических методов в социологии. Социологическая эпистемология, согласно Будону, является не априорной, а позитивной дисциплиной, призванной изучать структуры языка социологии. Что же касается методологии, то она, по его мнению, призвана осуществлять анализ отдельных теоретических парадигм [1, 35–37]. Свидетельством роста интереса к проблемам социологической эпистемологии и методологии был, в частности, выход первого тома книги П. Бурдьё, Ж.-К. Пассерона и Ж.-К. Шамборедона «Профессия социолога» [8]. Развитие данной области социологического знания тесно связано с ее практическим значением для эмпирических исследований, роль которых во Франции продолжает оставаться первостепенной.

Рос интерес к творческому наследию М. Мосса, что положительно оценивалось марксистскими социологами. Было осуществлено два издания сочинений Мосса: трехтомник и однотомник [10]. Кроме того, вышел ряд исследований его творчества [3; 4; 11].

<sup>1</sup> *Sambert F.-A. Transformations sociales et transformations de la sociologie // Revue française de sociologie. Vol. VII. № 1. Janv.–mars, 1966.*

<sup>2</sup> *Sociologie de mutations // Actes du VII Colloque de L'Association internationale de sociologues de langue française. Paris, 1970.*

<sup>3</sup> Основные работы Будона Р.: *Le vocabulaire des sciences sociales. Concepts et indices* (ар. P. Lazarsfeld). Paris, 1965; *L'Analyse mathématique des faits sociaux*. Paris, 1967; *Les méthodes en sociologie*. Paris, 1969; *La crise de la sociologie. Questions d'épistémologie sociologique*. Genève, 1971.

Майский кризис 1968 г. во Франции оказал серьезное влияние и на проблематику, и на ориентацию социологических исследований в стране. Как неоднократно отмечалось впоследствии, кризис буквально застал врасплох многих социологов, подвергнув серьезному сомнению качество их исследований. Хотя среди инициаторов студенческих выступлений было немало студентов-социологов, майское движение было в значительной степени проникнуто антисоциологическим пафосом; на стенах Сорбонны можно было увидеть лозунг: «Убивайте социологов!» [6]. Студенты выступили против социологии как средства манипулирования в руках господствующего класса.

В то же время представление бунтующих студентов о социологии как орудии манипулирования и подавления содержало в себе значительную дозу мифа. Во-первых, они склонны были видеть в социологии некое единое, недифференцированное целое, игнорируя разнородность и многообразие этой науки. Во-вторых, они существенно переоценили реальную значимость социологических исследований во Франции. Дело в том, что главные органы, принимавшие решения в стране, отнюдь не склонны были прислушиваться к рекомендациям социологов, если речь заходила даже о частичном пересмотре социальных институтов.

Как уже отмечалось, для большинства социологов майский взрыв оказался полной неожиданностью. Но это не означало, что ранее совсем не было исследований, в которых содержался анализ явлений, вызвавших взрыв. Некоторые социологи провели исследования отдельных факторов будущего кризиса. Одним из важнейших узлов противоречий, породивших этот кризис, была французская система образования. Ее консерватизм, архаичность, иерархическая и ригидная структура еще до 1968 г. были подвергнуты анализу в работах П. Бурдьё, Ж.-К. Пассерона, В. Изамбер-Жамати [2; 3; 13], но реального эффекта эти исследования фактически не имели. На приближение кризиса прямо указывал М. Крозье в результате исследования бюрократии во Франции [7, 375]. Однако «феномен бюрократии», оставаясь верным себе, не спешил на это реагировать.

Социологические исследования во Франции в рассматриваемый период осуществлялись главным образом либо по программе, составляемой государственными исследовательскими учреждениями, либо по контрактам с различными частными и общественными организациями. Основная роль в финансировании исследований принадлежала государству; из государственных субсидий главная доля исходила от Министерства народного образования.

Доминирующее положение эмпирических исследований в сравнении с общетеоретическими повлияло на изменение характера отношений между заказчиком и социологом. Социолог оказался в более тесной зависимости от заказчика, чем в прошлом, т. к. проведение эмпирических исследований требовало финансовых затрат, иногда весьма значительных.

В среде французских социологов стала обсуждаться проблема взаимоотношений между заказчиком и социологом и диалога между ними. Некоторые социологи выражали тревогу по поводу усиления зависимости от клиента и указывали на нередкие разногласия между агентами решения и социологами.

Характерной в этом отношении стала статья известного специалиста в области социологии села Анри Мандра «О хорошем использовании социологии, или Социолог и французское общество» [12], в которой автор показал наивность стремления клиентов «купить» социологию, стремления, приводящего их лишь к самообману, но не к разрешению социальных проблем. Решение проблемы взаимоотношений между заказчиком и социологом автор видел в том, чтобы социальные институты, которые обращаются к услугам социолога, были готовы подвергнуться критике и пересмотру свои основания: иначе теряет смысл само обращение к социологу.

Мандра обосновывал свой вывод рядом примеров из области нерешенных «горячих» проблем. Кроме того, с его точки зрения, необходимо выработать целую цепь посредствующих ролей и институтов — от исследователя в области фундаментальных проблем вплоть до агента решения и исполнителя.

Обсуждение проблемы взаимоотношений между социологом и клиентом демонстрировало, во-первых, усиление зависимости социолога во Франции от воли заказчика, во-вторых, нежелание ряда социологов играть навязываемую им роль «приводного ремня» того или иного общественно-го механизма.

Положение социологов существенно изменилось в сравнении с тем, которое они занимали несколько десятилетий назад. Наряду с относительно небольшим числом исследователей и преподавателей, обладающих высоким и стабильным статусом, возникло множество социологических «пролетариев», обреченных на низкокавалифицированную деятельность, не уверенных в завтрашнем дне или участвующих в исследованиях от случая к случаю. Чрезвычайную остроту во Франции приобрела в это время проблема «рынков» социологии. Как показали результаты эмпирических исследований этой проблемы, существовало резкое несоответствие между медленным ростом числа должностей в социологии и большим количеством выпускаемых специалистов [9]. Более половины французских студентов были ориентированы на гуманитарные науки; при этом «рынки» социологии были мало изучены и не находились в связи с содержанием преподавания.

К началу 1970-х гг. немногим более 1000 человек ежегодно в среднем получали во Франции звание лиценциата по социологии (в 1961 г. эта цифра равнялась 200). В то же время в 1971 г. в стране только 1200 человек черпали целиком свои ресурсы из занятий социологией, не считая временных анкетеров и других служащих, занятых в исследованиях рынков и зондажах общественного мнения [5, 210]. Сравнивая эти цифры, нетрудно заметить серьезное расхождение между спросом и предложением в социологической деятельности.

Даже в учебнике по социологии для студентов, вышедшем в 1971 г., содержалось предупреждение о тех испытаниях, которые предстоит вынести будущему социологу. «Проблема рынков для изучающих социологию во Франции формулируется следующим образом: все чаще и чаще поддаются искушению стать социологом; часто им становятся; потом обнаруживают недостаточность диплома для обеспечения занятости, вследствие ограниченных возможностей рынка. Ибо французское общество устроено таким образом, что оно поощряет миф о социологе, но мало обращается к реальным социологам» [13, 209], — писали авторы учебника.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Boudon R.* La crise de la sociologie. Questions de épistémologie. P., 1969.
2. *Bourdieu P., Passeron J.-C.* Av. la collab. de M. Éliard. Les étudiants et leurs études. P., 1964.
3. *Bourdieu P., Passeron J.-C.* Les héritiers. P., 1964.
4. *Cazeneuve J.* Sociologie de Marsel Mauss. P., 1968.
5. *Cazeneuve J., Akoun A., Balle F.* Guide de L'étusiant en sociologie. P., 1971.
6. *Charnay J.-P.* «Tuez les sociologues». Profil prospectif de sociologie // L'Homme et la société. № 8. Avr.–juin 1968.
7. *Crozier M.* Le phénomène bureaucratique. P., 1963.
8. *Dourdiou P., Passeron J.-C., Chamboredon J.-C.* La métier de sociologie. Livre 1. P., 1968.
9. *Duclos D.* Aspect de la crise des sciences sociales en France. L'insertion professionnelle des étudiants en sociologie // La Pensee. № 167. Janv–fevr. 1973.
10. *Mauss M.* Oeuvres. T. 1–3. Paris, 1968–1969 / M. Mauss. Essais de sociologie. P., 1968–1969.
11. *Mauss M.* L'Acr. № 48. Aix-en-Provence. 1972.
12. *Mendras H.* Du bon usage de la sociologie ou le sociologue et la société française: Analyse et prévision. T. XI., Janv. 1971.
13. *Revue française de sociologie.* Vol. VII. № 3. Juillet–sept. 1966.
14. *Viet J.* Les sciences de l'homme en France. Tendances et organisation de la recherche. P., 1966.

---

Раздел V

СОЦИОЛОГИЯ В ФРГ  
(1940–1960–е ГОДЫ).  
СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ  
РЕСТАВРАЦИЯ  
И ДИНАМИЗИРУЮЩАЯ  
РЕКОНСТРУКЦИЯ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

---

---



## ПРЕОБЛАДАНИЕ РЕСТАВРАЦИОННОЙ ОРИЕНТАЦИИ

На протяжении первого десятилетия после Второй мировой войны западногерманская социология, которой в определенном смысле приходилось начинать все сначала<sup>1</sup>, развивалась под знаком противоборства нескольких существенно различных тенденций, претендовавших на определяющую роль в процессе ее возрождения.

Одна из этих тенденций, представленная такими «патриархами» немецкой социологии, как Л. фон Визе (1876–1968), выпустившим свои важнейшие труды еще в 1920-х гг. [20; 21; 22; 23; 25], отражала стремление старейших социологов начать работу «с того самого места», на котором их дисциплина «остановилась в Германии» в 1933 г. [25, 331–338], т. е. в момент прихода к власти гитлеровцев. Задача ставилась здесь таким образом, чтобы, восстановив связь времен («Веймарского периода», наступившего после Первой мировой войны и продолжавшегося до захвата власти национал-социалистами, и эпохи, наступившей после Второй мировой войны), развивать дальше немецкую социологическую традицию. Речь шла о традиции М. Вебера (1864–1920), Г. Зиммеля (1858–1918), Ф. Тённиса (1856–1936) и В. Зомбарта (1863–1941), хранителями которой ощущали себя до разгрома гитлеризма Л. фон Визе, А. Фиркандт (1867–1953), А. Вебер (1868–1958), Р. Турнвальд (1869–1854), К. Бринкманн (1855–1954) и другие социологи старшего поколения<sup>2</sup>.

В рамках рассматриваемой тенденции отчетливо звучал мотив, с самого начала делавший ее глубоко противоречивой и двусмысленной. Порой здесь создавалось впечатление, что на протяжении 12 лет национал-социалистического господства в Германии за ее пределами не происходило никакого развития социологической мысли, которая могла бы побудить немецкую традицию к *самокритике* — к решительному пересмотру

<sup>1</sup> Развитие немецкой социологии было прервано приходом к власти национал-социалистов, которые «упразднили» социологическую проблематику, закрыли социологические журналы, вынудили эмигрировать за границу значительную часть специалистов в области социальных наук, таких как, например, П. Хонигсхайм, Х. Плеснер, А. фон Шелтинг, К. Манхейм, Р. Хеберле, Ф.К. Манн, И. Шумпетер, Э. Ледерер, Г. Брифс, Э. Фёгелин, Г. Иххайзер, Ф. Герц, М. Хоркхаймер, Т.В. Адорно, Т. Гайгер, Э. Фромм, Ф. Нойман, А. Бергштрессер, Э. Франциз, Р. Кёниг, Ю. Крафт, А. Рюстов, Г. Саломон-Делатур, А. Зильберман, Р. Берендт, Р. Бендикс, Х. Герт, П. Лазарфельд, Л. Вирт и другие (половина из названных ученых так и не вернулись на родину). В целом же эмигрировало из Германии 47 % ученых в области социальных и экономических наук; что же касается немецких социологов, то из них, согласно предположению Р. Дарендорфа, эмигрировало больше  $\frac{2}{3}$  от общего их числа [4, 91–92].

<sup>2</sup> Вместе с некоторыми другими социологами этого «старейшего» поколения они составляли «группу старых именитых ученых, которые заняли и сформулировали свои позиции по преимуществу уже до 1939 г., а затем, не будучи вынужденными эмигрировать, они все-таки были отодвинуты в сторону в национал-социалистский период и в большей или меньшей степени осуждены на молчание» [15, 39].

ее теоретико-методологических оснований. Неявной предпосылкой, на которой базировалось это столь же иллюзорное, сколь и бессознательное умонастроение, была уверенность в том, что мировая социологическая мысль просто «ждала», когда будет покончено с национал-социализмом и немецкая социология, пробудившись от летаргического сна, двинется дальше, оплодотворяя своими идеями социологию других стран. В данном случае не возникало и мысли о том, что социологическая перспектива, наметившаяся в Германии в 1920-х — начале 1930-х гг. (период, который считался «золотым веком» немецкой социологии), могла быть ограниченной, в чем-то принципиально неверной и именно потому не заслуживающей возрождения в том виде, в каком она пробивала себе дорогу до трагедии 1933–1945 гг.<sup>1</sup>

Идейным представителям рассматриваемой тенденции представлялось, что немецкие социологи не имели никакого отношения к тому, что случилось с Германией в 1933 г. Тот факт, что пришедшие к власти национал-социалисты практически ликвидировали социологию как научную дисциплину<sup>2</sup>, казалось, целиком и полностью снимал с нее ответственность и за 1933 г. и за все последовавшее за ним в гитлеровской Германии. Гонения на социологию обеспечивали своеобразную «индальгенцию» немецким социологам, даже тем, кто не бежал от нацистов (бежавшие же просто укреплялись в чувстве своей «непогрешимости»), «избавляя» их от угрызений совести, от чувства вины за происшедшее на их глазах при Гитлере. Логика рассуждения, выражавшего подобные настроения «патриархов» немецкой социологии, имела следующий вид: пока существовала Веймарская республика в Германии, немецкая социология переживала свой «золотой век»; стоило только прийти к власти Гитлеру — социология была ликвидирована. Следовательно, у социологов, доживших до разгрома гитлеризма, совершенно «чистые руки», и они должны попытаться продолжить традицию «золотого века» так, как будто происшедшее в гитлеровской Германии, а затем и во всем мире, не имело никакого значения для оценки содержания этой традиции.

Мысль же о том, не внесла ли, со своей стороны, и социология в общественное сознание нечто такое, что если и не способствовало, то уж во всяком случае и не очень-то решительно противостояло распространению

<sup>1</sup> Р. Дарендорф, не без некоторой высокопарности (не лишенной к тому же и доли иронии), назовет впоследствии этот период «веком героев».

<sup>2</sup> Эта ликвидация осуществлялась, в частности, и в форме насаждения так называемой «народной социологии», связывавшей себя с «расовым учением» национал-социалистов. Р. Дарендорф писал об этой «социологии», что в ней «отсутствие научной ответственности превосходилось только моральным варварством ее последствий» [4, 97]. «Нельзя отрицать, — добавлял он, — что многие „народные социологи“ этого рода вышли из круга Х. Фрайера и А. Гелена. Духовно-историческим отправным пунктом для многих из этих более мелких людей „немецкой школы социологии“ был ложно истолкованный Фихте, которого, скажем, К.Г. Пфедфер изобразил как предтечу этого нового направления» [4, 97–98]. Пфедфер, который некогда был либералом, стал изобретателем «немецкой школы социологии» (так называется его книга). В качестве такового он не только раздувал расовую ненависть требованием «антисемитской социологии» и ненависть к другим народам в своей книге «Англия», но он также доносил на почти всех немецких социологов во имя «достоинства самой национал-социалистской революции, в которой впервые наша свое оправдание работа народной социологии, начатая еще раньше» [4, 98–99]. Кроме К.Г. Пфедфера, Дарендорф называет среди национал-социалистических «социологов» также К.В. Мюллера и Ф. Арльта.

в Германии «коричневой чумы»<sup>1</sup>, — эта мысль как-то не возникала в данном контексте — факт, свидетельствующий о том, что «патриархи» немецкой социологии, хотя «ничего не забыли», но и «ничему не научились» на опыте 1930–1940-х гг.

Следует подчеркнуть, однако, что и у сторонников рассматриваемой тенденции немецкой социологии — при всей вопиющей их, мягко выражаясь, «несамокритичности» — были и свои резоны, отражавшие реальные потребности возрождающейся в Западной Германии социологической дисциплины. Во-первых, перед дисциплиной стояла задача восстановления разрушенной социологической традиции<sup>2</sup>, хотя, разумеется, восстановление традиции отнюдь не должно было бы означать некритического к ней отношений, утверждения ее «морального алиби». И эта задача действительно активно решалась в западногерманской социологии на протяжении первого послевоенного десятилетия, что засвидетельствовано многочисленными переизданиями «классиков» немецкой социологической мысли, а также появлением внушительного количества новых исследований, посвященных их теоретическому наследию.

Во-вторых, что также является немаловажным обстоятельством, для развития западногерманской социологии в первом послевоенном десятилетии была характерна своеобразная «актуализация» тех социальных проблем, которые были зафиксированы и теоретически сформулированы немецкими социологами еще в 1920-х — начале 1930-х гг. Тот факт, что эти проблемы сохраняли всю свою остроту и актуальность и после Второй мировой войны, усиливал позицию тех, кто видел единственную перспективу развития социологии в Западной Германии на путях реставрации традиционных социологических подходов к этой проблематике. Одной из таких проблем стала, например, проблема «нового среднего класса», которая дебатировалась в Германии с начала 1920-х гг.<sup>3</sup> Возрождение интереса к ней стимулировал Т. Гайгер, занимавшийся ею до прихода

<sup>1</sup> Этот момент акцентировал впоследствии, уже в 1960-х гг., такой социолог «молодого» поколения, как Р. Дарендорф. «Ни Вернер Зомбарт, ни Фердинанд Тённис, — писал он о двух основоположниках немецкой социологической традиции, доживших до гитлеровских времен, — не были национал-социалистами ни в какой период своей жизни. Тем не менее их культурно-пессимистические представления следует причислить к тому кругу рассуждений, которые способствовали укатыванию пути разрастающейся национал-социалистской идеологии. Это имеет значение уже применительно даже к тённисовой ценностно истолкованной конфронтации „общества“, покоящегося только на „избирательной воле“ (Kurwillen), с более значающей „общностью“, соответствующей „воле сущности“ (Wesenswillen). Мост от этой общности (Gemeinschaft) к понятию „народ“ проложил В. Зомбарт, например, в своем „Немецком социализме“ 1934 г., хотя тот же самый человек всего лишь несколько лет спустя сам раскрыл неточность понятия „народ“. Между тем к этому времени „общность народа“ (Volksgemeinschaft) стала уже государственной идеологией... Философско-историческое обоснование этого поворота дал Х. Фрайер, который больше, чем любой другой немецкий социолог, предал социологию национал-социализму и таким образом завел на ложный путь целое поколение студентов и молодых ученых» [4, 96].

<sup>2</sup> Х. Шельски писал, имея в виду активных представителей данной тенденции: «Они впервые заново восстановили в 1945 г. нашу дисциплину из хаоса, в котором находилась высшая школа и наука вообще, и придали ей значимость; по сути дела, им следует быть благодарными за то, что социология как учебная и исследовательская дисциплина так быстро возникла вновь и смогла сыграть свою роль в восстановлении научно-исследовательской и учебной области в Германии» [15, 39].

<sup>3</sup> См. в этой связи: [5; 9; 10; 12; 13; 14; 16].

нацистов к власти [6], а затем в эмиграции (в Дании). Хотя после разгрома национал-социалистов он так и не вернулся окончательно на родину, но его книги, публиковавшиеся сперва в Швейцарии, а затем и в ФРГ<sup>1</sup>, вновь поставили упомянутую проблему в центр теоретических дискуссий.

Да и вообще, если судить по докладам, сделанным на первых пяти сессиях возрожденного Немецкого социологического общества<sup>2</sup> с 1946 по 1954 г., поначалу в западногерманской социологии проблематика оставалась скорее традиционной — и не только по содержанию, но и по форме<sup>3</sup>. Это была проблематика, «задаваемая» в области социологической теории Визе<sup>4</sup> и Бринкманном<sup>5</sup>, в области социальной философии — А. Вебером [17; 18; 19] и Х. Фрайером (род. 1887). Периодическими изданиями, где господствовала проблематика, отражающая рассматриваемую нами тенденцию, стали в первую очередь «Кельнский журнал социологии», который с 1948 г. вновь начал издавать Визе, а также воссозданный Турнвальдом журнал «Социальный мир» (он выходил с 1950 по 1954 г.).

Впрочем, влияние Визе, Бринкманна и А. Вебера на западногерманскую социологическую мысль было кратковременным. Оно ограничивалось «восстановительным» периодом социологии в Западной Германии, периодом преодоления социологической «разрухи», ибо только в этих условиях имело какое-то значение «простое» восстановление традиции без всякого критического отношения к ней. И по мере того как западногерманская социология институционализировалась и приобретала характер общепризнанной научной дисциплины, падало влияние тех, кто стоял у ее «колыбели». Так что уже к концу 1950-х гг. Х. Шельски (род. 1912), социолог следующего поколения, имел известное право написать: «Содержательное развитие и тематика немецкой социологии... лишь в очень незначительной степени подверглись влиянию со стороны этих grand old men. Они со своими учениями были монументами 1920-х гг., всеми почитаемыми, но по сути дела оставшимися без последователей» [15, 39].

## ЛИТЕРАТУРА

1. Мильман (Мюльман) В.Э. Социология в Германии: новая расстановка сил // Современная социологическая теория. М., 1961.

<sup>1</sup> [7; 8]; ср. в этой связи также: [11].

<sup>2</sup> Возродителем и вдохновителем этого общества был Л. фон Визе.

<sup>3</sup> 8-я сессия (Франкфурт-на-Майне, 1946). Доклады и дискуссии на темы: «О современном положении с социологической точки зрения» (Визе), «Теория ассоциаций», «Циркуляция социальных классов», «Политическая экономия и проблема монополий», «Естественный и национальный закон» и «Немецкие профсоюзы».

9-я сессия (Вормс, 1948). Доклады и дискуссии о проблемах немецкой молодежи, о превращении политики в науку, о терроре и о развитии социологических исследований за пределами Германии.

10-я сессия (Детмольд, 1950). Доклады и сообщения на темы «Родина и чужбина» и «Бюрократизация».

11-я сессия (Вейнгейм, 1952). Доклады и дискуссии на темы: «Современное государство и интересы различных групп» и «Клетки и клики».

12-я сессия (Гейдельберг, 1954). Доклады и дискуссии на темы: «Проблема социологии» и «Свободные профессии» [1].

<sup>4</sup> См. послевоенные работы: [24; 28]. Ср. также сборники [26; 27], которые, хотя и вышли под его редакцией, характеризуются отходом учеников Визе от его позиций.

<sup>5</sup> См. его книгу: [2], ср. [3].

2. *Brinkmann C.* Soziologische Theorie der Revolution. Göttingen, 1948.
3. *Brinkmann C.* Die soziologische Dimension in der Fachwissenschaften. In: C. Brinkmann. (Ed.) Soziologie und Leben. Tübingen, 1952.
4. *Dabrendorf R.* Pfade aus Utopia. München, 1968.
5. *Dreyfuss C.* Beruf und Ideologie der Angestellten. München, 1933.
6. *Geiger T.* Die soziale Schichtung des deutschen Volks: soziographischer Versuch auf statistischer Grundlage. Stuttgart, 1932.
7. *Geiger T.* Aufgaben und Stellung Intelligenz in der Gesellschaft. Stuttgart, 1949.
8. *Geiger T.* Die Klassengesellschaft im Schmelztiegel. Köln, 1949.
9. *Grünberg E.* Der Mittelstand in der kapitalistischen Gesellschaft. Eine ökonomische und soziologische Untersuchung. Leipzig, 1932.
10. *Kirsche P.* Die Soziale Schichtung der Erwerbstatigen im Zeitalter der Dampfmaschine und in dem der Elektrizität. «Zeitschrift für Volkspsychologie und Soziologie». 1928.
11. *König R.* Soziologie von Heute. Zürich, 1949.
12. *Krakauer S.* Die Angestellten. Frankfurt am M., 1930.
13. *Lederer E., Marschak J.* Der neue Mittelstand. Grundriss der Sozialökonomik. Tübingen, 1926. Teil I.
14. *Riemer S.* Sozialer Aufstieg und Klassenschichtung. «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik» (ASS). 1932, № 67.
15. *Schelsky H.* Ortbestimmung der deutschen Soziologie.
16. *Tobis H.* Das Mittelstandproblem der Nachkriegszeit und seine statistische Erfassung. Unter gleichzeitiger Berücksichtigung der französischen Verhältnisse. Grimmer, 1930.
17. *Weber A.* Kulturgeschichte als Kultursoziologie. München, 1950.
18. *Weber A.* Prinzipien der Geschichts- und Kultursoziologie. München, 1951.
19. *Weber A.* Der dritte oder vierte Mensch (Von Sinn des geschichtlichen Daseins). München, 1953.
20. *Wiese L. von.* Zur Grundlegung der Gesellschaftslehre. Jena, 1906.
21. *Wiese L. von.* Staatsozialismus. Berlin, 1916.
22. *Wiese L. von.* Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft. Berlin, 1917.
23. *Wiese L. von.* System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre): I. Teil: Beziehungslehre. München, 1924; II Teil: Gebildenlehre. München, 1929.
24. *Wiese L. von.* Ethik in der Schauweise der Wissenschaft von Menschen und von der Gesellschaft. Bern, 1947.
25. *Wiese L. von.* Nach abermals zwölf Jahre. «Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie» (KZfSS), 1949.
26. *Wiese L. von.* (Hg.) Abhängigkeit im sozialen und Selbständigkeit in Leben. Köln, 1951.
27. *Wiese L. von.* (Hg.) Die Entwicklung der Kriegswaffe und ihre Zusammenhang mit der Sozialordnung. Köln, 1953.
28. *Wiese L. von.* Das Soziale im Leben und im Denken. Köln, 1956.

## РАДИКАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ С СОЦИОЛОГИЧЕСКИМ ПРОШЛЫМ. «БУРЯ И НАТИСК» СЦИЕНТИСТСКО- ПОЗИТИВИСТСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Другая тенденция, наметившаяся в западногерманской социологии уже в первые послевоенные годы, в известном смысле была диаметрально противоположна только что описанной. Идеиные представители этой тенденции — в большей своей части они принадлежали к самому молодому поколению, но поначалу «тон» среди них задавали «старики», главным образом из числа возвратившихся из США эмигрантов<sup>1</sup> — отпавлялись от совсем иного способа рассуждения. Они считали, что Вторая мировая война и крах гитлеровской Германии подвели решительную черту под всем немецким прошлым: и фашистским, и «до»-, и «пред»-фашистским («веймарским»), — а стало быть, и подо всем тем, что было в социальной науке этого прошлого «специфически-германского». Согласно этой точке зрения, в 1945 г. потерпели поражение не только немецкий фашизм, но и предшествовавший ему, однако не сумевший ему противостоять бессильный и «непрактичный» веймарский либерализм; да и мир изменился за это время настолько, что простое возвращение к традициям «золотого века» немецкой социологии выглядел явным анахронизмом. Отсюда делался вывод: западногерманская социология должна строиться на совершенно новой, очищенной от политического, идеологического и «метафизического» груза основе, т. е. по «модели» американской эмпирической социологии, представлявшей в те времена молодым, да и не только молодым, немецким социологам воплощением «чистой научности».

Как видим, тяготение к американской социологии (десять-пятнадцать лет спустя его будут клеймить как «американизацию» социологи ФРГ) отражало прежде всего полное разочарование молодого<sup>2</sup> поколения Западной Германии в традиционных «немецких ценностях», частично потерпевших поражение перед лицом национал-социализма, а частично растоптанных или оскверненных им. Причем это разочарование перерастало, «глобализуясь», в отрицание «всякой идеологии», более того, всякого общетеоретического мышления вообще (и то и другое подозревалось в «пропаганде», которая вызывала неприязнь уже

---

<sup>1</sup> Это были люди, о которых Р. Кёниг, сам принадлежавший к их числу, писал, что «они отвернулись не только от национал-социализма в узком смысле, но, кроме того, и от всех тех черт немецкой духовной жизни, которые более или менее прямо способствовали развитию национал-социализма» [6, 127].

<sup>2</sup> А отчасти и «среднего» — о чем пойдет речь дальше.

сама по себе)<sup>1</sup>. Спасение от всего этого молодые западногерманские социологи видели в эмпирических исследованиях, опирающихся на методологию, заимствованную у естественных наук; единственно допустимой философией для них был позитивизм, рассматривавший специфически-философскую проблематику как совокупность «псевдопроблем».

Мы подчеркиваем, что это было умонастроение именно молодых социологов, которым предстояло сказать свое «научное» слово лишь впоследствии. Пока же они выражали это свое умонастроение тем, что активнейшим образом пополняли ряды эмпирических социологов и уже в силу своей многочисленности начинали определять психологическую атмосферу не только в самой эмпирической социологии, но и за ее пределами, оказывая воздействие на отношение к этому направлению и других, совсем не «эмпирически» ориентированных социологов.

Существовали две причины, поддерживавшие среди молодых социологов описанное умонастроение. Во-первых, на возрождающуюся социологию давила, все более и более определяя ее «эмпирическую» ориентацию, острейшая «практическая необходимость восстановления опустошенных городов после катастрофы Второй мировой войны», реорганизации экономики и социальной структуры, а также приспособления и ассимиляции миллионов людей, перемещенных в Западную Германию из других стран [1, 777]. Было совершенно очевидно, что все это — не только хозяйственные и политико-экономические, но и социально-политические задачи, которые не могут быть решены без привлечения социологии, причем ориентированной не столько теоретически, сколько практически. Эта «очевидность» и стала одним из важнейших источников веры молодых социологов в «эмпирическую социологию», которую представители традиционной социологической ориентации были склонны подчас третировать как простую «социографию», не так уже далеко ушедшую от статистики. И если категорическое неприятие «всякой идеологии», бессознательным образом приравненной к нацистской пропаганде, было негативной причиной веры в «научную», т. е. «эмпирическую», социологию, то «очевидность» социально-политической и хозяйственно-экономической разрухи, в преодолении которой молодые социологи хотели принять конкретное, практическое участие, оказывалась позитивным источником такой веры. Непосредственная очевидность проблем, которые должны были решаться с помощью «эмпирической социологии», переживалась и как «абсолютная достоверность» *методов*, которыми она пользовалась; последняя же проецировалась на природу «социологического знания» как такового, порождая здесь чисто позитивистские представления.

Во-вторых, на возрождавшуюся в Западной Германии социологическую мысль производила огромное — поистине завораживающее и гипнотизирующее — впечатление научно-техническая революция, которая продемонстрировала свои первые ошеломляющие результаты уже в ходе Второй мировой войны. Причем, естественно, с наибольшей силой, ост-

<sup>1</sup> Особенно характерно это было именно для молодежи; представители «среднего» и «старшего» поколения социологов, разделявшие аналогичные интенции, не были склонны к столь экстремистскому «антиидеологизму».

ротой и непосредственностью должны были пережить это впечатление именно представители молодого поколения. Утрата веры во «все и всякие ценности», из которых одни потерпели поражение в «до»-фашистский период, другие были растоптаны в период гитлеризма, а третьи разгромлены вместе с поддерживавшей их нацистской Германией, неизбежно должна была обернуться совершенно наивной, абсолютно некритической верой в ценность «положительной науки» перед лицом поражающих воображение результатов, достигнутых с ее помощью на путях научно-технической революции. В связи с этим упомянутый выше позитивизм молодых западногерманских социологов с необходимостью должен был дополняться *сциентизмом* (то и дело перерастая в него) — верой в науку как наивысшую ценность, придающую значимость ценностям религии и метафизики, морали и эстетики, не говоря уже обо всех остальных. В свою очередь, позитивизм, амальгамируясь в головах молодых социологов со сциентизмом, мало-помалу начал утрачивать свой «антиидеологический» характер — тенденция не столь уже и неожиданная для позитивизма вообще (вспомним Конта). Таким образом, «вера в науку», в «научную» (то есть позитивистскую) социологию — единственное, за что могли уцепиться молодые социологи в условиях общего краха «германских» идеалов и ценностей, — обнаруживала недвусмысленное тяготение к тому, чтобы стать новой разновидностью *религии* (безрелигиозной религии) со свойственной ей полнейшей некритичностью по отношению к собственным исходным посылкам<sup>1</sup>.

Наконец, углублению сциентистско-позитивистской ориентации в западногерманской социологии способствовало то обстоятельство, что в Западной Германии свою судьбу с судьбами научно-технической революции связали самые различные (и достаточно широкие) социальные круги, образовавшие своеобразный «блок»: от радикалов до «консерваторов»<sup>2</sup>.

Очень многим в этой стране казалось, что научно-техническая революция, уже обеспечившая к тому времени достаточно высокий темп и уровень промышленного развития в Соединенных Штатах, позволит не только возродить разрушенную экономику, но и придать ей такое направление, которое навсегда гарантировало бы ФРГ от «роковых альтернатив» конца 1920-х — начала 1930-х гг.: «коммунизм или кризис?», «кризис или национал-социализм?». В числе этих «очень многих», уставших от политических конвульсий и экономических катаклизмов, а потому так легко убеждаемых «реформистскими» аргументами, апеллировавшими к «безграничным возможностям» научно-технического прогресса, оказались не только молодые социологи, но и представители «среднего» и даже «старшего» поколения. Среди последних особую роль играли ученые, возвра-

<sup>1</sup> Со временем религиозное отношение к позитивистски ориентированной социологии получил нечто вроде «теоретического фундамента»: Р. Дарендорф заявил, что социология играет в эпоху индустриального общества ту же роль, которую в «средневековом феодальном обществе» играла *теология*, а «в период перехода к современному» — *философия* [8, 64], то есть роль мировоззрения, «общего мирозерцания». Это заявление достаточно выразительно удостоверяет религиозное отношение к социологии поколения Дарендорфа.

<sup>2</sup> Мы ставим здесь это слово в кавычки потому, что «консерватор» представлял собой очень странную (почти абсурдную) фигуру в Германии первых послевоенных лет: в разгромленном, развалившемся «рейхе», казалось, нечего было «консервировать», ибо «консервировать» состояние общего хаоса было невозможно.



тившиеся из эмиграции, те, что вывезли из США идеализированное представление об «американском» варианте социально-экономического развития; с ними-то и вступили в «союз» сциентистски и, как правило, достаточно «радикально» ориентированные молодые социологи.

В рамках социологического устремления, базировавшегося на этом «союзе», складывался целый комплекс идей, позиций и ориентации, характеризующийся известной монолитностью. Роль религии выполнял здесь сциентизм, роль «общей методологии» (ею заменили подвергнутому остракизму философию) — позитивизм, роль политической идеологии — «американизм», открытый или скрытый, не вполне осознанный или polemически заостренный. Тесная взаимосвязь, достаточно прочная «пригнанность» друг к другу всех этих моментов, облегчавших «выбор» как в теоретической, так и в практической сферах, как в моральной, так и в политической областях, — все это и обеспечивало притягательность упомянутого «комплекса», в особенности в условиях «ценностного вакуума» в Западной Германии первых послевоенных лет.

Это же придавало силу и соответствующей тенденции западногерманской социологии, которая — чем дальше, тем осознаннее и решительнее — отталкивалась от предпосылок, восходящих к данному «комплексу» представлений и пристрастий. Тенденция эта очень скоро стала решающей в западногерманской социологии первого послевоенного десятилетия, несмотря на то, что многое здесь носило скорее характер программы, чем ее конкретной реализации, было скорее стремлением, чем осуществлением. А к концу 1950-х гг., когда появились первые обнадеживающие результаты эмпирических исследований, позитивистское социологическое направление уже начало претендовать на роль, аналогичную той, что играла в США «академическая» структурно-функциональная социология (тем более что оно многое заимствовало от сциентистски окрашенного структурного функционализма).

Самым крупным выразителем и вдохновителем сциентистско-позитивистской социологической тенденции, у которого она получала и теоретическое обоснование и практическое осуществление, был Рене Кениг, сменивший Визе и на посту редактора «Кельнского журнала социологии» (1954), и в качестве руководителя Немецкого социологического общества. Кстати сказать, эта смена символизировала также и изменение доминирующей ориентации в социологии ФРГ: традиционной и — по преимуществу — теоретической на «американистскую» и — в основном — «эмпирическую». Согласно убеждению Кёнига, в общем остававшемуся неизменным на протяжении всей его деятельности в послевоенный период, «социология вообще возможна только как эмпирическая социология, т. е. как социальное исследование» [17, 3]. Работы Рене Кёнига, опубликованные в Швейцарии [11], впервые после войны познакомили немецких социологов с американской социологией семьи [1, 781] и, можем мы добавить, с зарубежными новациями в эмпирической социологии вообще. Значительную роль сыграл Кёниг также и в перенесении методики и техники американской социологии и социальной психологии на почву социологии ФРГ [12; 14]; Наконец, следует отметить и тот вклад, который он внес в *теоретическое обоснование* западногерманской эмпирической социологии; акцентируя в этой связи «функционалистские» мотивы социологической теории Дюркгейма и дру-

гих европейских социологов, он двигался в том же направлении, в каком развивался структурный функционализм в Соединенных Штатах, и тем самым прокладывая этому последнему дорогу в ФРГ<sup>1</sup> [9].

Работы Кенига свидетельствуют о том, что, в отличие от своих более молодых и более энтузиастически настроенных коллег, он гораздо серьезнее относился к социологической теории и был озабочен ее дальнейшим развитием в Западной Германии. Ему не импонировала известная «атеоретичность», распространявшаяся в социологии ФРГ вместе с модой на эмпирическую социологию, — модой, дорогу которой проложил, в частности, и он сам.

Еще в статье «Немецкая социология в 1955 году» [13, 11], а затем во введении к социологическому словарю (1958) [15] Кениг писал о «тотальном отсутствии теории» в социологии ФРГ, между тем как за рубежом, по его мнению, теоретическая социология переживала расцвет. «Беспомощный эмпиризм» западногерманских социологов он связывал, в частности, с тем, что фактически ими вообще не принят во внимание «раздел науки, который образует подлинный костяк социологической теории со времен Дюркгейма, а именно структурно-функциональный анализ» [15, 14].

Однако общие позиции, которые занимал Кениг, не способствовали более широкому и глубокому пониманию социологической теории, чем то, которое сложилось в американском структурном функционализме. И в целом, как показало последующее развитие рассматриваемой ориентации, интерес к теории мог принимать здесь лишь форму *методологизма*: бесконечных разговоров о «методе», взятом в отрыве от широкой социальной теории, а потому неизбежно вырождающихся в достаточно абстрактное и схоластическое словопрение о «методике и технике». Как писал Шельски, «в этом господстве метода как решающего масштаба таится чрезвычайная опасность: безоговорочно подчинить себя его оценкам — это значит именно прийти к заключению насчет точности знания о банальностях. Взаимные подозрения заклятых эмпириков всегда позволяют утверждать, что другие якобы работают „недостаточно точно“, ибо желанию большей точности нельзя поставить никаких границ. Споры этого рода — если их вообще можно назвать спорами — по этой причине всегда оказываются неплодотворными» [25, 21]. Шельски не без основания связывал этот «методологизм» с более широкой тенденцией — «ставить сами методы на место подлежащего опосредованию с их помощью вторичного опыта» (научных фактов), в которой он видит «изначальную опасность этого рода постижения действительности» [25, 72].

Впрочем, все эти тревожные моменты сциентистско-позитивистской моды на «эмпирическую социологию», довольно рано подмеченные «сторонними наблюдателями», не особенно волновали социологическую молодежь, пока она свято верила в позитивную науку и позитивистскую методологию. Коль скоро эта вера еще сохранялась, никакой, даже самый пустопорожний «методологизм» не казался схоластикой. Наоборот, словопрения о «методе», «методике», «технике» социального исследова-

<sup>1</sup> Высказываясь в этой связи более категорично, Х. Шельски утверждает, что в основе работ Р. Кенига и Э.К. Франциза [9] лежит «структурно-функциональная теория „американцев“».

ния представлялись имеющими отношение к самой истине (тем более что понятие истины так часто подменялось у молодых социологов понятием «истинного метода»). А сетования «стариков» — скажем, Адорно — по поводу примата метода над сутью дела [4, 249] в эмпирических социальных исследованиях воспринимались как лишённые всякого смысла: как «псевдоутверждение», «антинаучная» романтика и т. д. Так что до поры до времени критические замечания в адрес сциентистско-позитивистской социологической ориентации отнюдь не мешали ее развитию, хотя в них не было недостатка.

Кроме «Кельнского журнала социологии и социальной психологии», который при Кениге публикует значительно большее число статей, посвященных эмпирико-социологической проблематике, последняя получает освещение также в журнале «Социальный мир» (основанный в 1950 г., он выпускается Управлением социальных исследований в Дортмунде); в «Ежегоднике социальной науки», выходящем с 1950 г. три раза в год (публикует как социологические статьи, так и пространные библиографии); в «Журнале аграрной истории и аграрной социологии», выходящем с 1953 г. во Франкфурте-на-Майне (два раза в год) и в других периодических изданиях журнального типа.

Надо сказать, что рассматриваемое социологическое устремление, ярче всего олицетворявшееся Кенигом, иногда захватывало и тех, кто вовсе не собирался целиком и полностью связывать свою научную судьбу с конкретно-социологическими исследованиями, а подчас даже весьма скептически относился к перспективе их дальнейшего развития. В числе таких социологов можно назвать и самого Х. Шельски, выпустившего в 1953 г. книгу «Изменения немецкой семьи в настоящее время» (в 1955 г. она вышла уже третьим изданием) [22] и участвовавшего в ряде коллективных эмпирических исследований [21; 23]; Теодора Адорно (1903–1969), опубликовавшего в 1952 г. резко критическую статью о «положении эмпирического социального исследования в Германии» [2], но тем не менее возглавившего ряд эмпирических исследований (или участвовавшего в них на правах эксперта по теоретическим вопросам)<sup>1</sup>; Ральфа Дарендорфа, первый этап социологического творчества которого был отмечен книгами «Индустриальная и производственная социология» (1956) [6], «Социальные классы и классовые конфликты в индустриальном обществе» (1957) [7] и «Социальная структура производства» (1959) [26]. Весьма различные по теоретическим и политическим ориентациям, эти авторы засвидетельствовали своими эмпирическими исследованиями (либо той или иной мерой участия в них), насколько далеко выходила рассматриваемая тенденция за свои собственные пределы, оказывая влияние на широкие круги социологической общественности.

С известной степенью огрубления и схематизации Р. Дарендорф выделил самую общую тему, объединившую социологов самых различных ориентаций на почве конкретных социологических исследований индустриальных отношений и сделавшую — в какой-то момент (и конечно же, лишь в одном отношении) — западногерманскую социологию 1950-х гг. как бы «гомогенной». «Ибо... многие... исследования снова и снова воз-

<sup>1</sup> См. руководимые Нельсоном Андерсоном и Т. Адорно [3, 10].

вращают к исходному пункту социальных аспектов индустриального труда. Если мы положим в основу широкое понятие индустриальной социологии, то станет очевидным, что сегодня в ФРГ нет ни одного социологического института или семинара, который не дал бы по крайней мере одну работу по индустриальной социологии, что, более того, — есть мало социологов, которые не опубликовали бы по крайней мере одну статью по индустриальной социологии. Конечно, многими социологами обсуждаются также и другие темы. Изменения немецкой семьи, положение учителей высшей школы, социология общины (Gemeinde), социология молодежи — все это было предметом широких исследований. Однако пункт, в котором в последнее десятилетие встречались друг с другом почти все немецкие социологи, — это социология индустрии»<sup>1</sup> [8, 106].

При этом Дарендорф сформулировал и общий результат, к которому пришла на исходе 1950-х гг. западногерманская социология в связи с исследованием этой проблематики: «Наряду с возникновением автономного менеджерско-капиталистического высшего слоя, развитием либеральной политэкономии и хозяйственной политики, институционализацией новых ценностных ориентации («жизненный стандарт», личное счастье и т. д.), чрезвычайное развитие индустриальной социологии также представляет собой симптом структурного изменения немецкого общества в направлении старого капиталистического образца» [8, 108].

Этот вывод должен был казаться весьма и весьма разочаровывающим для молодых энтузиастически настроенных социологов-эмпириков, связывавших со своими исследованиями надежды радикального свойства. Дело в том, что в период послевоенной разрухи многим, занявшимся эмпирической социологией, казалось, что антиидеологически ориентированное «чисто научное» исследование (равно как и весь процесс развития хозяйства ФРГ на основе трезвого учета требований научно-технической революции) будет способствовать возникновению в Западной Германии «совершенно нового» общества, не имеющего ничего общего с довоенной Германией и в то же время не похожего на обычное капиталистическое общество традиционно-либералистского типа<sup>2</sup>. Эта (не очень-то обоснованная) надежда и питала на протяжении более чем десятилетия рассматриваемую тенденцию, привлекая к ней социологическую молодежь. «Открытие» же того банального факта, что под аккомпанемент теоретических разговоров о «совершенно новом обществе», построенном на «позитивно-научных основах», происходило развитие в ФРГ капиталистического общества<sup>3</sup>, должно было возбудить подозрение также и насчет «радикализирующей» (и даже «революционизирующей») роли эмпирической социологии, активно участвовавшей в этом развитии. Так, среди нового поколения социологов начало распространяться скептическое отношение к той самой социологической ориентации, которая еще 5–10 лет назад казалась их предшественникам единственным противоядием от скепсиса.

<sup>1</sup> Ср также: [5; 18; 19; 20; 24].

<sup>2</sup> Отчасти этой иллюзии способствовало также и стремление американских социологов, которым подражали молодые западногерманские социологи, построить модель «современного западного общества», не обращаясь к понятию «капитализм».

<sup>3</sup> Со всеми свойственными ему классовыми противоречиями и конфликтами.

Начался период «самокритики» западногерманской эмпирической социологии, которая то и дело перерастала в *критику сциентистско-позитивистского мировоззрения вообще*, — процесс, усилившийся как раз по мере того, как обнаруживалось, что НТР, на путях которой в ФРГ было достигнуто знаменитое «экономическое чудо», «вдруг» перестала оправдывать возлагавшиеся на нее безграничные надежды и, более того, начала углублять и заострять те самые социально-экономические противоречия, которые раньше, казалось бы, преодолела. Кстати, одним из первых симптомов такого поворота было лавинообразное нарастание интереса западногерманских социологов к проблематике *социального конфликта*. Правда, первоначально она формулировалась по-прежнему в рамках эмпирической ориентации, но очень скоро вышла за ее пределы в область теоретической социологии — эволюция, особенно характерная для таких социологов, как Дарендорф, вошедший в западногерманскую (да и не только западногерманскую) социологию прежде всего, и главным образом с темой социального конфликта.

В этот период, с одной стороны, возникли серьезные внутренние разногласия в рамках рассмотренной нами социологической ориентации, а с другой — все громче и громче заявляли о себе две другие социологические тенденции, которые обозначались в западногерманской социологии уже в первое десятилетие, хотя долгое время не воспринимались как самостоятельные. Речь идет, во-первых, о тенденции, которая ярче всего персонафицировалась фигурой Хельмута Шельски — социолога «среднего» поколения, и во-вторых, о тенденции, вылившейся впоследствии в «неомарксистское» *направление* западногерманской социологии: адекватнее всего она была представлена двумя бывшими эмигрантами — М. Хоркхаймером и Т.В. Адорно, возглавлявшими Франкфуртский институт социальных исследований. Не будучи доминирующими в первое десятилетие, обе эти ориентации претендовали на роль «оппозиции Ее Величества» — сциентистско-позитивистской социологии, которая играла ведущую роль и в начале 1950-х гг., хотя, как мы видели, уже начала обнаруживать свою «неадекватность» новым общественным потребностям и новым умонастроениям.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Мильман (Мюльман) В.Е. Социология в Германии: новая расстановка сил // Современная социологическая теория. М., 1961
2. Adorno Th. Zur gegenwertigen Stellung der empirischen Sozialforschung in Deutschland. In: Ernpirische Sozialforschung. Frankfurt am M., 1952.
3. Adorno Th. (Dirks W.) (Hrsg.) Betriebsklimat, eine industrialsoziologische Untersuchung aus dem Ruhrgebiet. Frankfurt am M., 1955.
4. Adorno Th. Soziologie und eüpirische Forschung // Wesen und Wirtlichkeit des Menschen. Festschrift für Helmut Plessner. Göttingen, 1957.
5. Betrieb // Worterbuch der Soziologie / Berndorf und Bulow. Stuttgart, 1955.
6. Dabrendorf R. Industrie und Betriebssoziologie. 1956.
7. Dabrendorf R. Soziale Klassen und Klassenkonflikte in Industrieller Gesellschaft. Stuttgart, 1957.
8. Dabrendorf R. Pfade aus Utopia. München, 1968.

9. *Franzis E.K.* Wissenschaftliche Grundlagen soziologischen Denkens. München, 1957.
10. Gemeindestudie des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung. Darmstadt, 9 Bände, 1959.
11. *König R.* Materialien zur Soziologie der Familie. Bern, 1946.
12. *König R.* Das Interview: Formen, Technik, Auswertung. Dortmund, 1953.
13. *König R.* Die deutsche Soziologie // KZfSS. VIII, 1956.
14. *König R.* (Hrsg.) Praktische Sozialforschung II. Beobachtung und Experiment in Sozialforschung. Köln, 1956.
15. *König R.* Soziologie. Frankfurt am Main, 1958.
16. *König R.* Die Situation der emigrierten deutschen Soziologen in Europa // KZfSS, II/I. 1959.
17. *König R.* Handtauch der empirischen Sozialforschung. Bd. I. Stuttgart, 1962.
18. *Lepsius R.* Industrie und Betrieb // Soziologie. Fischer Lexikon. Bd. 60 / R. König, 1958.
19. *Martin A.V.* Gesellschaft und Wirtschaft // Handbuch für Sozialkunde / V.A. Wittmann / Teil 6. München, 1965.
20. *Meuller F.H.* Soziale Theorie des Betriebs. 1959.
21. *Schelsky H.* Arbeitslosigkeit und Berufsnot der Jugend. Köln, 1952.
22. *Schelsky H.* Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart. Dortmund, 1953.
23. *Schelsky H.* Arbeitsjugend gestern und heute. Heidelberg, 1955.
24. *Schelsky H.* Industrie und Betriebssoziologie // Soziologie, ein Lehr- und Handbuch zur modernen Gesellschaftskunde / A. Gehlen und H. Schelsky / Dusseldorf; Köln, 1955.
25. *Schelsky H.* Ortbestimmung der deutschen Soziologie. Dusseldorf; Köln, 1967.
26. Sozialstruktur des Betriebs. Wiesbaden, 1959.

## НАРАСТАНИЕ КРИЗИСНОЙ ТЕНДЕНЦИИ: САМОКРИТИКА СОЦИОЛОГИИ (СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ САМОРЕФЛЕКСИЯ Х. ШЕЛЬСКИ)

Из сказанного очевидно, что особенности названной тенденции<sup>1</sup> должны были достаточно четко выявиться именно (и в первую очередь) в связи с отношением ее теоретических выразителей — например, того же Шельски — к эмпирическому социальному исследованию. Шельски полагает, что если, судя по используемой методике и технике, эмпирическую социологию в ФРГ и можно рассматривать как результат американского влияния, то по реально-историческим и мировоззренческим импульсам, вызвавшим к жизни эту социологию, ее следует считать имеющей свои собственные, совсем не зарубежные источники. «Эта рецепция американской эмпирики и ее связь с возрождением эмпирического социального исследования из традиций немецкой социологии, — писал Шельски, — имеет действенные социальные причины в самом положении и сознании немецкого общества после 1945 г., весьма существенно отличающиеся от импульсов, из которых возникло и черпает жизненные силы это социально-научное направление» [11, 55].

Среди этих причин Шельски также выдвинул на первое место «антиидеологическую потребность обрести реальность и ориентацию в ней», которая характеризовала не только ученых в области социальных наук, вступивших в свою «постидеологическую фазу», но и послевоенный социальный опыт и общественное сознание немцев вообще [11, 56]. Речь шла о том, утверждал Шельски (выдавая здесь точку зрения социологов близкой ему ориентации за стремление «немцев вообще»), чтобы «проверить состояние дела и мысли с помощью форм и методов, которые возможно более приближены к непосредственному опыту и, насколько это возможно, избегают универсально-всеобщих толкований с их идейным совратитель-

---

<sup>1</sup> Эта тенденция была представлена в первое послевоенное десятилетие главным образом «средним» поколением социологов — из числа тех, чье мировоззренческое формирование и последующая научная деятельность проходили в условиях господства национал-социализма. Это было, по выражению Дарендорфа, «среднее поколение 50-летних, поколение, ставшее „скептическим“, стало быть, однажды верившее в богов, которых не было. У них отсутствует — возможно, из чувства такта — мужество, необходимое для морального решения; им могла быть свойственна лишь позиция, предписывающая социологу роль бессильного наблюдателя неблагополучия» [2, 100]. «Совершенно ясно, — писал Шельски о социологах «среднего» поколения, — что эти ученые в какой-то форме заключали и должны были заключать соглашение с социальным мыслительным материалом, бывшим в ходу в Германии между 1933 и 1945 гг.; как далеко заходила их внутренняя идентификация (с упомянутым «мыслительным материалом». — *Ред.*), — трудно решить» [11, 40].

ством» [11, 56]. Речь шла о том, чтобы удовлетворить потребность в ориентации «после социальной и политической катастрофы, которая потрясла наше общество до основания, прямо-таки вывернула наизнанку все привычные социальные отношения» [11, 56], сведя ее причины «к идеологическим искажениям действительности и лжи с помощью идей»<sup>1</sup> [11, 56].

Тяготение к эмпирической социологии вырастает, по Шельски, одновременно из реальной общественной потребности и скептического умонастроения, — из их «смешения» [11, 56]. И он был бы прав, если бы говорил при этом только от имени своего «скептического поколения», которое уже неспособно было увлечься новыми идеалами и могло осуществлять только одну задачу: «разоблачать все идеи, разрушать все утопии»<sup>2</sup> [11, 56].

В этом все разъедающем скептицизме заключалась главная особенность рассматриваемого социологического направления, отличавшая его как от первой («патриархи» отнюдь не перестали верить в идеалы, которыми была вдохновлена их социология), так и от второй («эмпирики» и старого и молодого поколения при всем их универсальном критицизме веровали в положительную науку совсем на религиозный манер<sup>3</sup>) из рассмотренных нами тенденций социологии ФРГ. Его общим источником — и здесь можно согласиться с Шельски — была «глубокая социальная дезориентированность» [11, 57] известной категории ученых, оставшихся в Германии при Гитлере и доживших до полного разгрома национал-социализма. В отличие от реваншистов, они сумели понять этот разгром именно как крах нацизма вообще, а не как «ошибку», «случайность» или что-нибудь в подобном роде. У них действительно было много общего и с молодым поколением, утратившим веру в те идеалы и ценности, под знаком которых проходило его «национал-социалистское воспитание», — в частности, упомянутая «социальная дезориентированность». Но было и нечто, принципиально различавшее два этих поколения: прямая или косвенная причастность к преступлениям гитлеризма первого и (за редкими исключениями) непричастность второго. И если молодежь могла сделать для себя «бывшее небывшим» и вообще освободиться от гнета национал-социалистского прошлого, не впадая при этом в абсолютный скептицизм, то ученые типа Шельски оказались неспособными на такой акт духовного возрождения — освобождение от прошлого давалось им (если вообще давалось) лишь ценой скептического бессилия.

Не менее существенным было различие в отношении к эмпирической социологии между «скептическим поколением», с одной стороны, и «стар-

<sup>1</sup> «Немцы, — Шельски развил эту мысль, возводя в степень всеобщности мироощущение своего поколения (поколения людей, идейное и научное формирование которых совершилось в условиях национал-социалистской Германии), — потеряли почти всякую историческую самодостоверность, Германия стала незнакомым социальным предметом. Таким образом, чувство того, что почти всюду оперируют устаревшими и ирреальными представлениями, стало, по-видимому, сильнейшим импульсом нашего общественного сознания к тому, чтобы оценить и потребовать социально-научного восприятия действительного положения вещей, взятого в его трезвейшей фактичности».

<sup>2</sup> В этой связи Шельски цитировал книгу К. Манхейма «Идеология и утопия», вызвавшую к себе новый интерес в послевоенной Западной Германии.

<sup>3</sup> Шельски говорил в этой связи о «мессианских стремлениях немецких коллег, возвратившихся из эмиграции или после долгого обучения в США» [11, 55].



шим поколением» — с другой. Последнее, по Шельски, требовало «социально-научной эмпирики» совсем не в качестве «лекарства от глубокой социальной неуверенности». Столь же непонятной должна была казаться «старикам» и «амбивалентность социальной дезориентированности», характерная для «скептического поколения»: «колебание между социальным чувством вины и социальным ощущением невиновности» [11, 17]. Шельски, между тем, утверждал, что именно в связи с этой «фундаментальной социальной дезориентированностью», свойственной отнюдь не только одним социологам, «устремления эмпирического социального исследования очень скоро приобрели общественный интерес и актуальность, которые не всегда были соразмерны их научному значению» [11, 17]. Этого, по его мнению, не понимали ни старейшие социологи, ни — в особенности — те возвратившиеся из американской эмиграции социологи-эмпирики, которые связывали широкую популярность эмпирической социологии в Западной Германии с тяготением послевоенных немцев к «американизму».

Следует отметить, что и мнение Шельски было верным в лучшем случае только наполовину. Ибо для «среднего класса», формировавшегося в Западной Германии и с завистью смотревшего на своего благополучного «собрата» в Соединенных Штатах, перспектива преодоления «фундаментальной дезориентированности» совпадала с перспективой «американизации» ФРГ на путях научно-технической революции. Именно совпадение этих перспектив особенно воодушевляло социологов эмпирического направления (как возвратившихся эмигрантов, представителей «старшего» поколения, так и молодых социологов, учившихся в США, или в Западной Германии, но на американских образцах). Вот почему оказался неосуществимым замысел, сквозивший в приведенных выше рассуждениях Шельски: создать «не»- или даже «анти»-американскую эмпирическую социологию.

Достаточно противоречивым было и представление о генеральной перспективе развития социологии в целом, сложившееся в рамках рассматриваемой социологической ориентации. Шельски, с большой ясностью и отчетливостью выразивший это представление, и в данном случае был гораздо более силен как скептически настроенный критик реального положения дел, чем как теоретик, предлагающий конструктивно-творческую альтернативу существующего. В отличие от «традиционно» ориентированных социологов Шельски не считал западногерманскую социологию простым возрождением и развитием социологических концепций 1920-х — начала 1930-х гг. В отличие же от «американски» настроенных социологов он не хотел рассматривать эту социологию как совершенно новый продукт влияния социологии США, сопровождающего процесс общей «американизации» экономической и политической жизни ФРГ. Наконец, в противоположность и первым и вторым Шельски хотел бы в качестве важнейшего (если не основополагающего) источника послевоенной западногерманской социологии сохранить линию, ведущую от «философской антропологии» Шелера (1874–1928) к социологии, развиваемой в этом духе Э. Баумгартеном и А. Геленом [4; 6; 7], К. Лоренцем и В.Э. Мюльманом, Х. Плеснером [9] и А. Портманом, Э. Ротхакером и самим Шельски.

«В промежуточности» рассматриваемой социологической тенденции, в ее «скованности» национал-социалистским прошлым (даже при очевид-

ном желании порвать с ним, которое характеризовало послевоенную мировоззренческую эволюцию, например, того же Шельски) — основной источник ее глубочайшей противоречивости и узости, граничившей подчас с провинциализмом. Ее теоретические представители ни в чем не могли быть до конца последовательными: ни в критике в общем-то не очень приемлемых для них «патриархов» немецкой социологии, ни в споре с позитивистски и сциентистски настроенными проводниками американского влияния в социологии ФРГ, ни даже в отстаивании той философско-социологической традиции, от которой они не могли отречься, хотя уже отреклись от всего, что было связано с ее социально-политическими «импликациями» и что способствовало в свое время «вписыванию» этой традиции в общий политико-идеологический «контекст» гитлеровского режима. Все это — и чем дальше, тем больше — низводило теоретических выразителей рассматриваемой тенденции на положение «аутсайдеров» в социологии ФРГ, — позиция, не лишенная, впрочем, и своих (конечно же, весьма относительных) преимуществ, поскольку способствовала фиксации всего того, что относилось к слабостям и недостаткам всех других направлений западногерманской социологии.

Основную особенность социологии ФРГ Шельски видит в том, что она возникла из двух источников — политической экономики и философии<sup>1</sup>, причем, несмотря на далеко зашедшую (уже после Второй мировой войны) эмансипацию от них, она все еще содержит «интенции» как первой, так и второй, хотя и направленные уже не «вовне» — на смежные с ней дисциплины, а «вовнутрь» — на ее саму.

Согласно Шельски, существовавший прежде «симбиоз» социологии, политэкономии и философии имел плодотворные результаты как для нее самой, так и для политэкономии и философии. Для политэкономии социология имела значение общей методологии, заменяя в этой своей функции философию («переводя» философские категории на язык, более доступный экономической науке). По отношению же к самой философии она играла роль резервуара, концентрировавшего социальный и политический опыт, столь необходимый философам, которые, начиная с И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегеля и кончая М. Шелером и О. Шпенглером, отправлялись от этого опыта как от основополагающего, представляющего собою преимущественный интерес для философского знания [11, 15].

Но к концу первой половины XX в. развитие политической экономики и философии привело к тому, что они перестали испытывать нужду в социологическом знании. Первая — потому что она выработала свой собственный категориальный аппарат и свою методологию, ориентированную на математику, словом, «обратилась к иным основам своей теории» [11, 25]; вторая — потому, что в ней стал иссякать интерес к социальному и политическому опыту. В результате и политэкономия и философия как

<sup>1</sup> «Своеобразная связь философии и политэкономии, которая возникает в качестве специфически немецкой социологии, в своем контексте решающим образом определяла эту науку в Германии на протяжении всего XIX столетия вплоть до первой трети прошлого столетия включительно. От гегелевской „философии права“, от Маркса и Лоренца фон Штайна — через историческую школу — вплоть до Макса Вебера и Альфреда Вебера, Тённиса и Зомбарта, Зиммеля и фон Визе, Фрайера и О. Шпанна, односторонним образом у Мангейма и Шелера, с одной стороны, и Шумпетера — с другой, мы находим комбинацию этих ведущих элементов, — естественно, с различными акцентами на них».

бы «вытолкнули» из себя социологию, которая дальше должна была двигаться в одиночку<sup>1</sup>, т. е. делать как раз то, к чему социологи совсем не привыкли. Иначе говоря, с первых же шагов своего самостоятельного развития социология (во всяком случае, так обстояло, по Шельски, дело с социологией в ФРГ) должна была столкнуться с большими трудностями, ибо оказалось, что не только она «обслуживала» политическую экономию и философию, но и последние «обслуживали» ее: первая — материалом, вторая — общей методологией.

Если верить Шельски, задача западногерманской социологии, ставшей «автономной» научной дисциплиной, заключалась в том, чтобы превратить нужду в добродетель: то, что раньше социология делала для других наук, теперь она должна делать для самой себя. А это значит, что она должна своими собственными средствами создать для себя общую теорию, уподобляясь в этом отношении философии, т. е. становясь философией «самой себя», и одновременно добывать для себя «материал опыта», т. е. быть «своей собственной политэкономией». Социология, писал Шельски, «была достаточно долго связана с экономической наукой, чтобы не унаследовать неотъемлемую от нее научную форму социально-научной эмпирии и надстраивающееся на ней требование практического применения знания, т. е. характер функциональной науки. С другой стороны, как раз вместе со своим философским наследием немецкая социология приносит требование научным образом решать проблему социально-, культурно- и историко-философского объяснения» [11, 17–18].

Шельски вынужден констатировать, что эти два аспекта научно-социологической постановки вопроса так и остались необъединенными вплоть до конца 1950-х гг.; более того, на почве каждого из них рождалась «своя» социология, исключавшая другую и многое терявшая от собственной непримиримости и односторонности. «С одной стороны, — констатировал Шельски, — понимание социологии как функционально-аналитической опытной науки толкает нашу дисциплину по пути все более сильного акцентирования эмпирического и квантитативного исследования с его статистическими и монографическими методами, с его интервьюированиями, опросами мнений и изучением позиций» [11, 19–20]. Причем исследования этого рода быстро дифференцируются в соответствии с более или менее определенно выделившимися предметными областями: социология индустрии и производства, социология семьи, аграрная социология и т. д. Конечная цель этих исследований — применение, использование социологических данных в области социальной политики, общественного планирования и пр.

«Прообраз этого направления развития — это, безусловно, современная социология США» [11, 20], где доминирует эмпирическое направление, характеризующееся высокой степенью точности исследования, разработанностью методики и техники. Здесь также вся сфера эмпирической социологии «логически связывается с помощью структурно-функциональной аналитической теории, согласующейся с эмпирической тенден-

<sup>1</sup> «В этом смысле автономия социологии как социальной дисциплины среди других наук следует понимать в качестве продукта раскола философии, с одной стороны, и политэкономии — с другой, возникшего в ходе их специализированного развития, сопровождавшегося отколом от них социологии».

цией исследования, — теории, которая, со своей стороны, в принципе отказалась от культурно-критических или философско-исторических толкований общества» [11, 20]. Такая социология, отказывающаяся от ценностного подхода и ограничивающаяся «чисто диагностическим анализом» (Шельски), представляет собой специальную дисциплину, которая, говоря словами Р. Кенига, «есть не что иное, как собственно социология»<sup>1</sup>.

«Другую сторону немецкой социологии, — пишет Шельски, — характеризуют обычно как социологию культуры или социальную философию. Она претендует на то, чтобы объяснить связь социальной и исторической жизни как целое и обнаружить развитие и опасности социальной жизни в универсальной смысловой связи. Так как она никогда строго не определяет “социальное”, то обращается со своими толкованиями к общим явлениям культуры, актуальным в ее время. Анализ культуры и критика эпохи — это ее дело и диктат, под которым она находится». Развитие этого аспекта западногерманской социологии Шельски связывает с той же общественной потребностью, которая обеспечивала широкую поддержку эмпирического направления в ФРГ: потребностью в преодолении «дезорентированности» немцев, утративших веру в прежние «идеологические социальные объяснения», относительно «их собственной социальной судьбы и окружающего социального мира» [11, 21].

Сложность этой «потребности в ориентации в мире и социальном объяснении» заключалась, по Шельски, именно в том, что «западногерманское общество» первого послевоенного десятилетия не принимало ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего идеологию или «миросозерцание»<sup>2</sup> [11]. Отсюда — особая ценность в глазах западногерманских немцев тех социологических направлений, в рамках которых эта потребность удовлетворялась в диаметрально противоположной форме, в форме универсальной критики: критики всякой идеологии и всякого мировоззрения<sup>3</sup>. Однако то обстоятельство, что и эмпирическая социология, и социальная философия (социологическая критика культуры, мировоззрения, идеологии и т. д.) возникли в общем и целом из одной и той же социальной потребности, не мешало этим социологическим ориентациям враждовать друг с другом, соперничая из-за социологического «первородства» (и это не говоря уже о том, что и внутри соперничающих ориентаций каждый социолог претендовал на обладание «своей собственной социологией», которой он занимался, не обращая никакого внимания на своих коллег) [11, 24–25].

Обе эти стороны западногерманской социологии Шельски, что опять-таки весьма характерно для персонифицируемой им социологической тенденции, стремился однозначным образом связать только с идеологической и общественно-политической ситуацией ФРГ, «замкнув» их в ее национальных и географических границах. Он полагал, что если бы и остальные западногерманские социологи поступили таким образом, пре-

<sup>1</sup> Шельски цитирует [8, 7].

<sup>2</sup> Автор намекает здесь на «национал-социалистское миросозерцание», насильственно насаждавшееся при Гитлере.

<sup>3</sup> В качестве примера социологов этого типа у Шельски фигурирует Хоркхаймер и Адорно, а также Ханс Фрайер (в особенности в связи с книгой [3]) и А. Рюстов (см. монументальный труд последнего [10]). Любопытно, что двух последних авторов он ставит в один ряд с американцем Девидом Рисменом, известным своей книгой «Толпа одиноких».

кратив бесконечную гонку за «последними словами» американской социологической мысли<sup>1</sup>, то они смогли бы совокупными усилиями концентрировать социологию Западной Германии исключительно вокруг «внутри-немецких» проблем и развить социологическую теорию дальше на основе «немецкой», а не американской традиции. Только таким образом, по мысли Шельски, западногерманская социология могла бы преодолеть свой главный недостаток — *дилетантизм*, возникающий в условиях расщепления теоретического и эмпирического ответвлений единого древа социологии ФРГ, когда каждое из них претендует на самостоятельное значение, а импульсы для дальнейшего развития ищет за океаном.

Шельски считал иллюзорным представление сциентистски и позитивистски ориентированных социологов, согласно которому существует только одна социология, стандарты которой задаются в настоящее время американскими социологами. Он утверждал, что существуют две социологии: «американская социология, с одной стороны, и русская социология — с другой» [11, 26–27]. Каждая из них, по Шельски, представляет собой отражение определенной «исторической судьбы», причем, согласно его убеждению, «судьба западногерманского общества», принципиально отличная от судьбы «восточного блока», «к счастью или к несчастью... все еще тождественна социальному развитию американского общества» [11, 27].

ФРГ, по убеждению Шельски, стоит как бы на перепутье — пойти своей дорогой, прислушавшись к голосу собственной «исторической судьбы», или, поддавшись мощному влиянию, идущему из-за океана, стать чем-то вроде европейской провинции США. В этой ситуации немецкая социология, построенная по американскому образу, может стать «инструментом американизации, по меньшей же мере инструментом социального конформизма по отношению к американскому социальному развитию и тем самым помочь не имеющему значения провинциализму науки превратиться в более фундаментальный провинциализм общества и его социального самосознания» [11, 27].

Путь развития западногерманской социологии, созвучный голосу «исторической судьбы» послевоенной Германии, Шельски (как и другие представители рассматриваемого социологического устремления — например, Гелен) видел в «споре» социологов ФРГ с американской социологической мыслью, с одной стороны, и советской — с другой. Этот спор, по его мысли, должен основываться на глубоком, «интимном познании» и первой, и второй. Причем, предостерегал Шельски, имея в виду реальную ситуацию социологии ФРГ, «решение этой задачи не может начинаться с того или вообще заключаться в том, чтобы перенимать специфически американскую систему функционально-структурального анализа как всеобщую социологию, а бесконечное и детальнейшее эмпирическое исследование — как подлинный стандарт нашей профессии — и по возможности приспособливаться к ним» [11, 27]. В пику Дарендорфу он именно такое стремление расценивал как «форму провинциализма», стремящегося «заменить мысли информированностью» [11, 28], информированностью о том, что происходит в социологии, выросшей на совершенно иной

<sup>1</sup> Тенденция, которую он усматривал в сетованиях Р. Дарендорфа по поводу «провинциализма» социологии ФРГ [1, 139].

почве, в обществе со своей судьбой, в корне отличной от «однократной исторической ситуации» ФРГ [11, 28].

В противоположность «американистски» настроенным социологам, представители рассматриваемой ориентации выдвигали на первый план не конкретно-эмпирическую, а именно *общесоциологическую* проблематику, исходя при этом из факта недостаточности (или просто неудовлетворительности) структурного функционализма, его неспособности играть роль общей социологической теории, во всяком случае, для западногерманской социологии. При этом они вступали в конфликт с молодыми западногерманскими социологами, которые, например, на XIII конгрессе социологов в 1956 г., требовали диаметрально противоположного (расширения проблематики эмпирического исследования, более активной ассимиляции американской социологической теории и т. д.), выступая против «философско-исторического проблематизирования» социологии ФРГ [11, 29]. Защищаясь от этих упреков, социологи «среднего» поколения апеллировали к тем молодым социологам, которые при всем своем «американизме» не утратили еще интереса к большой социологической теории и, как, например, Дарендорф, жаловались на то, что за рубежами ФРГ — и даже в той же Америке — гораздо больше ценят представителей «великой немецкой традиции социологии»: Тённиса, Зиммеля, Вебера или Михельса, Манхейма, Гайгера, чем в самой Западной Германии [11, 29].

Впрочем, к голосу представителей «среднего» поколения в послевоенной западногерманской социологии не прислушивались в эти годы не только в связи с победоносно шествовавшей в ФРГ модой на американскую эмпирическую социологию и структурно-функциональную социологическую теорию. Дело в том, что ни Шельски, ни его учитель Гелен не могли предложить реальной альтернативы «социологической экспансии» США (которая одновременно была бы и альтернативой марксистской социальной мысли). Они гораздо лучше представляли, чего они *не хотят* (отсюда — меткость многих их замечаний, касающихся реального положения дел в социологии ФРГ), чем то, чего же, собственно, они *хотят*, что же составляет их позитивную социологическую программу. Здесь они могли предложить лишь ряд скорее общефилософских, чем общесоциологических концепций, восходящих к «философской антропологии», например, связанных с геленовской трактовкой понятия «институт»<sup>1</sup> или идеей «трансцендентальной теории общества», которой, по Шельски, следовало бы «дополнить общую социологию»<sup>2</sup> [11, 93–109]. Если даже к этому прибавить целый ряд метких критических замечаний, высказанных Шельски и Геленом по поводу структурно-функциональной теории Парсонса [11, 87–92], то, в общем и целом, этого явно недостаточно для того, чтобы предложить позитивную альтернативу американской социологии с ее детально разработанной теоретической системой и весьма утонченными методами конкретно-эмпирического анализа.

<sup>1</sup> См. вторую часть книги Гелена [7, 7–137].

<sup>2</sup> Здесь его социология просто возвращается в лоно философии, не выполнив обещания решать проблемы, завещанные философией, средствами, находящимися в распоряжении социологии.

---

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Dabrendorf R.* Betrachtungen zu einigen Aspekten der gegenwärtigen deutschen Soziologie // KZfSS, 1959.
2. *Dabrendorf R.* Pfade aus Utopia. München, 1968.
3. *Freyer H.* Theories der gegenwärtigen Zeitalter. Köln, 1961.
4. *Geblen A.* Probleme einer soziologischen Handlungslehre // Soziologie und Leben. Tübingen, 1952.
5. *Geblen A.* Die Seele in technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme der industriellen Gesellschaft. Hamburg, 1957.
6. *Geblen A.* Studien zur Anthropologie. Neuwiedam Rhein, 1963.
7. *Geblen A.* Urmensch und Spätkultur. Bonn, 1965.
8. *König R.* Einleitung // Soziologie. Fischer Lexicon. Frankfurt am M., 1957. Bd. 10.
9. *Plessner H.* Zwischen Philosophie und Gesellschaft. Bonn, 1953.
10. *Rüstow A.* Ortbestimmung der Gegenwart. Eine iniversal-geschichtliche Kulturkritik. 3 Bd. Zürich; Stuttgart, 1951–1957.
11. *Schelsky H.* Ortbestimmung der deutschen Soziologie. Dusseldorf; Köln, 1967.

Раздел V. Социология в ФРГ (1940–1960-е годы)...

## РАЛЬФ ДАРЕНДОРФ: СОЦИОЛОГИЯ ТЕХНИКИ КАК ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Социологическое осмысление техники (в отличие от социально-философского) осуществлялось в ФРГ в рамках индустриальной социологии, окончательное оформление которой в качестве специальной социологической дисциплины произошло уже после Второй мировой войны. Вот почему необходимо начать рассмотрение темы с общей характеристики развития индустриальной социологии, сопровождающегося изменением места и роли в ее структуре проблемы техники, взятой в социологическом аспекте.

В одной из своих ранних работ — небольшой книжке «Социология индустрии и производства» (1956) Ральф Дарендорф (в то время сотрудник Социологического Университета земли Саар) вообще связывал социологию с «индустриальным обществом», к которому он отнес Западную Европу, США и Россию; отсюда с логической необходимостью следует «приоритетное» положение «индустриальной социологии» в составе социологического знания, т. к. ее проблематика оказывается ключевой для современной социологии в целом. «Тот факт, прежде всего лишь технико-экономический, что производство благ осуществляется на фабриках и с применением механических вспомогательных средств, оказывает внутреннее воздействие в интимнейших областях социальной жизни людей в этом обществе... Почти все люди в индустриальных обществах опосредованным образом зависят от индустрии, ее производственных предприятий и их деятельности, ее технического развития и ее хозяйственной судьбы. Механизация всей жизни, рост больших городов и концентрация человеческих масс, разрушение прочно скроенного единства семьи доиндустриального времени, возникновение общественных конфликтов и напряжений между предпринимателями и рабочими — все это и многое еще суть следствие или сопроводительные явления индустриального производства» [1, 4].

Вот почему, согласно Р. Дарендорфу, не следует удивляться тому, что отрасль социологии, имеющая своим предметом индустрию и индустриальное производство, развивалась «в последние годы» едва ли не быстрее, чем сам ствол — общая социология [1, 4]. Тем самым подтверждается та мысль (приведенная в книге со ссылкой на А. Гелена и Х. Шельски), что в интересе к социологии всегда выражается интерес людей к тому обществу, в котором они живут. Возрастающий интерес к индустриальной социологии — это интерес к обществу, в котором индустриальное производство на все накладывает свою печать.

В отличие от общей социологии, имеющей своим предметом социальное действие вообще, социология индустрии и индустриального произ-



водства ограничивается, по Дарендорфу, тем «отрезком социальной деятельности», который дан «посредством» (а вернее, в рамках) «индустриального производства благ» [1, 5]. Но при этом автор не вполне согласен рассматривать ее в духе американской социологической традиции как прикладную науку, т. к. здесь таится опасность неверного вывода, будто индустриальная социология «нацелена не на познание, а на активное изменение действительности» [1, 5]. Вот почему он более склонен, в согласии с Х. Шельски, называть ее специальной социологической дисциплиной, а не прикладной. Но поскольку интерес социологии в целом (при всем предпочтении, которое она отдает именно современному, т. е. «индустриальному» состоянию общества) шире, чем интерес к индустриальному обществу, постольку Дарендорф предлагает рассматривать ее не в качестве «специальной социологии» вообще, но в качестве «специальной социологии индустриального общества» [1, 6]. Впрочем, речь идет здесь не просто об ограничении исследовательской области индустриальной социологии, т. к. в последнем определении все время имеется в виду ее центральное место в «социологии индустриального общества» и, соответственно, определяющая роль в ней; индустриальная социология все время норовит обернуться общей теорией индустриального общества или, по крайней мере, материнским лоном, в котором должна рождаться его социологическая теория.

В рамках «социологии индустрии и производства» (развернутое название индустриальной социологии) Дарендорф выделил три «тематических круга»: 1) социальная структура индустриального производства, 2) социальные проблемы индустриальной жизни, 3) индустрия и общество [1, 8]. Он против того, чтобы сводить всю проблематику индустриальной социологии к первому «тематическому кругу», когда производство в определенном смысле оказывается «уменьшенной моделью общества в целом». При этом есть риск утратить специфику социальных отношений, складывающихся в производственном процессе, поскольку здесь люди выступают не как «личности вообще», а как исполнители определенных производственных задач и соответственно персонификации определенных производственных «позиций». В этой связи встает вопрос о взаимоотношениях рабочего и машины, человека и техники, вне которых невозможно понять специфику социальных отношений, складывающихся в индустриальном производстве. Это вопрос, который одинаково интересует и социологию, и психологию индустрии; однако, по мнению автора книги, спор о размежевании социологического и психологического подходов к этой пограничной сфере малопродуктивен. «Фактически и те и другие, социологи и психологи, внесли значимый вклад в наше знание объективной и субъективной ситуации в Мире машин» [1, 10].

Р. Дарендорф считал, что наименьшее внимание обращалось в индустриальной социологии на третий «тематический круг» — отношение индустрии и общества. Он солидарен с Х. Шельски, который призывал социологов продумать проблему производства именно в ее отнесенности к соответствующим структурам и проблематике общества в целом [8, 194]. Речь идет о контексте, в рамках которого «рабочий», «служащий» и «предприниматель» — это обозначение не только производственных функций, но и «позиций в общественном целом» [1, 10]. При таком подходе становится

очевидным, что отношения власти, социальная ситуация и соотношение интересов на производстве и вне его «связаны самым тесным образом» [1, 10].

Как можно заключить на основании обзора тематики индустриальной социологии, предложенного Дарендорфом, социальные проблемы техники не занимали в ней особого или преимущественного положения в период написания книги. Современная техника предполагалась как «условие возможности» современного индустриального производства, но не тематизировалась как специальный объект анализа, подлежащий социологической расшифровке; предметом рассмотрения в рамках «социологии индустрии и производства» были отношения «по поводу техники» (включая и отношение человека к технике), но не она сама, не процессы технического развития, взятые под социологическим углом зрения. Техника предстает как «данность», с которой человек вынужден считаться, приспособлявая к ней свои социальные отношения. Тот же подход нашел отражение и в разделе книги, посвященном истории развития индустриальной социологии, хотя здесь вроде и открывались дополнительные возможности для иного, более социологического, так сказать, рассмотрения техники.

Анализируя процесс становления проблематики индустриальной социологии в XIX в., Дарендорф обратил внимание на идею «отчуждения человека в ситуации индустриального труда», которая, по его мнению, «и сегодня принадлежит к центральным постановкам вопроса в социологии индустрии и производства» [1, 17]. Автор книги констатировал также, что, начиная с Сен-Симона и К. Маркса и кончая английскими фабианцами и немецкими социальными политиками, авторы, занимавшиеся индустриальным производством в социальном аспекте, усматривали в нем «корень конфликта интересов... между теми, кто обладает средствами производства, фабриками и машинами или контролирует их, и теми, кто продает свою рабочую силу на условиях контракта, свободного лишь по видимости» [1, 18]. И хотя, согласно Дарендорфу, социальное исследование индустрии продвинулось здесь дальше, получив «весьма и весьма дифференцированные результаты», тем не менее оно «временами слишком легкомысленно пренебрегает, предавая ее забвению, тематической установкой, изучением индустриального конфликта и его социальных последствий» [1, 18].

Вместе с Л.Х.А. Геком [5] Р. Дарендорф отнес период становления проблематики индустриальной социологии в XIX в. к ее предыстории, а собственно историю ее возникновения и развития — к XX столетию. Подобно Геку, он считал, что становление этой специальной отрасли социологического знания заняло три первых десятилетия XX в. В числе важнейших моментов этого процесса, происходившего параллельно как в Германии, так и в других европейских странах, а также в США, автор книги называл усиленное внимание к проблематике индустрии и индустриального производства со стороны общей социологии; обращение социологов к эмпирическим методам исследования и совершенствование этих методов; наконец, «общее открытие „человеческого фактора“ в индустрии, т. е. реальности неэкономических структур и феноменов» [1, 20]. В Германии у истоков индустриальной социологии стояли Г. Шмоллер и Р. Эренберг,

В. Зомбарт, М. Вебер и Л. Фон Визе, в США — Т. Веблен, в Англии — С. и Б. Уэбб, Р.Г. Тауни, во Франции — Э. Дюркгейм.

Любопытно, что открытие «человеческого фактора» в хозяйстве предстало у Дарендорфа так, будто оно скорее заслонило проблему социологической расшифровки технико-экономических параметров индустриального производства, традиционно рассматриваемых в чисто «объективном» аспекте. Он считал его «подлинно научным событием» [1, 21], означавшим постижение того, что «наряду с экономико-технической индустриальное производство имеет также социальную реальность», где решающую роль играет «мотивация его (производства. — Ю. Д.) носителей» [1, 22]. И в самом деле: открытие этой «реальности», социологической в собственном смысле, было способно скорее отвлечь исследовательское внимание от социологического анализа феноменов, относящихся, казалось бы, к реальности совершенно иного порядка. Впрочем, было и еще одно отвлекающее обстоятельство. Акцент на «человеческом факторе», который делали социологи, стоящие у истоков индустриальной социологии, должен был стимулировать их полемику против тейлоризма с его идеей «научной организации производства», в основе которого лежала предпосылка о возможности и необходимости математического учета объективных параметров производства — как технико-экономических, так и чисто физиологических.

«Основное допущение его (Ф.У. Тейлора. — Ю. Д.) науки — в том, что индустриальное производство представляет исключительно экономико-техническое образование, что рабочий движим только желанием более высокой заработной платы, что все напряжения внутри индустрии могут быть преодолены путем достижения максимальной производительности...» [1, 22–23]. И если, с одной стороны, это допущение «в определенной степени обозначало исходную позицию современной социологии индустрии и производства» [1, 28], то с другой — сама эта дисциплина могла развиваться лишь на путях «опровержения ложных предпосылок Тейлора» [1, 23]. А это должно было, по крайней мере на первых порах, вести к противоположению технико-экономических и «собственно социологических» аспектов индустриального производства, препятствуя социологической артикуляции вопроса о современной индустриальной технике. К тому же существовали определенные трудности также и с социологической расшифровкой самого «человеческого фактора», который считался социологическим уже, так сказать, по определению. Дело в том, что господствовавшее среди либерально (а подчас и радикально) настроенных социологов индустрии представление об «отчужденности» социальных отношений, существующих в индустриальном производстве (результат романтической идеализации «социальных отношений доиндустриального производства»), по мнению Дарендорфа [1, 31], серьезно препятствовало их вычленению и артикуляции. И потребовались немалые усилия для того, чтобы увидеть эти отношения такими, каковы они были на самом деле, — как социальные отношения, внутренне присущие именно индустриальному производству, а не в качестве извращения доиндустриальных трудовых отношений.

Во всяком случае, к числу недостатков немецкой индустриальной социологии периода ее становления (до начала 1930-х гг.) Р. Дарендорф —

вслед за Х. Шельски — отнес во второй половине 1950-х гг., во-первых, ее зависимость от Марксовой критики капиталистического производства, во-вторых, тейлористские представления относительно мотивации промышленных рабочих и, в-третьих, незнание того, что в производстве, кроме формальных, официальным образом удостоверенных социальных отношений, существуют также отношения неформальные, которые имеют большое значение [1, 31]. Автор книги согласен с Шельски в том, что все это, вместе взятое, загрождало путь к «социально-научному восприятию факта существования социальной структуры производства во всей теоретической широте» [3, 7]. Дарендорф считал, разделяя мнение большинства западногерманских социологов, что лишь благодаря американским исследованиям, и прежде всего исследованиям, связанным с именем Элтона Мэйо, были наконец преодолены эти «барьеры», вследствие чего стало возможным говорить о завершении процесса становления социологии индустрии и производства [1, 31]. А главным результатом этих исследований было, как известно, открытие психических, но прежде всего социальных явлений, сопутствующих индустриальному труду, которые подчинялись собственным закономерностям, не зависящим от изменения объективных, технико-экономических параметров трудового процесса.

Причем — и это здесь принципиально важно — артикулирующее вычленение таких явлений, взятых в их социологической специфике, было связано с обнаружением несостоятельности «чисто экономической» модели поведения рабочего в трудовом процессе, в рамках которой он представлялся как «исключительно материально-эгоистически мотивированное творение» [1, 34]. Индустриальная социология в точном смысле возникла лишь в тот момент, когда она обнаружила несводимость социального интереса трудящегося к материальному (экономическому), нетождественность экономических отношений и социальных, и, соответственно, «человека экономического» и «человека социологического». Главное же здесь заключалось именно в том, что подобная несводимость и нетождественность были открыты именно в «материальном» процессе, в процессе применения «вещественных» орудий ради получения «вещественных» же результатов, «элементом» которого, к тому же исчезающе малым, если иметь в виду крупное индустриальное производство, был, между прочим, и «функционирующий» в нем человек.

В общем, теоретики индустриальной социологии в ФРГ, которые возвращались к осмыслению результатов, полученных в ходе Хоторнского эксперимента Э. Мэйо с 15-летним опозданием (вызванным погромом немецкой социологии, учиненным нацистами), резюмировали эти результаты в виде следующих выводов. 1. Социальные отношения, складывающиеся в индустриальном производстве, нельзя рассматривать как нечто «чуждое» рабочему, препятствующее его человеческому развитию в обществе, т. е. рассматривать их исключительно в аспекте концепции «отчуждения». Наоборот, социальная жизнь трудящегося в сфере крупного индустриального производства получает свою содержательную структуру и значимость именно в его профессиональной сфере и на ее основе. 2. Индустриальный труд — это всегда групповая деятельность, исключаящая традиционно *индивидуалистическое* представление о рабочем как «эгоисте», преследующем только своекорыстные цели. Причем те группы,

в которых социальная жизнь рабочего протекает самым непосредственным образом, являются «неформальными», и определяют они не только трудовой ритм работы их членов, но также оценку каждым из них своего окружения, формы поведения и характер исполнения производственных задач. 3. Позиция отдельного рабочего в социальной структуре предприятия, характеризующая его общественный престиж и статус, удовлетворяет его потребности в гарантированности своего существования, по крайней мере столь же серьезно, как и высота заработной платы; а с точки зрения социальной жизни рабочих она имеет скорее даже большее значение, чем зарплата. 4. Восприятие отдельным рабочим условий своего собственного труда, его «самочувствие» в производственном процессе, многое (если не все) из того, что относится к «психофизике индустриального труда», следует оценивать не как «факт», а как «симптом», т. е. не в качестве свидетельства о фактическом состоянии условий индивидуальной трудовой деятельности, а в качестве показателя его индивидуально-психологической или социальной ситуации на производстве, и прежде всего — в производственном коллективе.

Последний вывод наиболее выразителен с точки зрения того, как далеко заходил «социологизм» западногерманских индустриальных социологов в период завершения процесса самоутверждения их дисциплины. Объективные условия трудового процесса, в данном случае «физические» (и «физиологические») констатируемые, как бы «снялись» на гегелевский манер в «самопереживании», «самочувствии», «самовосприятии» рабочего, каковое, в свою очередь, рассматривалось в качестве «производной» от взаимоотношений, складывающихся у него с другими членами «неформальной группы», у этой группы — с производственным коллективом в целом, у производственного коллектива — с администрацией и т. д. Увлеченные открытием специфически социальных отношений на производстве, которые все более решительно противопоставались «всему остальному» (как если бы оно вообще было лишено «социального качества»), индустриальные социологи ФРГ обнаруживали тем меньшую склонность к социологической артикуляции «предмета» (например, машины, технического устройства и пр.), по поводу которого складывались между людьми упомянутые отношения. Все это выступало как своего рода «внесоциальная», вернее, «внесоциологическая» данность.

Между тем именно далеко заходящее «отвлечение» Э. Мэйо от технико-экономического аспекта социальных отношений и было изначальной причиной той их психологизации, за которую Р. Дарендорф критиковал американского ученого, адресуя этот упрек и тогдашней западногерманской социологии индустрии и производства. «...Мэйо, — писал он, — как правило, избегает рассмотрения явлений социального конфликта посредством психологизации трудовых отношений... Возможность собственно социальной противоположности интересов в индустриальном производстве и индустрии с самого начала выносятся за скобки» [1, 37–38]. Но, хотя сам Дарендорф и обращал внимание на тех критиков Э. Мэйо, которые говорили о необходимости искать объективные источники социальных отношений, складывающихся на предприятии, за его пределами — в хозяйственных и политических отношениях, взятых на уровне общества в целом, он вместе с ними не задавался вопросом о *предметных параметрах*

социальных отношений, задаваемых индустриальной техникой, о той особой роли, какую играет в конституировании социально значимых отношений участников производственного процесса используемая в нем техника. Иначе говоря, попытки преодолеть психологизацию социальных отношений в рамках социологии индустрии и производства намечались только на путях акцентирования экономических (и даже политических) аспектов этих отношений, исследование которых должно было вывести ученых за пределы промышленного предприятия. Что же касается вопроса о предметно-технических определениях, обеспечивающих объективность и «непреложность» отношений, складывающихся в пределах отдельных предприятий, то он даже не ставился; его просто нет в поле зрения Р. Дарендорфа.

Контуры предметных параметров индустриальной социологии начинают прорисовываться в книге в тот момент, когда встает вопрос об исторических фазах развития современной индустрии. Согласно автору, социология индустрии, имеющая дело с исторически изменяющимся феноменом, «уже теперь должна различать фазы индустриальной революции, индустриализацию и развитую механизированную индустрию, уясняя, таким образом, различные аспекты своего анализа» [1, 45]. Однако, приступая к характеристике индустриальной революции, Дарендорф тут же снял вопрос о тематизации этих параметров в социологических понятиях, соглашаясь с теми авторами, которые считали, что «индустриальная революция не была ни индустриальной, ни революцией», и усматривая в этом «парадоксе» не одну только «игру понятиями» [2, 46]. «Индустриальная революция, — писал он, — не была индустриальной, поскольку как ее причины, так и ее следствия не умещались — ни целиком, ни преимущественно — в рамках индустриального производства... Данные технического развития, взятые сами по себе, мало что объясняют. Теории К. Маркса, М. Вебера и Р. Тауни единодушно указывают на предшествующую индустриальной революции „идеологическую” и социальную революцию... „Традиционалистические” ценностные предпосылки позднего средневекового аграрного и сословного общества еще должны были смениться „рационалистическими”... К тому же многие правовые и социальные предпосылки (частная собственность на средства производства, освобождение рабочей силы) должны были существовать прежде, чем стало возможным капиталистическое фабричное производство» [1, 46–47].

А то, что «индустриальная революция не была революцией», доказывалось с помощью ряда ссылок исторического характера. Во-первых, давно уже существовали «ответвления индустрии», предполагавшие сосредоточение сотен рабочих на одном рабочем месте (например, горнодобывающая промышленность). Во-вторых, еще в XII и XIV вв. были развиты (прежде всего в ткацком деле) формы производства, которые можно рассматривать как прообразы, или предформы, фабричного производства. Что же касается различий, побуждавших говорить о «революции» в промышленности, то они были связаны прежде всего с изменением социального положения трудящихся, получивших возможность свободно распоряжаться своей рабочей силой лишь в Новое время. Между тем такие предпосылки развития крупного промышленного производства, как подъем торговли, сосредоточение капитала в руках крупных собственников и

даже введение бухгалтерского учета, опять-таки возникли гораздо раньше XVIII в. Так что «индустриальную революцию», согласно Дарендорфу, можно было бы при желании рассматривать как «естественный конечный пункт развития, продолжавшегося сотни лет» [1, 47].

Когда же после всех этих оговорок автор книги приходит к выводу, что тем не менее понятие индустриальной революции все-таки имеет свой смысл, хотя бы в качестве характеристики «развития Англии в конце XVIII столетия» [1, 47], смысл этот оказывается настолько «чисто» социологическим, что при этом едва ли не полностью утрачиваются предметные параметры революционных преобразований, заставляющие вспомнить о социальной специфике самой техники индустриального производства. А упомянутые оговорки предстают как способ «освободиться» от предметно-технических параметров понятия «индустриальной революции», забыть о том, «по поводу» чего социальные отношения индустриального производства складываются именно так, а не иначе (модифицируясь в зависимости от исторических изменений его технического «каркаса»). Любопытно, однако, что, несмотря на это свое теоретическое устремление, Дарендорф снова и снова наталкивается на упомянутый аспект своей основополагающей категории («индустриализм»), как только делает следующий шаг, пытаясь различить понятия «капитализма» и «индустриализма», взятого в его зрелой, развитой форме и развивающегося на своей собственной основе.

Это различие понадобилось автору книги для того, чтобы всю ту критику, которой социалисты-утописты, а затем К. Маркс и Ф. Энгельс подвергали капитализм, переадресовать раннему периоду «индустриализации», связав его с первой промышленной революцией. Отсутствие социального структурирования общества: нивелировка труда, «уравнивающее» низведение его к примитивнейшим формам; классовая противоположность между предпринимателями и рабочими — все эти черты, по Дарендорфу, ошибочно приписываются «наследственной болезни», тогда как в действительности они свойственны лишь переходному периоду, периоду становления этой «системы», а не ей самой. А это значит: критика, которой Сен-Симон и П.Ж. Прудон, Р. Оуэн и Э. Юр, Маркс и Энгельс подвергли капитализм, сохраняет свой смысл лишь применительно к «индустриализации», но не к «индустриальному обществу», развивающемуся на своей собственной основе. «Фаза индустриализации сменяется фазой развитой механизированной индустрии, социальные последствия которой противоречат многим ранним прогнозам» [1, 51], т. е. прогнозам, сделанным на основании предшествовавшего этапа и вызванной им «социальной дезорганизации», представлявшей собой результат «модернизирующей» ломки «традиционных» общественных структур.

Эту новую фазу, отмеченную ускоренным развитием «индустриальной системы производства» на своей собственной основе, автор книги связывает со второй индустриальной революцией. «Вторая индустриальная революция, приблизительно характеризуемая реализацией около 1900 г. идей тейлоризма или родственных ему концепций, заменила экстенсивный подъем производства интенсивным. Вместо создания новых производственных мощностей — интенсивное использование наличных, вместо приумножения — связывающее сосредоточение, вместо рекрутирования

рабочих из среды, чуждой индустриальному труду, — реорганизация уже обученной рабочей силы, вместо распространения и увеличения прибыли — рациональность и хозяйственность — таковы некоторые отличия развитого индустриализма от его предшественника, раннего индустриализма» [1, 52–53]. И здесь опять-таки, «перескакивая» через вопрос о новых социальных требованиях, предъявляемых обществу развитой индустриальной техникой и технологией, Р. Дарендорф прямо обратился к необходимой для новой фазы индустриализма концентрации капитала, которая «требует такой новой правовой формы, как акционерное общество с разделением собственности и контроля» [1, 53]. Этот переход он рассматривает (со ссылкой на «Капитал» К. Маркса) как «снятие капиталистической частной индустрии на основе самой капиталистической системы» [1, 53], давая таким образом понять, что фазу «развитой механизированной индустрии» уже нельзя считать капиталистической в том смысле, в каком говорили о капитализме основоположники марксизма.

Для характеристики этой новой фазы развития индустриализма (ее можно было бы назвать «стабилизационной»), пришедшей на смену ранней фазе «индустриализации», Дарендорф вновь обращается к Х. Шельски. «Через эти реформаторские мероприятия, которые осуществились во множестве организованных форм, и через приспособление человека к современной технике, ее формам производства и ее социальным структурам, проникшее — по ту сторону всех сознательно запланированных манипуляций — в глубинные слои человеческого поведения, в привычки, нравы, структуры влечения и способности реагирования, — во многих областях трудового индустриального мира и общества уже достигнуто достаточно далеко идущее изглаживание ранних напряжений, так что сегодня мы можем наблюдать новую стабилизацию в отношении человека к технике, к его формам труда, в отношении образований индустриального общества друг к другу и т. д.» [3, 159]. В общем же, в числе основных социальных явлений, сопровождающих «развитую механизированную индустрию», Дарендорф (вслед за большинством западногерманских социологов того времени) называет: 1. «Институционализацию социальной мобильности» с помощью системы образования, благодаря которой образуется «новая дифференцированная структура» социальных слоев. 2. Образование новых линий социального расслоения среди индустриальных рабочих. 3. Постепенное прояснение новых, специфически индустриальных форм жизни. 4. Постепенное признание социального права на защиту от бедности, находящего свое законное осуществление в государстве благосостояния. 5. «Институционализацию классовой противоположности», благодаря которой рабочие из страдающих от нужды получателей заработной платы превращаются в «носителей индустриальной функции» [1, 54].

Любопытно, что среди мероприятий, в которых осуществляется такого рода «институционализация», переводящая классовый конфликт в правовым образом отрегулированные формы и тем самым смягчающая его прежнюю остроту, Дарендорф называл производственные советы, а также (в еще большей степени эффективное) соучастие — *Mitbestimmung* — трудящихся в решении вопросов, встающих на предприятии. Не менее любопытно, однако, и то, что в число этих вопросов не попадают еще (да и вряд ли имеется в виду вообще) вопросы, касающиеся собственно тех-



нического, технико-технологического аспекта развития производства. Потребуется немало лет, прежде чем западногерманская социология индустрии и производства начнет мало-помалу включать в поле своего исследовательского внимания и эту группу вопросов, вырабатывая для их осмысления соответствующие понятия. Машины, фабрики (как системы таких машин) и т. д. предстают в индустриальной социологии XX в. пока что лишь как некая «данность», к которой трудящиеся должны приспособиться — «привыкнуть», не задаваясь вопросом ни об их социальном происхождении, ни об их социализирующей функции, на которую можно воздействовать так или иначе, изменяя предметные параметры этой «данности». Автор книги считал, что уже «заряженный рессентиментом протест против машины» дал возможность многим рабочим «понять способ работы этих инструментов и тем самым втянуть их в собственную жизнь. Непосредственное освоение индустриального ритма труда принимает внутри индустрии характер едва ли не основной всеобщей квалификации. И если направленность этого приспособления во многих местах все еще остается неясной, само оно — феномен, поддающийся фиксации» [1, 55].

По-видимому, основная линия, по которой в размышления индустриальных социологов техники начинает входить в своей социально-воздействующей ипостаси — как «данность», приспособление к которой ведет к определенным социальным изменениям, — это линия, связанная с вопросом о том, какого качества рабочая сила предполагается современным техническим развитием. Западногерманские социологи первого послевоенного десятилетия вступают в противоречие с политэкономами и социальными мыслителями XIX в., предполагавшими, что индустриальное развитие с неизбежностью низведет всех трудящихся до низшего уровня необученных рабочих. Идя следом за ведущими теоретиками западногерманской социологии — Х. Шельски, Т. Гайгером и др., Р. Дарендорф утверждал, что техника, возникшая в результате «второй индустриальной революции» (связанной, как мы помним, с необходимостью перехода от экстенсивного развития производства к интенсивному), потребовала перехода от труда «необученных детей и женщин» к труду рабочих, обучавшихся по крайней мере в течение краткого срока; такой подготовки требует и работа с машиной-автоматом, предполагающая правильное обращение с нею. «Так возникает категория „квалифицированного рабочего“, отличного от неквалифицированных рабочих, занимающихся большей частью лишь вспомогательным трудом, своим статусом, но прежде всего высотой заработной платы» [1, 56].

А в связи с этим намечаются новые, технически обусловленные линии расслоения рабочего класса, который представлялся ранее «гомогенным» и стоящим в отношении к индустриальной технике более или менее одинаковым для всех его групп. На месте прежней «гомогенности», нарушавшейся разве что существованием значительной прослойки ремесленных рабочих (которая непрерывно сужалась), теперь оказывалась достаточно сложная структура: «мастер старого стиля, высококвалифицированный рабочий, рабочий средней квалификации и вспомогательный рабочий...» [1, 56]. Причем даже рабочий средней квалификации — по убеждению Р. Дарендорфа — должен обладать знаниями и умениями, привычками и навыками, выработанными в процессе сравнительно кратковременного

обучения и длительного обращения с машиной, поднимающими его над уровнем мастера-ремесленника былых времен.

Быть может, не столь непосредственным результатом развития техники в ходе второй индустриальной революции (как в случае социального расслоения рабочего класса), но все-таки *результатом* было, по мнению большинства западногерманских социологов, образование «нового среднего класса», существенно отличающегося от старого «среднего класса» — мелкой буржуазии. «В ходе рационализации производства и его перекомбинирования в крупном производстве возникают новые профессиональные функции для служащих в бюро по планированию, сбыту и заработной плате, бухгалтерии и производственной статистике. К тому же вместе с развитием массового характера производства удлиняется путь от производителя к потребителю. Возникают инстанции промежуточной деятельности, которой опять-таки занимаются служащие. Наконец, все усиливающееся комбинирование производства приводит к созданию обширной бюрократии государственного управления. Так между предпринимателями и рабочими возникает новый средний слой зависимых служащих. Одновременно с разделением собственности и контроля предпринимательский слой изменяет свое лицо, раскалываясь на акционеров и менеджеров и становясь мощным высшим слоем управляющих» [1, 56–57].

«Мобильность», возможность «вертикального» продвижения из более низкого социального слоя в более высокий (предполагающая и отнесение части граждан в социально более низкие слои) при этом также формализуется и подвергается «институционализирующему» контролю с помощью развитой системы образования (высшей школы, технической школы, специализированных школ). Достигаемая таким образом стабильность, не имея стабильного характера кастового общества, тем не менее базируется на реальных различиях социальных слоев, принадлежность к которым обеспечивает индивидам престиж, влияние, возможность определенного образа жизни и способа поведения, соответствующих полученному ими образованию.

Одним словом, развитие техники (в особенности после «Второй промышленной революции») предполагает определенную «квалификационную сетку», обуславливающую в конечном счете и социальное расслоение функционеров индустриального производства, задающее новый принцип социальной дифференциации для общества в целом, — факт, свидетельствующий о том, что «индустрия стоит сегодня в центре общества» [1, 110]. Технике отводится социально структурирующая функция, поскольку «индустриальное производство — это система социальных ролей, ориентированная на экономическую цель производства благ, структурированная посредством системы технических средств, санкционированная с помощью правового статуса...» [1, 58].

И хотя, как мы помним, Р. Дарендорф пытался редуцировать и первую и вторую индустриальные революции, определившие центральную роль современной техники в индустриальном производстве, к причинам «чисто» социального (и подчас даже социально-идеологического) порядка, роль скоро эта роль уже засвидетельствована, далее техника выступает уже в качестве *независимой переменной*. Как она воздействует на социальное структурирование и переструктурирование общества — это в книге пока-

зывается достаточно подробно, а вот *какими социальными механизмами опосредствуется ее собственное развитие* (начиная с научного «проектирования» технических инноваций и кончая внедрением каждой из них на предприятиях) — этот вопрос целиком и полностью выпадает из поля зрения автора.

В результате складывается впечатление, что на формирование точки зрения Р. Дарендорфа в конечном счете решающее влияние оказал своеобразный «технологический детерминизм» (если даже не фатализм) А. Гелена и Х. Шельски, предложивших уже в первое послевоенное десятилетие свою версию индустриальной социологии, в основе которой лежала социально-философская концепция индустриального общества и *антропологической функции техники вообще*, заставляющая вспомнить о еще одном представителе антропологической ориентации в немецкой философии и социологии — Х. Фрайере. Истолкование техники как «судьбы» современного Запада, характерное для антропологической ориентации в немецкой социологии (единственное социологическое направление, беспрепятственно развивавшееся в Германии и при А. Гитлере), не способствовало *социологической «проблематизации» самой техники*, взятой в ее предметных определениях. Наоборот, оно скорее препятствовало такому подходу, питая склонность индустриальных социологов первого послевоенного десятилетия останавливаться перед техникой как «последней данностью», послушной лишь своему собственному закону, своей собственной логике, уже не подлежащей социологическому анализу.

На фоне такого истолкования техники оказались преданными забвению весьма перспективные, как выяснилось впоследствии (во второй половине 1970-х гг.), попытки Макса Вебера подвергнуть «социологической расшифровке» процесс ее развития, увидев уже в конструкторских бюро арену социальной борьбы различных общественных сил, каждая из которых накладывает свою печать на «технический проект» (замысел) и на то, в какую предметную форму он выльется (объективация). Впрочем, для того чтобы по достоинству оценить соответствующие попытки этого классика немецкой социологии XX в., необходимо было бы не только освободиться от гипноза технологического детерминизма и фатализма. Нужно было бы освободиться также от (внутренне с ним сопряженного) стремления толковать веберовскую идею рациональности на социально-философский — опять-таки фаталистически-детерминистический — манер, которое явно возобладало в Западной Германии уже в первое послевоенное десятилетие (и доминировало вплоть до середины 1970-х гг.). А это потребовало значительного времени и немалых интеллектуальных усилий.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Dabrendorf R.* Industrie und Betriebssoziologie. Berlin (W), 1956.
2. *Dessauer F.* Philosophie der Technik. Das problem der Realisierung. Bonn, 1928.
3. *Schelsky H.* Aufgaben und Grenzen der Betriebssoziologie // H. Bohr, H. Schelsky. Die Aufgabe und Grenzen der Betriebssoziologie. Stuttgart; Dusseldorf, 1954.
4. *Soziologie / (Hrsg.) A. Gehlen, H. Schelsky.* Düsseldorf; Köln, 1955.
5. *Stodola A.* Gedanken zu einer Weltanschauung vom Standpunkt des Ingenieurs. Berlin, 1932.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абер О. 244  
 Автономова Н.С. 254  
 Адорно Т.В. 265, 275, 277, 284  
 Адриансенс Х.П. 137, 154  
 Александер Дж. С. 123, 134, 184  
 Аллен М. 87, 90  
 Альтюссер Л. 254  
 Андерсон Н. 275  
 Арльт Ф. 266  
 Арон Р. 249, 252, 253  
 Аутвейт У. 233  
 Баландые Ж. 252  
 Балибар Э. 254  
 Балмер М. 16, 17, 20  
 Баран П. 95  
 Бариц А. 95  
 Барнард Ч. 67  
 Барнз Г. 226  
 Баррес М. 245  
 Барт Р. 254  
 Бартон Р. 15  
 Бауман З. 101, 235  
 Баумгартен Э. 281  
 Беверидж У. 229  
 Беккер Г. 226  
 Белл Д. 51, 59, 60, 86, 94  
 Бендикс Р. 230, 265  
 Бергер П. 219  
 Бергсон А. 239  
 Бергштрессер А. 265  
 Бердяев Н.А. 224  
 Бёрджесс Э. 17, 19–33, 34–39  
 Берендт Р. 265  
 Бёрк Э. 225  
 Берл А. 86, 88, 104  
 Бернар К. 144  
 Бернард А. 16  
 Бёрнхем Дж. 51, 86, 93, 94  
 Бернштейн Э. 86  
 Бжезинский З. 60  
 Блау П. 67, 70, 75, 83  
 Блейлок Х. 15  
 Блумер Г. 20, 22, 217, 218  
 Бог Д. 38  
 Богардус Э. 11, 28  
 Боденхафер У. 22  
 Бойе Д. 104  
 Борис Р. 243  
 Браверман Г. 97  
 Бринкманн К. 265, 268  
 Бринтон К. 14  
 Брифс Г. 265  
 Брэйбрук Д. 231  
 Брюнsvик А. 252  
 Бугле С. 244  
 Будон Р. 259  
 Булгаков С.Н. 240  
 Бурдые П. 259, 260  
 Бурже П. 245  
 Бхаскар Р. 233, 234  
 Бюро П. 243  
 Вашингтон Б.Т. 25  
 Вебер А. 265, 268, 282  
 Вебер М. 10, 12, 17, 28, 75, 78, 81, 88, 123, 125, 134, 162, 167, 180, 184, 208, 211, 230, 232, 249, 252, 256, 265, 282, 286, 291, 294, 299  
 Веблен Т. 24, 47–50, 52, 54, 57, 60, 94, 291  
 Векслер Д. 15  
 Вестермарк Э.А. 225

- Визе Л. фон 12, 265, 268, 273, 282, 291  
Виндельбанд В. 18, 23, 25  
Винсент Дж. 13, 19, 21, 34  
Вирт Л. 10, 12, 20, 44, 265  
Витгенштейн Л. 235  
Вормс Р. 244  
Вьет Ж. 258
- Гайгер Т. 265, 267, 286, 297  
Гарфинкель Г. 215, 216, 218  
Геблер Т. 107  
Гегель Г.В.Ф. 86, 239, 282  
Гек Л.Х.А. 290  
Гелен А. 266, 281, 285, 286, 288, 299  
Герт Х. 265  
Герц Р. 245  
Герц Ф. 265  
Гёте И.В. 25  
Гидденс Э. 87, 143, 230, 232–234  
Гиддингс Ф.Г. 10, 11, 16  
Гинсберг М. 225–228  
Гитлер (Шикльгрубер) А. 237, 266, 284, 299  
Гласе Д. 229  
Гоббс Т. 130  
Годелье М. 254  
Гольдшмидт Р. 89  
Гомулка В. 235  
Гордон Р. 86  
Госснелл Г. 24  
Гоулднер А. 67, 70, 75, 80  
Гофман И. 100, 218, 231  
Гратхоф Р. 219  
Гурвич Ж. (Г. Д.) 249–252  
Гуссерль Э. 208  
Гэлбрейт Дж.К. 48, 51–53, 54, 58, 60, 94  
Гэлпин Дж. 118
- Дави Ж. 244  
Давыдов Ю.Н. 64  
Данлап Р. 45  
Дарвин Ч.Р. 21  
Дарендорф Р. 87, 88, 154, 230, 265–267, 272, 275, 277, 285, 286, 288–299  
Демолен Э. 243  
Деплуаж С. 244  
Деррида Ж. 233
- Джеймс Д. 87, 91, 92, 95  
Джемс У. 25, 31, 211, 218  
Дженсен М. 104  
Диксон У. 73  
Дильтей В. 245  
Димс Х. 95  
Додд С. 15  
Дракер П. 75, 86  
Дьюи Дж. 19, 23–25, 31, 42, 44  
Дюверже М. 253  
Дюркгейм Э. 10–12, 21, 23, 39, 115, 128, 131–133, 182, 184, 230, 232, 244–247, 249, 291
- Жаков К.Ф. 114, 115  
Жорес Ж. 245
- Залезник А. 104  
Зеттерберг Г. 15  
Зильберман А. 265  
Зиммель Г. 10, 21, 23, 25, 31, 33, 39, 117, 265, 282, 286  
Знанецкий Ф.В. 19, 34, 201  
Зомбарт В. 123, 265, 267, 282, 291  
Зукер Л. 67
- Изамбер-Жамати В. 260  
Иххайзер Г. 265
- Карр Ф. 107  
Катлин Дж. 40  
Каттон У. 15, 45  
Кёниг Р. 265, 270, 273, 274, 284  
Кеннон У. 144  
Кларк К. 255  
Клементс Ф. 41  
Ковалевский М.М. 115, 116, 118, 243  
Козер Л. 18, 24  
Кондратьев Н.Д. 119  
Консидайн М. 106  
Конт О. 10, 14, 68, 70, 129, 132, 182, 193, 226, 272  
Котрелл Л. 20, 37  
Коул Ф. 24  
Коулмен Дж. 67  
Крафт Ю. 265  
Крозье М. 255–258, 260

- Куинн С. 20  
 Кули Ч.Х. 10, 16, 21, 23, 31, 32, 199–201, 204, 217, 218, 231  
 Кун М. 217, 218  
 Кэттел Р. 15  
 Кювийе А. 249
- Лазарсфельд П. 14, 15, 259, 265  
 Лакан Ж. 254  
 Ландберг Дж. 14, 15  
 Ландеско Дж. 37  
 Лассуэлл Х. 24  
 Лафлин Дж.Л. 24  
 Ле Пле Ф. 243, 247  
 Лебон Г. 21  
 Леви-Брюль А. 246  
 Леви-Стросс К.А. 115, 249, 254  
 Легран Ж. 244  
 Ледерер Э. 265  
 Ленский Г. 87  
 Леопольд О. 40  
 Лернер Д. 86, 88  
 Линтон Р. 141  
 Липперт Ю. 115  
 Липсет С. 67  
 Лич Э. 228  
 Локвуд Д. 231  
 Локк Дж. 37, 130, 239  
 Лоренц К. 281  
 Лукман Т. 219  
 Льюис Дж. 22
- Макинтайр А. 102, 103  
 Маккензи Р. 29, 36, 44  
 Мак-Леннан Дж. 115  
 Макхью П. 219  
 Малиновский Б. 187, 228  
 Мамфорд Л. 53–58, 62, 63, 97, 98  
 Мандель Ж. 257  
 Мандра А. 261  
 Манн Ф.К. 265  
 Манхейм К. 265, 280, 282, 286  
 Маор М. 106  
 Марглин С. 96  
 Маркс К. 10, 86, 93, 95, 183, 219, 229, 230, 237–239, 254, 282, 290, 294–296
- Мартин Дж. 59, 60, 104  
 Мартиндейл Д. 154  
 Марч Дж. 67, 70, 79  
 Маршалл А. 131, 132  
 Маршалл С.А.А. 229, 230  
 Маслоу А. 74  
 Маяковский В.В. 237  
 Меклинг У. 104  
 Мерриэм Ч. 24  
 Мертон Р.К. 14, 15, 67, 70, 75, 79, 186–198, 202, 228  
 Метьюз Ш. 24  
 Мид Дж.Г. 10, 22, 24, 31, 67, 203–206, 217–219, 231  
 Милас Ч.Р. 69, 96  
 Милье Дж.С. 224, 226  
 Минс Г. 86, 88, 104  
 Митчелл У. 24  
 Михельс Р. 84, 286  
 Монерро Э. 249  
 Монсен Р. 88  
 Морган Г.А. 115  
 Морено Дж. 11, 74  
 Моррас Ш. 245  
 Мосс М. 244–246, 249, 251, 259  
 Мур У. 72  
 Мур Э. 24  
 Мьюир Дж. 40  
 Мэйо Э. 72–74, 292, 293  
 Мюллер К.В. 266  
 Мюльман (Мильман) В.Э. 281  
 Мюнстерберг Г. 25
- Найт Ф. 24  
 Налимов В.П. 114  
 Нейсбитт Дж. 59  
 Новгородцев П.И. 240  
 Нойман Ф. 265  
 Ньютон И. 150
- Огборн У. 15, 23  
 Одум Г. 11  
 Одюбон Дж. 40  
 Осборн Р. 67  
 Осборн Д. 107  
 Оуэн Р. 295

- Палмер В. 35  
Парето В. 12, 74, 131, 132  
Парк Р.Э. 10, 17–22, 24–33, 34–36, 43, 44, 67  
Паркмен Ф. 40  
Пармели Р. 89  
Парсонс Т. 14, 67, 86, 87, 123–184, 190, 205, 228, 230, 286  
Пассерон Ж.К. 259, 260  
Перру Ф. 253  
Петражицкий А.И. 119  
Пиншо Дж. 40  
Платон 227, 239  
Плеснер Х. 265, 281  
Поллард С. 95  
Поллит К. 106  
Поппер К.Р. 237–240  
Портман А. 281  
Пригожин А.И. 68  
Прудон П.Ж. 295  
Пфедфер К.Г. 266
- Радклифф-Браун А.Р. 187, 228  
Раднер Р. 231  
Рамл Б. 24  
Редфилд Р. 24  
Рекс Дж. 228, 229, 231–233  
Рисмен Д. 284  
Розенберг М. 15  
Роззак Т. 63, 64  
Ройс Дж. 25  
Ройтер Э. 20  
Ронг Д. 154  
Роршах Г. 15  
Росс Э.О. 12, 16  
Ротлисбергер Ф. 73  
Ротхакер Э. 281  
Рюстов А. 265, 284
- Саймон Г. 67, 70, 79  
Саломон-Делатур Г. 265  
Самнер У. Г. 10, 12, 16  
Самуэльсон Р. 87  
Сантаяна Дж. 25  
Свизи П. 95  
Селзник Ф. 67–70, 75, 79, 81
- Сен-Симон К.А. де 10, 49, 68, 70, 290, 295  
Сепир Э. 24  
Сикурел А. 219, 231  
Симсонс Р. 87  
Симиан Ф. 244, 245  
Смелзер Н. 87, 162  
Смит А. 142, 224  
Смолл А.В. 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 34, 67  
Сови А. 246  
Сореф М. 87, 91, 92  
Сорокин П.А. 86, 114–120, 253  
Спенсер Г. 10, 21, 39, 144, 193, 224, 226  
Старр Ф. 24  
Стауффер С. 15  
Сэджвик Г. 227
- Тайлор Э.Б. 114  
Тард Г. 21, 243, 244  
Тауни Р.Г. 291, 294  
Тафте Дж. 24  
Тейлор Ф.У. 49, 71, 72, 95, 97, 106, 291  
Тённис Ф. 10, 39, 265, 267, 282, 286  
Тернер Дж. 9, 31  
Тернер Р. 25, 28  
Тернер С. 9  
Тернер Ф. 40  
Терри Л. 107  
Терстоун Л. 24  
Тиббитс К. 37  
Толстой Л.Н. 115  
Томас У.А. 10, 18–22, 26, 32, 34, 37, 179, 180, 201–203, 206, 214, 218  
Томпсон Дж. 95  
Торо Г.Д. 40  
Тоффлер А. 60–63  
Троу М. 67  
Турвиль А. де 243  
Турен А. 258  
Турнвальд Р. 265  
Тэтчер М. 105
- Уайнстейн Дж. 65  
Уайт Л. 24, 253  
Уайтхед Т. 73  
Уинч П. 231

Уолин П. 37  
 Уорд Л.Ф. 10–12, 16, 226  
 Уотсон Дж. Б. 24  
 Уэбб Б. и С. 225, 291  
 Фёгелин Э. 265  
 Фернау Б. 40  
 Ферри Э. 243  
 Ферт Р.У. 228  
 Фиркандт А. 265  
 Фитч Р. 95  
 Фихте И.Г. 266, 282  
 Флетчер Р. 228  
 Фоконне П. 244  
 Форд Г. 73, 95  
 Фрайер Х. 266–268, 282, 284, 299  
 Франк С.А. 239  
 Франциз Э. 265, 274  
 Фридман Ж. 73  
 Фройнд Э. 24  
 Фромм Э. 265  
 Фрэйзер Е.Ф. 20  
 Фуко М. 98, 99, 254  
 Фулье А. 243  
 Фурастье Ж. 253–255  
 Фэрис Р.Э. 20, 22

Хабермас Ю. 233  
 Хайдеггер М. 233  
 Хайек Ф.А. фон 226  
 Хальбвакс М. 244, 245  
 Харпер У. 17, 19  
 Хвостов В.М. 118  
 Хеберле Р. 265  
 Хейес Э. 22  
 Хендерсон Ч. 19  
 Хиндли Б. 88  
 Хобхаус Л.Т. 225–228  
 Холи А. 29, 44  
 Холл Р. 67  
 Хоманс Дж.К. 154  
 Хонигсхайм П. 265

Хоркхаймер М. 265, 277, 284  
 Хофман С. 256  
 Хьюз Э.Ч. 20

Цейтлин М. 86–90, 95  
 Циммерман Д. 118

Черняев А.С. 144

Шамборедон Ж.К. 259  
 Шелер М. 282  
 Шельски Х. 267, 268, 274, 275, 277, 279–286,  
 288, 289, 292, 296, 297, 299  
 Шельтинг А. фон 265  
 Шеффле А.Э.Ф. 243  
 Шихан Р. 88  
 Шмидт К. 86  
 Шмоллер Г. фон 290  
 Шорт Дж. 65  
 Шпанн О. 282  
 Шпенглер О. 282  
 Штайн А. фон 282  
 Штомпка П. 195  
 Шульц Г. 24  
 Шумпетер Й. 87, 90, 265, 282  
 Шюц А. 208–214, 217–219

Эванс Э. 40  
 Эдвардс Р. 95  
 Эймс Э. 24  
 Эллууд Ч. 22  
 Эллюль Ж. 58  
 Эмерсон Г. 49  
 Эмерсон Р.У. 40  
 Энгельс Ф. 295  
 Энджелл Дж. 24  
 Энтеман У. 107, 108, 110  
 Эренберг Р. 290

Юбер А. 245  
 Юм Д. 227  
 Юр Э. 295



---

# Оглавление

## Раздел I

### АМЕРИКАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПОД ЗНАКОМ СТАБИЛИЗАЦИОННОГО СОЗНАНИЯ: ЧАСТНЫЕ ТЕОРИИ

---

#### Глава I

Продолжающаяся академизация и институционализация  
американской социологии (*Кравченко А.И.*) 9

---

#### Глава 2

Чикагская школа в американской социологии: становление,  
теории, авторитеты (*Баньковская С.П.*) 16

---

- 16 1. У истоков американской социологической науки
- 21 2. Кристаллизация теории, институционализация школы
- 24 3. Роберт Парк
- 34 4. Эрнст Бёрджесс
- 39 5. Инвайронментализм

#### Глава 3

Технократическая традиция в американской социологии  
(*Ковалева М.С.*) 47

---

- 47 1. Концепция технократии в период становления механизированной  
индустрии (Т. Веблен)
- 51 2. Концепция технократии в период перехода к сверхиндустриализму  
(Дж.К. Гэлбрейт)
- 53 3. Гуманистический вариант американского техницистского мышления  
(Л. Мамфорд)
- 59 4. Новейшие формы техницистских воззрений (компьютерная  
футурология, рискология)

#### Глава 4

Теории социальной организации в американской социологии  
(*Фомина В.Н.*) 67

---

- 68 1. Понятие социальной организации
- 70 2. К истории проблемы
- 79 3. Модели бюрократической организации середины XX века

Глава 5	<b>Менеджеризм — идеология управления социальными организациями</b>	86
86	1. Теория «менеджерской революции» и социологический анализ позиций менеджмента в обществе ( <i>Кравченко А.И.</i> )	
93	2. Социологические интерпретации менеджеризма в 1970–1990-х годах ( <i>Абрамов Р.Н.</i> )	
104	3. Основные идеи менеджеризма 1970–1990-х годов ( <i>Абрамов Р.Н.</i> )	
Глава 6	<b>Интегральная социология П. Сорокина (<i>Сапов В.В.</i>)</b>	114

## Раздел II

## ОБЩАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Глава I	<b>Теория действия Толкотта Парсонса (<i>Ковалева М.С.</i>)</b>	123
123	1. Характер, задачи и источники теории	
135	2. Базовые элементарные системы действия	
142	3. Структурно-функциональная версия теории действия	
155	4. Символизм действия и четырехфункциональная парадигма	
161	5. Общество как социальная система действия	
166	6. Символические средства взаимообмена и коммуникации	
172	7. Иерархические отношения между средствами взаимообмена и подсистемами действия	
178	8. Символические средства обмена в общей системе действия	
180	9. Парсонс в историческом контексте	
Глава 2	<b>Р.К. Мертон и его теория «среднего уровня» (<i>Девятко И.Ф.</i>)</b>	186
186	1. Мертоновская парадигма структурно-функционального анализа	
190	2. Социологический смысл аномии и аномического поведения	
193	3. Р. Мертон о социологическом методе и типах теоретизирования в социологии	
Глава 3	<b>Возникновение символического интеракционизма (Ч. Кули, У. Томас, Дж.Г. Мид) (<i>Ионин Л.Г.</i>)</b>	199
199	1. Ч.Х. Кули — прямой предшественник символического интеракционизма	

- 
- 201 2. Вклад У.А. Томаса  
203 3. Дж.Г. Мид — основоположник символического интеракционизма

Глава 4

Возникновение и развитие феноменологической социологии.  
А. Шюц и этнометодология (Ионин Л.Г.) 208

---

- 208 1. Идеи и понятия феноменологической социологии А. Шюца  
215 2. Этнометодология Г. Гарфинкеля  
217 3. Интерпретативная социология после Дж.Г. Мида и А. Шюца

Раздел III

**АНГЛИЙСКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ  
В XX ВЕКЕ**

---

Глава 1

Общая панорама развития английской социологии в XX веке  
(Ковалев А.Д.) 223

---

- 223 1. Традиции английской социологии  
225 2. Институционализация английской социологии и ее первые теоретики  
228 3. Главные тенденции теоретического развития послевоенного периода

Глава 2

К. Поппер и критика «историцизма» (Сапов В.В.) 237

---

**307**

Раздел IV

**СОЦИОЛОГИЯ ВО ФРАНЦИИ (1920–1960-е годы)**

---

Глава 1

Два периода в развитии французской социологии  
(Гофман А.Б.) 243

---

- 243 1. Французская социология до Второй мировой войны  
246 2. Переориентация французской социологии после 1945 г.  
Новые институциональные рамки

Глава 2

Основные теоретические тенденции французской социологии  
второй трети XX века (Гофман А.Б.) 249

---

- 250 1. «Диалектико-гиперэмпирическая» социология Ж. Гурвича  
252 2. Социологические концепции Раймона Арона  
254 3. Структурализм

254	4. Технологический детерминизм Ж. Фурастье	
255	5. М. Крозье: концепция «бюрократического феномена» и «блокированного общества»	
257	6. Психоаналитическое направление в социологии	
<b>Глава 3</b>		
	<b>Общая динамика теоретических интересов во французской социологии (Гофман А.Б.)</b>	<b>258</b>

**Раздел V**

**СОЦИОЛОГИЯ В ФРГ (1940–1960-е годы).  
СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ РЕСТАВРАЦИЯ  
И ДИНАМИЗИРУЮЩАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ**

<b>Глава 1</b>		
	<b>Преобладание реставрационной ориентации</b> (Давыдов Ю.Н.)	<b>265</b>

<b>Глава 2</b>		
	<b>Радикальный разрыв с социологическим прошлым.</b> <b>«Буря и натиск» сциентистско-позитивистской ориентации</b> (Давыдов Ю.Н.)	<b>270</b>

<b>Глава 3</b>		
	<b>Нарастание кризисной тенденции: самокритика социологии</b> (социологическая саморефлексия Х. Шельски) (Давыдов Ю.Н.)	<b>279</b>

<b>Глава 4</b>		
	<b>Ральф Дарендорф: социология техники как индустриальная социология</b> (Давыдов Ю.Н.)	<b>288</b>

300	Указатель имен	
-----	----------------	--